

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ФИЛОЛОГИЯ

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

Научный журнал

2017

№ 46

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-29496 от 27 сентября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Журнал индексируется в БД Scopus и включен в «Перечень
рецензируемых научных изданий, входящих в международные
реферативные базы данных и системы цитирования, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук», Высшей аттестационной комиссии

*Редакционная коллегия журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»*

Т.А. Демешкина (Томск, Россия) –
главный редактор
И.А. Айзикова (Томск, Россия) – зам.
главного редактора
Ю.М. Ершов (Томск, Россия) – зам.
главного редактора
Д.А. Катунин (Томск, Россия) – отв.
секретарь
П.П. Каминский (Томск, Россия) –
зам. отв. секретаря
К.В. Анисимов (Красноярск, Россия)
Е.В. Иванцова (Томск, Россия)
В.С. Киселев (Томск, Россия)
Т.Л. Рыбальченко (Томск, Россия)
В.А. Суханов (Томск, Россия)

*Editorial Board of the
Tomsk State University
Journal of Philology*

T.A. Demeshkina (Tomsk, Russia) – Editor-
in-Chief
I.A. Aizikova (Tomsk, Russia) – Deputy Edi-
tor-in-Chief
Yu.M. Yershov (Tomsk, Russia) – Deputy
Editor-in-Chief
D.A. Katunin (Tomsk, Russia) – Executive
Editor
P.P. Kaminskiy (Tomsk, Russia) – Deputy
Executive Editor
K.V. Anisimov (Krasnoyarsk, Russia)
Ye.V. Ivantsova (Tomsk, Russia)
V.S. Kiselev (Tomsk, Russia)
T.L. Rybalchenko (Tomsk, Russia)
V.A. Sukhanov (Tomsk, Russia)

*Редакционный совет журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»*

Дж.Ф. Бейлин (Стоуни-Брук, США)
Е.Л. Березович (Екатеринбург, Россия)
Е.Л. Варганова (Москва, Россия)
Н.Д. Голев (Кемерово, Россия)
Е.А. Добренко (Шеффилд, Великобритания)
М.Н. Липовецкий (Боулдер, США)
З.И. Резанова (Томск, Россия)
И.В. Силантьев (Новосибирск, Россия)
С.Л. Фрэнкс (Блумингтон, США)
Т.В. Шмелева (Великий Новгород, Россия)

*Editorial Council of the
Tomsk State University
Journal of Philology*

J.F. Bailyn (Stony Brook, US)
E.L. Berezovich (Yekaterinburg, Russia)
Ye.L. Vartanova (Moscow, Russia)
N.D. Golev (Kemerovo, Russia)
E.A. Dobrenko (Sheffield, UK)
M.N. Lipovetsky (Boulder, US)
Z.I. Rezanova (Tomsk, Russia)
I.V. Silantev (Novosibirsk, Russia)
S.L. Franks (Bloomington, United S)
T.V. Shmeleva (Veliky Novgorod, Russia)

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИНГВИСТИКА

Казарина В.И. К вопросу о темпоральной семантике модификатора <i>должен</i>	5
Крапивкина О.А. Опыт анализа дискурсивных практик как форм социального взаимодействия (на материале судебных телешоу).....	21
Мельник О.Г. Роль дейксиса в интерпретации художественного произведения	31
Ощепкова В.В., Николаева О.В. Экосреда как источник символорождения в лингвокультурах Австралии и Новой Зеландии.....	43
Солопова О.А. Метафора в моделировании будущего: «светлый» сценарий (на материале прогностических текстов о России отечественного, американского и британского политических дискурсов XXI в.).....	55
Шеховцева Т.М., Камышанченко Е.А. Структурирование концепта СИЛА по антропоморфной метафорической модели (на материале современного английского языка).....	71
Шпильная Н.Н. Нейтрализация как деривационный механизм генезиса диалогического текста.....	84

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Айзикова И.А. К проблеме контекста Иерусалимского проекта В.А. Жуковского (по материалам политической публицистики и религиозно-философской прозы 1840-х гг.).....	95
Казаков А.А., Медведева Д.А. Борьба сентиментальной, романтической и «натуральной» моделей безумия и её отражение в творчестве Ф.М. Достоевского	113
Лебедева О.Б., Янушкевич А.С. В.А. Жуковский и А.В. Никитенко о Сикстинской мадонне Рафаэля: типология экфрасиса как репрезентант эстетического сознания.....	124
Монахов С.И. О вертикальном ритме трехсложников Н.А. Некрасова.....	152
Серебрякова Е.Г. «Антисоветчик» Валерий Тарсис: поведенческая модель писателя-нонконформиста как реализация идентичности	167
Суханов В.А. А.П. Чехов в творческом сознании Ф. Горенштейна: писатель как читатель в эссе «Мой Чехов осени и зимы 1968 года».....	176

ЖУРНАЛИСТИКА

Мансурова В.Д. Патриотический дискурс в сетевом пространстве СМИ.....	188
Первалова Е.В. Забытые имена: Евгений Кочетов – корреспондент изданий М.Н. Каткова.....	202

РЕЦЕНЗИИ, КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ

Шулежкова С.Г. Рецензия на книгу: Андреева С.Л. Судьба оборота <i>хрустальный дворец</i> : методика прогнозирования и интерпретации фразеологических трансформаций.....	222
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	233

CONTENTS

LINGUISTICS

Kazarina V.I. On the temporal semantics of the modifier <i>dolzhen</i> [must]	5
Krapivkina O.A. Analysis of discourses as forms of social interaction (A case-study of court shows)	21
Melnik O.G. The role of deixis in the interpretation of a literary text	31
Oschepkova V.V., Nikolaeva O.V. Ecosystem as a source of national symbols: Insight into Australian and New Zealand cultures and languages.....	43
Solopova O.A. Metaphor in modeling the future: the best-case scenario (based on political discourses of Russia, the USA and Great Britain, the 21st century)	55
Shekhovtseva T.M., Kamyshanchenko E.A. The structuring of the concept STRENGTH in accordance with the anthropomorphic metaphorical model (in the modern English language)	71
Shpilnaya N.N. Neutralisation as a derivational mechanism of the dialogical text genesis	84

LITERATURE STUDIES

Ayzikova I.A. To the problem of the context of V.A. Zhukovsky's Jerusalem project (on materials of political essays and religious and philosophical prose of the 1840s)	95
Kazakov A.A., Medvedeva D.A. Confrontation of sentimental, romantic and "natural" models of madness and its reflection in the literary works of F.M. Dostoevsky	113
Lebedeva O.B., Yanushkevich A.S. V.A. Zhukovsky and A.V. Nikitenko on Raphael's Sistine Madonna: the typology of ekphrasis as a representative of aesthetic consciousness.....	124
Monakhov S.I. On the vertical rhythm of N. Nekrasov's ternary trimeters	152
Serebryakova E.G. "Anti-Soviet" Valery Tarsis: the behaviour model of the nonconformist writer as a realisation of identity.....	167
Sukhanov V.A. A. Chekhov in the creative reflection of F. Gorenstein: the author as the reader in the essay "My Chekhov of the Autumn and Winter of 1968"	176

JOURNALISM

Mansurova V.D. Patriotic discourse in the network media space.....	188
Perevalova E.V. Forgotten names: Evgeny Kochetov as a correspondent of M.N. Katkov's editions	202

REVIEWS, CRITIQUES, BIBLIOGRAPHY

Shulezhkova S.G. Book Review: Andreeva, S.L. (2016) <i>Sud'ba oborota khrustal'nyy dvorets: metodika prognozirovaniya i interpretatsii frazeologicheskikh transformatsiy</i> [The Destiny of the Phraseological Unit "Crystal Palace": Methods of Phraseological Transformation Predicting and Interpreting]. Magnitogorsk: ZAO "Magnitogorskiy dom pechati"	222
---	-----

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS	232
--	-----

ЛИНГВИСТИКА

УДК 811.161.1:161.26

DOI: 10.17223/19986645/46/1

В.И. Казарина

К ВОПРОСУ О ТЕМПОРАЛЬНОЙ СЕМАНТИКЕ МОДИФИКАТОРА *ДОЛЖЕН*

На материале текстов русской художественной и историко-художественной литературы в статье описана темпоральная семантика модального модификатора должен на основании данных грамматической категории времени, фоновых знаний, ситуативной информации, контекста, логики рассуждения. Модификатор объективирует конкретную и абстрактную временную семантику формами настоящего (узкую, вневременную) и прошедшего (узкую) времени, определяющую лексическую наполняемость позиции субъекта соответствующих пропозиций. Выявлены условия формирования абстрактных временных значений модификатора.

Ключевые слова. актуальная, абстрактная, узкая, вневременная семантика, категория времени, момент речи, позиционная схема, уровень знания, условия формирования, синтаксическая форма времени.

Темпоральная семантика – неотъемлемый компонент содержательной структуры высказывания, устанавливающий его соотносительность с объективным миром в реально существующем физическом времени, воспринимаемом человеком в его отдельных «моментах, отрезках, промежутках».

Функциональная значимость темпоральной семантики в формировании коммуникативной единицы, ее многообразие, отсутствие общепринятой классификации временных значений и их оттенков [1. С. 321], явление транспозиции временных форм [2. С. 189; 3. С. 487; 4. С. 429, 454; 5. С. 132, 134; 6; 7. С. 25, 27] предопределяют наш исследовательский интерес к темпоральной характеристике высказываний потенциальной ситуации, модально характеризуемой с позиций необходимости, объективируемой модификатором *должен*.

Эмпирическим материалом послужило более 500 высказываний, включающих модальную лексему *должен* (-а, -ы), изъятых методом сплошной выборки из текстов русской художественной и историко-художественной литературы, представленной романами Ф.М. Достоевского «Идиот», М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и «Вадим», В.И. Немировича-Данченко «Скобелев», В.С. Пикуля «Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Честь имею», «Баязет», повести И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева», повестей и рассказов И.А. Куприна и А.П. Чехова.

Являясь знаком модального отношения субъекта к своему предикату, модификатор располагается на предикативной оси высказывания, формируя его внутреннюю модальную рамку [8. С. 721].

В объективации темпоральной семантики высказывания принимают

участие различные средства: грамматические, лексические и грамматико-контекстуальные, формирующие «временной дейктический центр» [7. С. 9], составляющие которого отражают внеязыковой момент времени – основу «временной ориентации».

Ядром временного дейктического центра являются временные глагольные формы, своим грамматическим значением устанавливающие определенное отношение к ориентиру отсчета времени. За грамматическую точку отсчета времени принят «избираемый говорящим воображаемый момент восприятия событий и воспроизведения их в речи по отношению к самим событиям» [5. С. 49; 9. С. 175] или по «отношению времени деятельности его (говорящего. – В.К.) ко времени речи» [2. С. 78], времени коммуникативного акта [8. С. 861]: одновременность, предшествование, следование.

Форму синтаксического времени именного модального модификатора определяет система временных форм глагольной связки, в сочетании с которой модификатор образует одну аналитическую временную форму. В выявлении ее семантики опираемся на грамматическое значение форм настоящего, прошедшего и будущего времени, учитываем влияние на семантику контекста («...ни реальное, ни формальное значение слова не могут существовать сами по себе. <...> Всегда отношение слова к обозначаемому определяется не чем иным, как употреблением в связной речи» [10. С. 113]), ситуативную информацию и фоновые знания.

Располагаясь на предикативной оси, модификатор *должен* дает модальную оценку субъекта предикации ситуации, представленной инфинитивом как необходимо быть реализованной. Модус необходимости¹ – ориентация деятельности субъекта на будущее, определяющая и ограничивающая его отношение к деятельности.

Маркируемая инфинитивом и модально окрашенная предикация является потенциальной. Потенциальность предполагает присущую ситуации способность развиваться и при благоприятных условиях стать фактом реального мира. Сказанное – показатель отнесенности потенциальности к будущему.

Объективируемая ситуация может иметь различную локализацию во времени, определяющую семантику временной формы предикатива (а тем самым и пропозиции), ее конкретный или абстрактный характер [6. С. 210; 9. С. 181].

Локализация во времени – показатель конкретного времени, реализуемого грамматической категорией времени. Значение формы настоящего времени принято считать соотносимым с ситуацией, совпадающей с моментом речи, прошедшего – с ситуацией, предшествующей моменту речи, будущего – следование за моментом речи. «Категория времени – это всегда значение «до», «одновременно» или «после» [8. С. 861]. Оно – маркер «отношения действия (ситуации) к моменту речи с точки зрения предшествования, совпадения или следования» [8. С. 861], компонент предикативной оси

¹ Под модусом понимается маркируемая модальными модификаторами модальная оценка отношения предикативного субъекта к своему предикату: возможности, необходимости, долженствования потенциальной ситуации, объективируемой предикативом.

предложения. Конкретное значение времени называют прямым, актуальным или абсолютным.

Временную семантику пропозиции, несоотносимую с моментом восприятия объективируемой ситуации и речи, называют неконкретной или абстрактной. Она не принимает участия в формировании предикативной оси предложения, не соотносится с закрепленной за формой точкой на временной оси. Абстрактная семантика временной формы обусловлена знаниями субъекта ситуации, уровень сформированности которых позволяет дифференцировать ее на узуальную и вневременную [6. С. 210; 7. С. 10–13; 18–20; 9. С. 181–185; 11. С. 29–32].

Под узуальной понимается семантика, не соотносимая со значением трехчленного ряда категории времени: прошедшее – настоящее – будущее. Она есть результат знаний субъекта, приобретенных наблюдением, анализом и обобщением [9. С. 181], логических операций [11. С. 29], основанных на знаниях. К узуальной относим также транспозиционную семантику временной формы, за которой в синтаксической науке закреплен термин «переносное употребление» времени [5. С. 170].

Вневременная семантика – результат наивысшей степени познания социума, целиком абстрагированного от времени непосредственного наблюдения. Она есть следствие связей между явлениями действительности, представленными не как данные «непосредственного наблюдения, а как установленные человеческим интеллектом» [9. С. 181; 3. С. 487].

Модификатор *должен* входит в группу маркеров модуса необходимости преобразования потенциальной ситуации в фактическую: потенциальный – существующий в скрытом виде, возможный [12. С. 571], способный при определенных условиях проявиться в реальном мире будущего.

В соответствии со словарными данными модификатор *должен* информирует о том, что маркируемая инфинитивом ситуация «совершится непременно, неизбежно или предположительно» [12. С. 173]. Данное говорит об обязательности или предположительности «смены» существующего положения дел в будущем физическом времени. Таким образом, маркируемая инфинитивом потенциальная ситуация и модальная оценка необходимости этой ситуации соотносятся с будущим временем как реальной данностью.

Вопреки сказанному модификатор *должен* в текстах представлен всеми синтаксическими формами времени (настоящего, прошедшего и будущего), реализуя как актуальную, конкретную, так и неактуальную, абстрактную темпоральную семантику. Актуальность и неактуальность временной семантики может быть соотнесена с семантикой модификатора, его способностью объективировать смысловые оттенки модуса необходимости и оказывать влияние на лексическую маркированность субъекта пропозиции.

Определяя объектом исследования временную семантику модификатора *должен*, исходим из того, что, образуя единый предикативный комплекс, сочетание модификатора с инфинитивом характеризуется также и единым грамматическим значением времени.

Синтаксическая форма настоящего времени предикативного комплекса «должен + инфинитив» наиболее продуктивная в функционировании: в нашей картотеке она представлена 78,9 % общей выборки. Ее семантика «всту-

пает в противоречие» со значением, закрепленным за этой формой в грамматической системе русского языка. Объективируемая предикативным комплексом облигаторная потенциальная ситуация не может совпадать с моментом речи: это следует из логики потенциальности. С моментом речи совпадает лишь предполагаемая к обязательному изменению ситуация, подготовка к акту [13. С. 154] «превращения» потенциальной ситуации в фактическую. Этим мы руководствуемся в отнесении к актуальной семантики предикативного комплекса, представленного синтаксической формой настоящего времени (44 % выборки с предикативом в форме настоящего времени). Она несет указание на совпадение долженствующей быть измененной потенциальной ситуации, наблюдаемой «как бы на глазах у говорящего» [1. С. 323], с моментом речи последнего: ...одним словом, я непременно, непременно должен и обязан ввести вас. *Генерал Иволгин и князь Мышкин* (Достоевский. Идиот): 'в процессе речи утверждается только долженствующая иметь место ситуация представления героев произведения престолу, но не ее осуществимость / неосуществимость'. Аналогично: *И, не обращая больше внимания на Тугановского, он сказал: – Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни. И я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей... Вы меня выслушаете?* (Куприн. Гранатовый браслет): 'утверждается наличие потенциальной ситуации объяснения, его необходимость; факт объяснения возможен после и при условии получения согласия выслушать влюбленного'.

Соотнесенность долженствующей быть ситуации с моментом речи актуализируют темпоральные спецификаторы с той или иной степенью фиксированности временной ориентации по отношению к моменту речи. Так, лексема *сейчас* в примере *Он тоже должен сейчас спуститься в шахту, но люди его партии еще не собрались, и он дожидается их* (Куприн. В недрах земли) содержит в себе указание на конкретное время совершения облигаторного действия; это время совпадает с моментом речи: в компонентном составе семемы 'сейчас' – семы 'тотчас', 'сразу', 'мгновенно', однако время изменения ситуации не соотносится с моментом речи, причина объективирована: *люди его партии еще не собрались, он дожидается их*.

Темпоральная лексема *нынче*, стилистически окрашенный (разг.) синоним слова *сегодня*, в речевом отрезке ...едва не упала без памяти при мысли, что ты нынче должен драться и что я этому причиной... (Лермонтов. Журнал Печорина) обозначает текущий отрезок времени, день, совпадающий с ситуацией написания письма и ситуацией долженствующей быть дуэли, но не с фактом самой дуэли.

При наличии темпорального модификатора *теперь* (лексическое значение 'в настоящее время, сейчас') временные рамки потенциальной ситуации могут быть значительно расширены, выходить за период, соотносимый со временем речи: – *Велели устроиться агрономом где-либо в колхозах близ западной границы. Сидеть там тихо и не чирикать, благо теперь я должен остаться беспартийным* (Пикуль. Честь имею): 'на весь планируемый период шпионской деятельности'. Однако: *В ту минуту, когда я должен прикоснуться ногой к этой воображаемой веревке, Олеся вдруг делает падающее движение, и тогда, по ее словам, самый крепкий человек должен непременно*

упасть... (Куприн. Олеся): 'мгновенно, сразу после соприкосновения с веревкой'.

Необходимость конкретизировать время долженствующей иметь место потенциальной ситуации – условие введения в позиционную схему дополнительных темпоральных спецификаторов: ...он (Ганя) *должен теперь испить еще эту ужасную чашу, и, главное, в такую минуту!* (Достоевский. Идиот): 'в минуту кошмара, ужаса и стыда, вызванных встречей членов семьи с Натасьей Филипповной'.

Функцию темпорального актуализатора реализации долженствующей иметь место ситуации выполняют и конструкции со значением длительности: *Теперь я тебя встречаю актрисой; за мои деньги ты должна меня увеселять в продолжение двух часов. Не подумай, пожалуйста, что мы с тобой встречаемся, как равный с равным* (Куприн. К славе).

К актуальному относим и так называемое настоящее расширенное, занимающее, по А.В. Бондарко, «промежуточное положение между конкретным настоящим временем момента речи и настоящим постоянным» [5. С. 66–67]. Его специфику определяет то, что наличие долженствующей быть ситуации характеризуется не только совпадением с моментом речи. Она, возможно, имела место до момента речи, не исключено ее следование за моментом речи. Например, в высказывании: – *А почему я должен относиться к вам (политическим лидерам. – В.К.) хорошо? Почти все политики, наобещав целый короб всяческих благ... потом до самой смерти объясняют народу, что они хотели сделать и каковы причины, помешавшие им исполнить свои обещания* (Пикуль. Честь имею): 'герой романа отрицательно характеризует деятельность политиков и не видит основания для иного'. Настоящее расширенное, считаем, представлено и в высказывании *В шуме родной реки есть что-то схожее с колыбельной песнью, с рассказами старой няни. Вадим это чувствовал, и память его невольно переселилась в прошедшее, как в дом, который некогда был нашим, и где теперь мы должны пировать под именем гостя...* (Лермонтов. Вадим). Мысль о вынужденном посещении родительского дома приходит к Вадиму во время его размышлений о своей судьбе на берегу реки. Лексема *теперь* не соотносит его размышление со временем фактического присутствия в доме родителей и указывает на длительный период, соотносимый с периодом от разорения родителей до размышления: так было и так будет.

В позиционной схеме высказываний, формируемых актуальной семантикой настоящего времени, субъект представлен наименованиями:

– конкретных предметов личного и неличного характера или их субституентами: *Наши агенты должны проникнуть в любую Тмутаракань, если надо, и до Харбина...* (Пикуль. Нечистая сила); *Простая статистика подсказала мне, кому должен принадлежать Триест: из 34 газет 29 печатались на языке итальянском, 3 – на словенском и греческом и лишь одна на немецком...* (Пикуль. Честь имею); ...*да знаешь ли, что он (Юрий) должен быть доволен и десятою долею твоей нежности...* (Лермонтов. Вадим);

– совокупностей лиц: *Сейчас должна спуститься под землю вторая смена. Сотни две человек толпятся на шахтенном дворе между штабелей, сложенных из крупных кусков блестящего каменного угля* (Куприн. В недрах земли): 'группа лиц, входящих в смену';

– отвлеченных понятий, представляющих «свернутые» пропозиции: – *Мы не можем опустить своего знамени; мы можем подписать самый великодушный мир <...> но подписать его в Византии!.. Не иначе. Это удовлетворение должно быть дано войскам* (Немирович-Данченко. Скобелев);

– каузаторов состояния: – *Если придется нам схватиться с немцами, я всегда постараюсь против одной их дивизии поставить своих две. А для этого нужно приучить солдата к неустойчивости... Ни расстояние, ни погода не должны его пугать... В этом залог успеха...* (Немирович-Данченко. Скобелев).

Настоящее абстрактное в зависимости от степени отвлеченности от момента речи объективируемой ситуации, долженствование которой утверждается / отрицается, представляет узуальную и вневременную семантику.

Узуальное настоящее – результат жизненного опыта субъекта, его логических рассуждений. Утверждаемая субъектом или приписываемая ему собеседником необходимость создавшейся ситуации соотнесена не только с моментом речи, она же характеризует определенный предшествующий и будущий периоды в жизни субъекта: *Я всегда был очень далек от политики <...> но, смею думать, что именно любовь к отчизне и к справедливости ее народных заветов повела меня туда, где я должен быть, и не кому-нибудь, а именно мне, бездомному бродяге, пусть выпадет то, что я обязан принять с чистым сердцем...* (Пикуль. Честь имею); – *У меня нет шестисот рублей, чтобы платить за тебя, как за «своекоштного», и потому радуйся, что здесь кормят четырежды в день <...> за это ты должен только учиться, – внушал мне папа* (Пикуль. Честь имею): ‘вывод, сделанный на основании жизненного опыта и логики рассуждения’.

Наша попытка проследить условия формирования узуальной семантики настоящего времени предикативного комплекса в качестве таковых позволила вычленивать:

– специфику должностных обязанностей субъекта: *...подходя к микрофону, я почему-то всегда вспоминал ценное изречение Ганса фон Секта: «Офицер генерального штаба не должен иметь своего имени!». У меня и не было теперь имени – и не надо мне имени, лишь бы осталось в святости имя Родины...* (Пикуль. Честь имею); *Генерал, командующий отрядом, должен сам уметь рыть землю. Ему следует все знать, иначе он и права не имеет других заставлять делать...* (Немирович-Данченко. Скобелев);

– знание ситуации: *Министру иностранных дел Извольскому было доложено: <...> Вы должны бояться женичины восточного типа* (Пикуль. Нечистая сила); – *Княжна, – сказал я, – вы знаете, что я над вами смеялся? Вы должны презирать меня* (Лермонтов. Журнал Печорина);

– традиции социума: – *А чо мне? – отвечала с игривостью. – Кажинный мужчиночка должен на хлеб супружнице заработать. А уж как сработал – меня не касает* (Пикуль. Нечистая сила);

– экономические и политические интересы государства: – *Государство должно расширяться до тех пор, пока у него не будет того, что мы называем естественными границами, законными очертаниями* (Немирович-Данченко. Скобелев); – *Каждый серб должен отлично стрелять, – уклончи-*

во отвечал майор... (Пикуль. Честь имею): `период борьбы сербов за национальную независимость`;

– чувство национальной гордости и патриотизма: – *Смотрите же, ребята... Вы должны быть молодцами; докажите, что вы те же молодцы, с которыми я Ловец брал и плевненские редуты* (Немирович-Данченко. Скобелев); – *Если вы офицер России, вы должны лечь костями ради Сербии, обязанные принять предложение Аниса* (Пикуль. Честь имею);

– политическую обстановку в стране: *В классах немецких школ снимают распятия с приказом – повесить на их место портреты фюрера. Символ мученичества Христа можно понять, но почему лопоухий Фриц или Ганс должен постоянно созерцать перед собой хамскую рожу Гитлера* (Пикуль. Честь имею);

– логику рассуждения: *Например, резкое сокращение поголовья гусиных стад в Германии должно навести агента на мысль о заготовке консервов* (Пикуль. Честь имею); *Смотрю, Скобелев в штатском платье. – Вот каким образом русские генералы должны появляться в завоеванном городе...* (Немирович-Данченко. Скобелев).

Особое место в нелокализованной во времени системе занимает темпоральная семантика с семой повтора, названная А.В. Бондарко «простой повторяемостью» и выделенная в особую группу временной нелокализованности [6. С. 217]. Мы относим эту семантику к узуальной на том основании, что она есть следствие мыслительной деятельности, логических выводов, достаточно твердого знания ситуации модальным субъектом. Эта ситуация не ограничена временными рамками «конкретного эпизода». Ее актуализатором выступает темпоральная лексема со значением неопределенной частотности или постоянных повторов: – *Ты мне должен ежеминутно напоминать, что мы тут для того, чтобы быть вместе. Подбадривай меня и не давай опомниться* (Пастернак. Доктор Живаго): `каждую минуту, постоянно`. Узуальную повторяемость следует отличать от конкретной повторяемости, объективируемой конкретным количеством. Ср.: *На лестничной площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был два раза зажигать спички, пока не разглядел номера квартиры* (Куприн. Гранатовый браслет).

Субъект в позиционной схеме высказываний со значением узуальности представляют:

– конкретные личные имена или их субституенты: – *В любом случае <...> вы должны совершенно выпасть из-под наблюдения тайной агентуры враждебных разведок* (Пикуль. Честь имею); *Придворный граф Гаррах вскочил на подножку герцогского автомобиля. – К чему это? Сойдите, – велел ему Франц Фердинанд. – Нет, – возразил Гаррах, – я должен исполнить свой долг, согласный закрыть вас от пуля даже своим телом...* (Пикуль. Честь имею);

– лексемы личные и собственно предметные обобщенной семантики: *Будущим идеалом государственного устройства славянских народов был для него союз автономий, с громадной и сильной Россией в центре. Все они (правительств. – В.К.) у себя внутри делай что хочешь и живи как хочешь, но военные силы, таможня, монета должны быть общими.* (Немирович-Данченко. Скобелев); – *Офицер Генштаба обязан знать все или почти все об*

окружающем его мире. Он должен уметь вести войска даже без карты, держа карту в голове... (Пикуль. Честь имею).

В пропозициях узуальной повторяемости субъект представлен конкретными личными наименованиями или их субституентами: *И, конечно, если бы Нельгину сказали: «Вот, тебе прощаются все многочисленные стояния, которые ты должен отбывать за свои провинности...»* (Куприн. Храбрые беглецы): *«когда провиняешься»*; – *Какой раз мне велят осматривать воеводу Путника, заведомо предупреждая, что он болен, а я как врач должен лишь подтвердить его непригодность по болезни* (Пикуль. Честь имею): *«не один раз, много раз»*.

Полное абстрагирование от момента речи – признак наивысшей степени познания социума или отдельного человека. Оно – основа вневременности ситуации, устанавливающей связи между явлениями действительности «не как данные непосредственному наблюдению, а как установленные человеческим интеллектом и имеющие вневременную силу» [9. С. 181]. Вневременность, обобщенность ситуации характерны для предикаций свойства (качества) [9. С. 185].

К вневременности приводят факторы, обязательность выполнения которых предопределена следующим:

– закономерной связью явлений: *...идеи – создания органические <...> тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума...* (Лермонтов. Журнал Печорина); – *За любым громом слов обязательно должна блистать свирепая молния...* (Пикуль. Честь имею);

– физиологической природой субъекта: *...сердце человека уместить в себе его (тщеславие, осложненное воображением. – В.К.) не может и должно погибнуть, разорваться или одним ударом сокрушить кумир свой...* (Лермонтов. Вадим);

– различными нормативными актами: *...Неужели так интересно знать, какая должна быть соблюдена дистанция между зарядными ящиками в походном обозе* (Пикуль. Честь имею); *...И притом помните твердо: плоскость шашки должна быть непременно наклонна к плоскости удара, непременно. От этого угол становится острее* (Куприн. Поединок);

– принятым социумом: – *Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться* (Куприн. Гранатовый браслет); *«Женищина, много страдавшая, должна уметь и много любить...»* (Куприн. К славе);

– должностным статусом: *Он (Вили) пишет, что снимает с себя роль посредника и, – прочитал царь, – «вся тяжесть решения ложится на твои плечи, которые должны нести ответственность за войну или за мир!»* (Пикуль. Честь имею): *«глава государства несет полную ответственность за судьбу страны»*; *Он (клоун)... с приподнятой горечью говорил про себя: «Да! Мы – шуты, мы должны смешить сытую публику!»* (Куприн. Alelez);

– традициями социума: – *Но женищина... женищина должна быть набожна без рассуждений* (Куприн. Олеся); – *Хорошо! И, вероятно, по-твоему, порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти?..* (Лермонтов. Журнал Печорина).

Позиция субъекта во вневременных конструкциях представлена:

– родовым, обобщенным, нереперентным личным именем: *Человек, любящий своих близких, человек, ненавидящий войну, должен добить врага, чтобы вслед за одной войной тотчас же не начиналась другая...* (Немирович-Данченко. Скобелев); *Генерал, командующий отрядом, должен сам уметь рыть землю. Ему следует все знать, иначе он и права не имеет других заставлять делать...* (Немирович-Данченко. Скобелев);

– родовым наименованием собственно предметов: – «*А зачем он, спрашиваю, сундука не запер?*» *Потому что, ваш бродь, у них, у каждого, при сундуке замок должен находиться* (Куприн. Дознание);

– именами отвлеченных понятий: – *Боевой порядок должен быть так построен, чтобы он как можно меньше терял от огня, потом, чтобы было удобно командовать...* (Куприн. Поединок); – *Репутация офицера генерального штаба должна быть без пушинки* (Куприн. Поединок).

Особую группу неактуальной (нелокализованной) во времени составляет метафоризованная семантика формы настоящего времени предикатива, в условиях контекста приобретающая не свойственное ей значение будущего и, в нашем материале, реже – прошедшего времени.

В позиции актуализаторов будущего выступают логически соотносимые со временем модального предикатива временные формы других глаголов контекста: – *Хорошо! Клянусь, ты будешь владеть конем; только за него ты должен отдать мне сестру Бэлу: Карагез будет тебе калымом* (Лермонтов. Бэла): `наличие перформатива *клянусь*, формы будущего актуального *будешь владеть*, *будет калымом* в одном синтагматическом ряду – условие актуального будущего комплексного предикатива`. Ср. также: *Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтоб иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить...* (Лермонтов. Журнал Печорина); – *Что ты собираешься сделать в этом отношении? Ты должен привести в ясность твои дела с Тоней, с Мариной* (Пастернак. Доктор Живаго); «*Расслабьте свои чувства, – диктовал он. – Я должен без напряжения проникнуть в потаенный мир царственной красавицы*» (Пикуль. Нечистая сила); *Я только об одном хотел бы знать, – уныло заметил князь, – совершенно ли должен я перестать на вас рассчитывать и уж не отправиться ли мне одному?* (Достоевский. Идиот).

Перенос семантики грамматического настоящего в будущее обусловлен:

– планируемостью ситуации, предполагающей будущую реализацию: *Но тут он вспомнил, что к нему должен прийти по делу толстовец Выволочнов и ему нельзя отлучаться* (Пастернак. Доктор Живаго); *Но Труфанов был склонен к аскетизму – редкое явление по тем временам, и Феофан, ректор Академии, стал заранее выдвигать студента – как нового апостола церкви, который должен заменить Иоанна Кронштадтского, издыхающего от умеренного потребления хересов* (Пикуль. Нечистая сила);

– стечением обстоятельств: *...выборы во вторую Думу, которая должна явить новых богатырей мысли и дела...* (Пикуль. Нечистая сила); *До отхода поезда она посвятила меня в тайны того квартала Гамбурга, из коего я должен выйти другим человеком* (Пикуль. Честь имею).

Актуализируют метафоризацию временной семантики формы настоящего времени комплексного предикатива темпоральные спецификаторы, объединенные наличием семы 'будущность':

– вскоре – 'в недалеком будущем', следующим за моментом речи: – *Но вот как посмотрит на это* (вопрос о земле. – В.К.) *Дума, которая вскоре должна собраться?* (Пикуль. Нечистая сила);

– скоро – 'через короткий промежуток времени', после момента речи: – *Будь осторожен, друже! А все враги нашей общей свободы скоро должны умереть* (Пикуль. Честь имею);

– через три месяца – 'спустя три месяца' после момента речи: – *Когда Лидочка сказала ему, что через три месяца она должна родить, он по-воровски, тайком бросил ее на произвол судьбы* (Куприн. К славе);

– за разгромом – 'непосредственно после разгрома': ...*за разгромом Франции должен последовать стремительный разгром русской армии, оглушенной внезапностью нападения и не успевающей откатиться в глубину России, чтобы им, немцам, не повторить ошибки Наполеона* (Пикуль. Честь имею).

Лексема *вечером* 'когда наступит вечер, в вечернее время' в речевом отрезке Супнек сказал шоферу: – *Ты мне больше не нужен. Но вечером заедешь за нами, я с женою должен быть в «Национале» на Таборитрассе...* (Пикуль. Честь имею) не только объективирует время предстоящего прибытия водителя (*заедешь*), но и время облигаторности ситуации бытия как детерминанта прибытия водителя: 'вечером мы должны быть в «Национале»'. Обе ситуации: прибытие и бытие – совпадают во времени, но следуют за моментом речи.

В реализации семантики будущего инфинитив представлен совершенным видом, за исключением высказываний бытия и принадлежности: – *Послушай, моя пери, – говорил он, – ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею...* (Лермонтов. Бэла).

Субъект пропозиции будущего представлен конкретными именами личными, собственно предметными, отвлеченными или их субституентами: *Она ответила не сразу, уклончиво и как будто бы неохотно: – Если, например, который человек должен скоро нехорошей смертью умереть, я это сейчас у него на лице прочитаю...* (Куприн. Олеся); *Моя программа остается неизменной: жесточайшее подавление беспорядков, разрешение аграрного вопроса, как самое неотложное дело империи, и выборы во вторую Думу, которая должна явить новых богатырей мысли и дела...* (Пикуль. Нечистая сила); *Игнатьев вручил мне билет до Кале, откуда я должен переправиться в Англию, чтобы плыть далее – до Романова-на-Мурмане, который протянул рельсы от Кольского залива до Петрограда* (Пикуль. Честь имею).

Форма настоящего времени в значении прошедшего отмечена в конструкции с грамматически выраженной глагольной формой прошедшего времени, соотносимого с прошедшим препозитивного предикатива: *Мне предстояло переселение в Могилев-на-Днепре, где я должен ведать вопросами координации всех фронтовых разведок, суммируя эти секретные данные для «высочайших» докладов* (Пикуль. Честь имею): 'там я должен был ведать'.

Форма прошедшего синтаксического времени предикативного комплекса «*должен был (была, были) + инфинитив*» малопродуктивна в речевой реализации по сравнению с формой настоящего времени этой же конструкции. Она объективирует как локализованные, так и нелокализованные во времени ситуации.

Локализация во времени отмечена актуальной временной семантикой: предикативный комплекс объективирует модально окрашенную семой долженствования потенциальную ситуацию, имевшую место до момента речи, грамматически представленную синтаксической формой прошедшего времени и подтвержденную контекстом: прежде всего, это глаголы прошедшего времени, соотносимые по времени с анализируемым предикативным сочетанием: *По исстари заведенной традиции мы должны были представиться императору. Николай II проживал тогда с семейством в глухом месте Царского Села...* (Пикуль. Честь имею); *Мнение большинства обеспечило за ней на следующий спектакль трудную и выдающуюся роль: она должна была играть Офелию. Взялась она за дело с той страстностью, с какой она хваталась за все для нее новое...* (Куприн. К славе); *Третья Плевна, несмотря на то, что Скобелев должен был отступить от занятых им с боя редутов, как будто разом открыла глаза всем* (Немирович-Данченко. Скобелев).

Семантику прошедшего времени долженствующей быть ситуации актуализируют темпоральные конструкции различной семантики:

– конкретной даты: *Он (Скобелев) поступил в Петербургский университет, но во время беспорядков в 1861 году должен был оставить его* (Немирович-Данченко. Скобелев); – *Вы, молодые люди, знаете Тигр лишь по урокам географии, а я помню его по урокам «закона божия» в гимназиях Санкт-Петербурга. Мало того, в шестнадцатом году я должен был находиться неподалеку отсюда – в Кутэль-Амаре, где позорно капитулировал английский отряд генерала Туансайда...* (Пикуль. Честь имею);

– соотносимой со временем другого события: – *Майор Калигин убит при защите Эски-Загры во главе болгарского ополчения, с его знаменем в руках, в тот момент, когда под напором бесчисленных таборов Сулеймана горсть наших войск должна была отступить* (Немирович-Данченко. Скобелев): ‘тогда, во время отступления’;

– удаленностью от момента речи без конкретизации: *Он (Живаго) пишет с жаром и необыкновенной удачей то, что он всегда хотел и должен был давно написать, но никогда не мог, а вот теперь оно выходит* (Пастернак. Доктор Живаго); *Из таких вагонных разговоров выяснилось, что кассир Прикульев и торговый ученик Вася Брыкин – земляки, оба – вятские и, кроме того, уроженцы мест, которые поезд должен был миновать по прошествии некоторого времени* (Пастернак. Доктор Живаго): ‘минуя некоторое время’;

– близость к моменту речи также без конкретизации: *Мороз смягчился, с темного неба, покрытого низкими тучами, с минуты на минуту должен был повалить снег* (Пастернак. Доктор Живаго): ‘в самое ближайшее время’.

Субъект пропозиции, как правило, представлен конкретным личным именем или указанием на лицо: *Аносов, сохранивший, несмотря на годы, удивительную зоркость, должен был помочь своей спутнице* (Куприн. Гранатовый браслет); *Ганя остолбенел. – Как? Моя записка! – вскричал он: – он и не*

передавал ее! О, я должен был догадаться! (Достоевский. Идиот); В конце концов перед самым спектаклем барышня, которая должна была играть в водевиле, обиделась, закапризничала, заболела и отказалась (Куприн. К славе).

Реже в позиции субъекта отмечены имена:

– конкретно-предметные: *Траншея должна была вырасти на глазах (Немирович-Данченко. Скобелев): `траншея, о которой шла речь`;*

– обобщенной семантики: *Громадная зрительная зала... освещалась тремя или четырьмя висячими лампами. Глаз должен был сначала привыкнуть к темноте, чтобы различить что-нибудь (Куприн. К славе);*

– пропозициональные: *Теперь-то, умудренный долгим опытом жизни, я понимаю, что все случившееся со мною в Трансваале, в Белграде, в Варшаве и в Киеве – все это должно было привести меня на тот единственный в жизни путь, где я полнее всего мог проявить себя (Пикуль. Честь имею).*

К локализованному во времени относим и прошедшее расширенное, характеризующее ситуацию как факт, имеющий место в прошлом, «безотносительно к его длительности или кратности». А.В. Бондарко называет его временем обобщенного факта (прошедшим аористическим), соотношенным с временным значением «безотносительно к его единичности или повторяемости, локализованности во времени или нелокализованности» [6. С. 84]. Потенциальная ситуация прошедшего расширенного представлена глаголами несовершенного вида: *...Лидочка должна была восхищаться им и находить проблески гения в проявлениях его животной натуры (Куприн. К славе); Верного в этом анекдоте было только то, что в первые дни замужней жизни Анна должна была безотлучно находиться около захворавшей матери... (Куприн. Гранатовый браслет).*

Абстрактная семантика прошедшего времени отмечена узуальным вариантом, основанным на знаниях субъекта, приобретенных в результате наблюдения типовых ситуаций или явившихся следствием мыслительных операций, а также транспозиционным вариантом семантики.

Узуальность как следствие знаний типовой ситуации исходит из ее соответствия:

– традициям социума: *Но Моллине совсем не хотел меня понять, как я ему ни толковала. Застежки должны были быть в таком же стиле, как и весь узор, матовые, старого золота, тонкой резьбы, а он бог знает, что сделал (Куприн. Гранатовый браслет);*

– этическим нормам: *Дружба Скобелева давала не права, а обязанности. Друг Скобелева должен был следовать во всем его примеру. Там, где постороннего извиняли и миловали, другу не было ни оправдания, ни прощения... (Немирович-Данченко. Скобелев).*

Узуальность, аргументированная логикой мыслительных операций, представлена высказываниями типа: *Между тем горбатый нищий молча приблизился и устремил яркие черные глаза на великодушного господина; этот взор был остановившаяся молния, и человек, подверженный его таинственному влиянию, должен был содрогнуться и не мог отвечать ему тем же... (Лермонтов. Вадим): `вывод, сделанный на основании наблюдения и анализа единичного факта`; Точно этот суровый, подоблачный, богатырский лес, как-то*

споткнувшись, весь как есть полетел вниз и должен был провалиться в тартарары, сквозь землю, но в решительный момент чудом удержался на земле и вот, цел и невредим, виднеется и шумит внизу (Пастернак. Доктор Живаго): 'лес производил соответствующее впечатление'.

Трансформационные изменения формы прошедшего времени представлены ее способностью объективировать время предполагаемой ситуации, следующей за моментом речи, направленной, таким образом, к будущему: *Далее интрига будет развиваться по черноморским планам. Стана разведется со своим гулякой-герцогом и выйдет за дядю Николашу, который должен был заместить на престоле племянника* (Пикуль. Нечистая сила): 'по традиции должен будет'; *В день боя под Плевно, последнего, закончившего эту страшную эпопею плевненского сидения, Скобелеву было приказано принять в командование гвардейскую бригаду. По первоначальной диспозиции она должна была составить резерв* (Немирович-Данченко. Скобелев): 'планировалось до подписания приказа о назначении Скобелева командующим'.

Указание на направленность в будущее маркируют спецификаторы со значением общего указания на время без его уточнения:

– завтра – 'на следующий день после сегодняшнего': *Он упал на стеклянную крышу оранжереи соседнего дома, пробил ее и попал в комнату чужой квартиры, расколов при этом драгоценную сервскую вазу, за которой завтра должны были прийти, чтобы забрать ее в музей Лувра* (Пикуль. Честь имею);

– следующий год – 'наступающий после этого, текущего': *В следующем году царская чета должна была присутствовать на маневрах французской армии в Шампани, но Александра Федоровна твердо заявила супругу: «Надеюсь, Ники, ты не дашь убить меня в Париже!»* (Пикуль. Нечистая сила);

– сегодня – 'в этот, сейчас идущий день': *Предметом разговора служил рядовой Байгузин, над которым должен был сегодня приводиться в исполнение приговор полкового суда* (Куприн. Дознание): 'время разговора и сам приговор соответствуют лексическому значению темпорального спецификатора, но факт приведения исполнения приговора не совпадает с моментом речи: он будет исполнен позже, хотя и в указанный день'. Аналогично: этот год – 'текущий год': *Он (Николаев) в этом году должен был держать экзамен в академии генерального штаба и весь год упорно, без отдыха готовился к нему. Это был уже третий экзамен, так как два года подряд он проваливался* (Куприн. Поединок): 'запланировано на текущий год'.

Позиционная схема может включать две темпоральные конструкции в функции взаимного уточнения: *Вечером 28 мая в конаке должен был состояться «домашний» концерт. Драга обещала королю спеть веселую песенку* (Пикуль. Честь имею): 'дата называет день концерта, а лексема *вечером* – время суток'.

Форма будущего времени, представленная соответствующей синтаксической формой, не продуктивна в функционировании и маркирует только актуальное будущее: *Сегодня я должен буду дать свое слово безвозвратно* (Достоевский. Идиот).

Резюме. Предикатив *должен* представлен в речи всеми синтаксическими временными формами в их конкретном и абстрактном значении. Прямое значение соотносено с грамматическим значением категории времени русского глагола.

Наиболее продуктивной в функционировании является форма настоящего времени с преобладающей абстрактной семантикой узуального и вневременного характера и ее транспозицией. Неконкретное значение формы прошедшего времени – его узуальностью и транспозицией. Семантика формы будущего времени актуальна, в функционировании непродуктивна, вероятно, потому, что в семантике модификатора и потенциальной ситуации ярко представлена обращенность в будущее.

Имена общего характера представляют субъект в пропозициях, отмеченных вневременностью.

Литература

1. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М.: УРСС, 2003. 366 с.
2. Пешковский А.М. Синтаксис в научном освещении. 4-е изд. М.: Учпедгиз, 1934. 452 с.
3. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. М.: Учпедгиз, 1941. 621 с.
4. Виноградов В.В. Русский язык: (Грамматическое учение о слове). М.: Высш. шк., 1972. 614 с.
5. Бондарко А.В. Вид и время русского глагола (значение и употребление). М.: Просвещение, 1971. 239 с.
6. Бондарко А.В. Временная локализованность // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987. С. 210–230.
7. Бондарко А.В. Темпоральность // Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л., 1990. С. 5–48.
8. Касевич В.Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. М.: Наука, 1988. URL: <http://www.twirpx.com/file/471848/1> (дата обращения: 25.06.2013).
9. Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М.: Наука, 1973. 351 с.
10. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. 4, вып. 2. М.: Просвещение, 1977. 406 с.
11. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М.: Изд-во МГУ, 1998. 524 с.
12. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: ООО «ИТИ Технологии», 2008.
13. Цейтлин С.Н. Необходимость // Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л., 1990. С. 142–156.

Список источников

- Бунин И.А. Жизнь Арсеньева. http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_2532.shtml (дата обращения: 04.02.2015).
- Достоевский Ф.М. Идиот. М.: Азбука, 2015. 640 с.
- Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени // Собр. соч.: в 4 т. Т. 4. М., 1965. С. 7–136.
- Лермонтов М.Ю. Вадим // Собр. соч.: в 4 т. Т. 4. М., 1965. С. 143–240.
- Куприн А.И. Избранные сочинения: в 2 т. Т. 1: Повести и рассказы. Фрунзе: Кыргызстан, 1982. 502 с.
- Немирович-Данченко В.И. Скобелев. М.: Воениздат, 1993. 285 с.
- Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. М.: АСТ, 2016. 704 с.
- Пикуль В.С. Честь имею: роман. М.: Просвещение, 1992. 448 с.
- Пикуль В.С. Баязет. М.: Изд. Дом «Вече», 2004. 573 с.
- Пикуль В.С. Нечистая сила. М.: Вече, 2004. 765 с.
- Чехов А.П. Рассказы. М.: Худож. лит., 1976. 368 с.

ON THE TEMPORAL SEMANTICS OF THE MODIFIER *DOLZHEN* [MUST]

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 46. 5–20. DOI: 10.17223/19986645/46/1

Valentina I. Kazarina, Elets State I.A. Bunin University (Elets, Russian Federation). E-mail: cazarina.valentina2015@yandex.ru

Keywords: topical, abstract, usage, timeless semantics, category of tense, moment of speech, positional scheme, degree of knowledge, conditions of forming, syntactic form of tense.

The work deals with the description of temporal semantics of the modal modifier *dolzhen* [must] which is represented in texts by all the syntactic forms of tense. The empirical material includes utterances with the lexeme *dolzhen* from the works by I.A. Bunin, F.M. Dostoevsky, I.A. Kuprin, M.Yu. Lermontov, V.I. Nemirovich-Danchenko, V.S. Pikul, A.P. Chekhov.

The analysis is based on the data of the grammatical category of tense, of the context, situational information, background knowledge, the logic of reasoning. The modifier, which is situated on the predicative axis, is combined with an infinitive – the marker of a potential situation modally characterized as necessary to be realised with the status of a real world fragment. Attention is drawn to the logic direction of the potential situation and the necessity modus to the physical future time, its correlation / non-correlation with the grammatical meaning of the syntactic form of tense. The present tense form is recognised as the most productive in functioning. The present and past tense forms are presented by the situations localised and not localised in time that define concrete and abstract time correspondingly. The future tense form is a marker of localised situations correlated with the concrete time. The concrete time is objectified by the grammatical system of tense forms of the link-verb *byt'* [to be]. In this connection, the feature characteristic for the topical semantics of the present tense form is considered to be coincidence of the assumption of necessity to change a potential situation with a moment of speech, but not the process of its realisation. Temporal specifiers of different meanings take part in actualising concrete semantics. Abstract semantics of a tense form is presented by its usage features and its timelessness; the basis of their differentiation is the degree of the situation abstraction from the moment of speech. Usage semantics is characterised by its optional correlation with the point on the time axis; it corresponds to the character's knowledge, logic of his reasoning and conclusions and it can coincide with the speech situation, precede it or follow it. Metaphorised semantics and the semantics of repetition are also referred to usage semantics. Timeless semantics, which represents the highest degree of human intelligence cognition, objectifies connections between real world phenomena that are not correlated with the moment of speech. Both kinds of abstract semantics have been revealed in the speech realisation of the present tense. The past tense form is represented by its usage variant. The conditions forming abstract semantics of the predicative have been determined. The concrete and abstract character of semantics define the lexical composition of the position of the proposition subject. In propositions correlated with localised situations the subject is marked by concrete and rarely by abstract nouns, while in positional schemes marked by timeless semantics the subject is presented by gender and abstract nominations.

References

1. Zolotova, G.A. (2003) *Kommunikativnye aspekty russkogo sintaksisa* [Communicative aspects of Russian syntax]. Moscow: URSS.
2. Peshkovskiy, A.M. (1934) *Sintaksis v nauchnom osveshchenii* [The syntax in a scientific light]. Moscow: Uchpedgiz.
3. Shakhmatov, A.A. (1941) *Sintaksis russkogo yazyka* [The syntax of the Russian language]. Moscow: Uchpedgiz.
4. Vinogradov, V.V. (1972) *Russkiy yazyk (Grammaticheskoe uchenie o slove)* [The Russian language (Grammatical doctrine of the word)]. Moscow: Vysshaya shkola.
5. Bondarko, A.V. (1971) *Vid i vremya russkogo glagola* [Aspect and tense of the Russian verb (meaning and usage)]. Moscow: Prosveshchenie.
6. Bondarko, A.V. (1987) *Vremennaya lokalizovannost'* [Localization of Time]. In: Bondarko, A.V. *Teoriya funktsional'noy grammatiki. Vvedenie. Aspektual'nost'. Vremennaya lokalizovannost'. Taksis* [The theory of functional grammar. Introduction. Aspectuality. Localization of Time. Taxis]. Leningrad: Nauka.

7. Bondarko, A.V. (1990) Temporal'nost' [Temporality]. In: Bondarko, A.V. *Teoriya funktsional'noy grammatiki. Temporal'nost'. Modal'nost'* [Theory of functional grammar. Temporality. Modality]. Leningrad: Nauka.
8. Kasevich, V.B. (1988) *Semantika. Sintaksis. Morfologiya* [Semantics. Syntax. Morphology]. Moscow: Nauka.
9. Zolotova, G.A. (1973) *Ocherk funktsional'nogo sintaksisa russkogo yazyka* [An essay on the functional syntax of Russian]. Moscow: Nauka.
10. Potebnya, A.A. (1977) *Iz zapisok po russkoy grammatike* [From the notes on Russian grammar]. Vol. 4. Is. 2. Moscow: Prosveshcheniye.
11. Zolotova, G.A., Onipenko, N.K. & Sidorova, M.Yu. (1988) *Kommunikativnaya grammatika russkogo yazyka* [Communicative grammar of the Russian language]. Moscow: Moscow State University.
12. Ozhegov, S.I. & Shvedova, N.Yu. (2008) *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka* [Explanatory Dictionary of the Russian language]. Moscow: OOO "ITI Tekhnologii".
13. Tseytlin, S.N. (1990) Neobkhodimost [Necessity]. In: *Teoriya funktsional'noy grammatiki. Temporal'nost'. Modal'nost'* [Theory of functional grammar. Temporality. Modality]. Leningrad: Nauka.

Sources

- Bunin, I.A. (1933) *Zhizn' Arsen'eva* [Life of Arseniev]. http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_2532.shtml. (Accessed: 04th February 2015).
- Dostoevsky, F.M. (2015) *Idiot* [The Idiot]. Moscow: Azbuka.
- Lermontov, M.Yu. (1965) Geroy nashego vremeni [The hero of our time]. In: Lermontov, M.Yu. *Sobr. soch.: v 4 t.* [Works: in 4 vols]. Vol. 4. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
- Lermontov, M.Yu. (1965) Vadim. In: Lermontov, M.Yu. *Sobr. soch.: v 4 t.* [Works: in 4 vols]. Vol. 4. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
- Kuprin, A.I. (1982) *Izbrannye sochineniya: v 2 t.* [Selected works: in 2 vols]. Vol. 1. Frunze: Kyrgystan.
- Nemirovich-Danchenko, V.I. (1993) *Skobelev*. Moscow: Voenizdat. (In Russian)
- Pasternak, B.L. (2016) *Doktor Zhivago* [Doctor Zhivago]. Moscow: AST.
- Pikul', V.S. (1992) *Chest' imeyu: roman* [I have the honor: a novel]. Moscow: Prosveshchenie.
- Pikul', V.S. (2004) *Bayazet*. Moscow: Izd. Dom «Veche». (In Russian)
- Pikul', V.S. (2004) *Nechistaya sila* [Devilry]. Moscow: Veche.
- Chekhov, A.P. (1976) *Rasskazy* [Short stories]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.

УДК 81.1

DOI: 10.17223/19986645/46/2

О.А. Крапивкина

ОПЫТ АНАЛИЗА ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК КАК ФОРМ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ СУДЕБНЫХ ТЕЛЕШОУ)

В статье представлен взгляд на дискурс как инструмент социального взаимодействия. Цель исследования заключается в анализе форм социального взаимодействия в рамках юридических дискурсивных практик и установлении их зависимости от уровня владения участником коммуникации экспертным знанием. Новизна работы заключается в изучении юридических дискурсивных практик в их связи с семиотическими сущностями – концептом, понятием и термином. Форма социального взаимодействия коррелирует с семиотической сущностью, вокруг которой организуется дискурс. Материалом для анализа послужили судебные шоу, транслируемые на федеральных телеканалах, в которых рассматриваются вымышленные гражданские и уголовные дела с участием реальных юристов. Теоретической базой исследования послужила концепция эволюции форм знания А.М. Каплуненко.

Ключевые слова: дискурс, юридический дискурс, социальное взаимодействие, экспертное сообщество, термин, понятие.

Проблемы социального взаимодействия, основой которого выступают дискурсивные практики, всегда находились в центре внимания исследователей. Значительный вклад в развитие теории социального действия и социального взаимодействия внесли социологи М. Вебер, П. Сорокин, Дж. Хоманс, Т. Парсонс и др. Совершая какое-либо социальное действие, субъект оказывает воздействие на поведение другого, от которого получает ответное действие – «воздействие». Социальное взаимодействие – это система взаимообусловленных социальных действий, при которой действие одного субъекта является одновременно причиной и следствием ответных действий других субъектов, это процесс непосредственного или опосредованного взаимодействия социальных субъектов [1]. Для социального взаимодействия характерны предсказуемость взаимных ожиданий, взаимопонимание между субъектами. Если субъекты «говорят на разных языках» и преследуют взаимоисключающие цели и интересы, то результаты такого взаимодействия вряд ли будут положительными, а коммуникативный эффект может быть «сведен к нулю».

Социальная интеракция невозможна вне дискурсивных практик, включающих производство и восприятие текстов [2. С. 110]. Любой вид взаимодействия между индивидами и социальными образованиями предполагает осуществление коммуникативных актов, проявляется в дискурсах, которые выступают в качестве инструментов социального взаимодействия. Дискурс, реализуясь в качестве социально упорядоченных, регламентированных коммуникативных актов и выражаясь в текстах определенного типа, является

уникальным орудием для осуществления и развития социального взаимодействия в обществе [3. С. 255].

В рамках настоящего исследования релевантным является определение дискурса, предложенное Е.И. Шейгал, которая описала его как семиотическое пространство, включающее вербальные и невербальные знаки, ориентированные на обслуживание данной коммуникативной сферы, представление о типичных моделях речевого поведения и набор речевых действий и жанров, специфичных для данного типа коммуникации» [4. С. 11]. Оказываясь в определенной коммуникативной ситуации, коммуникант оценивает ее и выбирает соответствующее ей речевое действие, следуя правилам, выработанным в дискурсивном сообществе. Наличие правил является предпосылкой социальной интеракции.

Таким образом, социальное взаимодействие может иметь различный характер в зависимости от коммуникативной ситуации, целей коммуникации, характеристик коммуникантов [5. С. 23].

Материалом для исследования послужили судебные шоу, транслируемые на федеральных телеканалах НТВ, Россия 1 и Первый: *Час суда*, *Федеральный судья*, *Суд присяжных*, *Суд присяжных: окончательный вердикт*. Было подвергнуто анализу около 70 выпусков данных программ. В статье приведены примеры из двух телешоу: *Суд присяжных* и *Час суда*.

Судебные шоу представляют собой телевизионные программы, в которых рассматриваются вымышленные уголовные и гражданские дела с участием реальных юристов в роли судей, адвокатов и прокуроров. Все участвующие в шоу юристы в действительности являются адвокатами. Это связано с положением законодательства, согласно которому действующие судьи и прокуроры не имеют права заниматься какой-либо другой профессиональной деятельностью, кроме юридической и преподавательской.

В судебном шоу «Суд присяжных» рассматриваются тяжкие уголовные преступления: убийства, похищения людей, ограбления, изнасилования, разбои, в юридическом шоу «Час суда» только гражданские дела без участия адвокатов.

Реальность основных участников, знакомых с особенностями правовой коммуникации и владеющих экспертным знанием, позволила нам условно идентифицировать данные телешоу и реальные юридические дискурсивные практики, разворачивающиеся в ходе судебных заседаний.

Опираясь на теорию эволюции форм знания, предложенную А.М. Каплуненко [6, 7], рассмотрим три формы социального взаимодействия в рамках юридической коммуникации на материале судебных шоу: Дискурс Различий – речевая деятельность, в которой преобладает феноменологическое знание, опирающееся на индивидуальный опыт, а не на экспертное знание; Дискурс Согласования – речевая деятельность, участники которой стремятся к утверждению общей точки зрения, организующаяся вокруг понятия, к которому коммуниканты приходят в результате конвенции, сотрудничества; Дискурс Экспертного Сообщества – речевая деятельность, участники которой объединены профессиональными целями, формирующими единый горизонт интерпретации понятия, и владеют экспертным знанием, с опорой на которое выстраивают свою коммуникацию.

Дискурс Различий – не абсолютное противоречие и глобальное отсутствие понимания. Это «начало движения к всеобщему» [6. С. 117]. Дискурсу Различий не свойственны хаос взглядов и отсутствие рационального ядра. Субъекты понимают главную суть, но отрицают точки зрения своих оппонентов, оперируя концептами как феноменологическими сущностями, основанными на индивидуальном опыте. Приведем пример высказываний присяжных заседателей, характеризующих характер вины подсудимой:

Присяжный 1: В данном случае я сначала с душой подошел к этой девушке. Но затем я сделал вывод, что она виновата.

*Присяжный 2: Если бы она была **хорошим и честным**, она бы на это не пошла (Телешоу «Суд присяжных»).*

Присяжный 1 с помощью фразеологизма определяет свое отношение к степени вины подсудимой. Данный фразеологический оборот имеет в рассматриваемом контексте размытые семантические границы в силу неограниченности объема. Присяжный 2 характеризует подсудимую также с опорой на феноменологические знаки *хороший* и *честный*. Наблюдаются расхождения в суждениях и оценках правового поведения подсудимой, исходя из различий в опыте переживания, мнения, оценки тех или иных аспектов правомерного поведения, образующих у каждого свой уникальный дискурс.

В пределах Дискурса Различий индивид, не владеющий экспертным знанием, предстает как личность, обладающая мнениями, базирующимися на субъективном восприятии мира и ранее полученном опыте. Феноменологическое значение представляется как индивидуальная интерпретация знаков, которая зиждется на личном опыте интеракции индивида с данными семиотическими сущностями [8. С. 116]. Примером феноменологической интерпретации знака является и следующий фрагмент дискурса присяжных заседателей при вынесении вердикта:

*Присяжный 1: Мотивы для совершения данного преступления могли быть у нескольких человек. Нет **прямых улик** в совершении данного преступления.*

*Присяжный 2: Я хочу возразить. Есть же показания свидетелей. Как раз **прямые улики** указывают на то, что она именно убила.*

*Присяжный 3: **Прямые улики** – это у нас **нож, отпечатки пальцев на орудии убийства** (Телешоу «Суд присяжных»).*

В силу отсутствия экспертных знаний присяжные интерпретируют юридическое понятие «прямые улики», исходя из личного опыта. Присяжный 2 *прямыми уликами* называет представленные стороной обвинения косвенные доказательства, относя к ним показания свидетелей, которые участниками юридического экспертного сообщества относятся к косвенным – обстоятельствам, дающим основания для определенных выводов о данных обстоятельствах. Присяжный определяет прямые доказательства путем перечисления их разновидностей, но оставляя данный знак без дефиниции по причине отсутствия экспертного знания в области уголовно-процессуального права. При-

сяжные заседатели обладают различным опытом, а следовательно, и интерпретация одних и тех же явлений у них не совпадает, «общего языка в Дискурсе Различий не бывает» [6. С. 10].

Приведем еще один пример.

*Присяжный: Николаев лишился своей должности за **махинации**. Если бы он был **хорошим и честным**, он бы на это не пошел. У его **подельника** были явно налажены потоки, куда можно **дать краденое** (Телешоу «Суд присяжных»).*

Пример иллюстрирует, что субъект речи описывает уголовно-правовую ситуацию, используя знаки (*махинация, честный, подельник, дать краденое*), для которых характерно отсутствие однозначной семантики, предполагающие множественную интерпретацию в зависимости от индивидуального опыта интерпретатора. Основой феноменологического восприятия субъекта речи являются концепты «честность» / «нечестность», «махинация», которые характеризуются неопределенно большим объемом. Так, к примеру, среди признаков концепта «махинация» можно выделить следующие: «нечестные действия», «жульничество», «тихая операция без свидетелей», «хитрый замысел» и др. В уголовно-правовом дискурсе участника экспертного юридического сообщества данные понятия вербализовались бы иным образом: *махинация – мошенничество, подельник – соучастник, дать краденое – реализовать похищенное имущество*. Данным знакам в юридическом сообществе присуща единая интерпретанта, не зависящая от контекста и феноменологического опыта интерпретатора.

Далее отметим, что Дискурс Различий возможен не только с участием носителей обыденного языкового сознания, но и экспертов, когда они организуют его вокруг знаков, не имеющих четких дефиниций. Приведем пример спора между участниками юридического экспертного сообщества по поводу значения знака «опасный».

*Адвокат: На данной записи мы видим свидетеля Зиброву, которая наносит **опасный** удар по голове погибшего.*

*Прокурор: Я возражаю против формулировки «**опасный**». Мы не знаем, какой он был.*

*Адвокат: По голове все **опасно** палкой (Телешоу «Суд присяжных»).*

Участники коммуникации понимают главную суть, но отрицают точку зрения своего оппонента, оперируя концептом как феноменологической семиотической сущностью. Разногласия у адвоката и прокурора вызывает семантика прилагательного «опасный». Поскольку в уголовном праве отсутствует определение понятий «опасный», «опасный удар», коммуниканты обращаются к индивидуальному опыту, различия в котором и приводят к полемике. Следует отметить, что обращение экспертов к знакам с множественной интерпретантой может быть проявлением манипулятивного воздействия. В судебном заседании с участием присяжных заседателей подобные знаки обладают манипулятивным потенциалом и их намеренное использование по-

могает склонить присяжных заседателей на свою сторону, поскольку позволяет соотнести с той интерпретантой, которая соответствует выбранной линии защиты или обвинения.

Таким образом, множественность, вариативность интерпретаций действительности в Дискурсе Различий создает ситуации для конструирования особой реальности, когда представление и восприятие какого-либо фрагмента действительности неотделимы от оценочного отношения к нему.

Следующая форма социального взаимодействия – Дискурс Согласования – организуется вокруг понятия, содержание которого представляет собой совокупность признаков, принятых в результате общественной конвенции [7. С. 17], что помогает прийти к консенсусу и согласовать различные взгляды. Так, если знак «корысть» в Дискурсе Различий имел множество признаков, среди которых *страсть к наживе, материальная выгода, материальная заинтересованность, падкость на барыши, жадность к деньгам* и т.п., лишившись оценочных признаков в Дискурсе Согласования, он приобрел ряд неизменных признаков, которые отличают от смежных уголовных деяний: *получение материальной выгоды для виновного или других лиц или избавление от материальных затрат* [9].

Примером Дискурса Согласования является общение адвоката и клиента. Адвокат воспринимает клиента как субъекта, находящегося за пределами экспертного сообщества, не обладающего экспертным знанием, не владеющего специальной терминологией и не способного ее правильно интерпретировать. Чтобы выйти на продуктивный диалог, адвокат вынужден отказываться от профессионального языка и продуцировать Дискурс Согласования, центром которого являются понятия, которые конструируются для того, чтобы иметь общий язык при обсуждении проблем, опираясь на логические соображения [10. С. 5]. Профессиональное предназначение адвоката требует Дискурса Согласования, поэтому вырабатывается общий контекст интерпретации, а у клиента формируется адекватная интерпретанта, несмотря на отсутствие экспертного знания. Таким образом, в процессе общения с клиентом адвокат сталкивается с необходимостью, во-первых, закодировать информацию, подлежащую передаче клиенту в понятных для него знаках, которые он способен расшифровать; во-вторых, он должен обеспечить передачу «кода» по каналу коммуникации; в-третьих, он должен помочь клиенту осуществить раскодирование информации и обеспечить понимание и верную интерпретацию сказанного. Коммуникативная неудача наступает, если участник экспертного сообщества использует «закодированный» язык, не желая давать оппоненту, не обладающему экспертным знанием, ключ к расшифровке.

Приведем пример диалога адвоката и истца.

Адвокат: Мировое соглашение возможно?

Истец: В каком смысле?

Адвокат: Вы согласны пойти на уступки?

Истец: Раз другого выхода нет, я согласен (Телешоу «Час суда»).

В данном примере адвокат поясняет устоявшийся в гражданско-процессуальном производстве термин «мировое соглашение», значение кото-

рого может быть незнакомо клиенту, уточняя его главный признак – *взаимные уступки*. Вторая ответная реплика истца доказывает, что клиент верно раскодировал вопрос адвоката, т.е. коммуникация оказалась эффективной в результате перехода от термина к понятию.

Поскольку профессиональное предназначение адвоката, судьи, прокурора и других юристов требует Дискурса Согласования, необходимо постоянное взаимодействие коммуникантов с целью выработки общего контекста интерпретации. Это позволяет сформировать у адресата адекватную интерпретацию описываемого объекта или явления, независимо от знаний в области права. Рассмотрим еще один пример.

*Судья: Поскольку вы получили эти деньги под обязательства неисполненные, эта сделка считается **ничтожной, недействительной**. Поэтому вы должны вернуть 250 тысяч Илье Олеговичу (Телешоу «Час суда»).*

Судья как участник экспертного сообщества осознает отсутствие знаний гражданского законодательства у истца и ответчика, поэтому наряду с дескрипцией *ничтожная* для характеристики сделки, не отвечающей обязательным требованиям закона, употребляет поясняющий знак *недействительная*, который может быть верно интерпретирован и за пределами экспертного сообщества. Построение Дискурса Согласования в процессе коммуникации с истцом и ответчиком позволяет судье достичь коммуникативного эффекта.

Таким образом, согласование может быть достигнуто, если оба коммуниканта одинаково адекватно интерпретируют используемые в процессе коммуникации понятия. Для этого эксперт вынужден отказываться от специальной терминологии и инициировать Дискурс Согласования, основной единицей которого является понятие. Рассмотрим еще один пример, интересный с точки зрения возможности перехода от одной формы социального взаимодействия к другой.

*Свидетель: Мы бы его сразу вывели на чистую воду, этого **брачного афериста**.*

*Адвокат: Почему вы Аморова называете **брачным аферистом**, откуда такой термин возник? Нет такого официального термина.*

*Судья: **Какие официальные термины? Мы допрашиваем свидетеля, который изъясняется понятным русским языком** (Телешоу «Час суда»).*

Свидетель, не обладая экспертными знаниями в области уголовного права, характеризует подсудимого с помощью знака «брачный аферист». Адвокат пытается вовлечь оппонента в свой экспертный дискурс и предлагает отказаться от использования концептуальных знаков, однако судья напоминает о необходимости конструирования Дискурса Согласования, поскольку одним из коммуникантов является лицо, не являющееся участником юридического экспертного сообщества.

Итак, Дискурс Согласования есть сфера оперирования понятиями, базирующимися на естественно-рассудочном знании, поскольку все коммуникан-

ты едины во мнении. Их интенциональный горизонт и интерпретация семиотических сущностей сходятся в одной точке [8. С. 41].

И наконец, последняя форма социального взаимодействия коммуникантов в рамках юридических дискурсивных практик – Дискурс Экспертного Сообщества, субъектами которого выступают исключительно лица, обладающие профессиональными знаниями и владеющие специальной терминологией.

Поскольку объектом нашего исследования является юридический дискурс, отметим характерную особенность юридического экспертного сообщества. Здесь следует сказать, что экспертное сообщество юристов клеймят, наверное, больше чем какое-либо другое. К примеру, в английском языке можно насчитать около десятка негативных обозначений представителей данной профессии: *shyster*, *pettifogger*, *ambulance chaser*, *mouthpiece*, *shark*, *hired gun*; в испанском языке юристов пренебрежительно называют *buscapleitos*, *leguleyo*, *picapleitos*, *tinterillo*, *abogado firmyn*; во французском – *avocassier*, *chicaneur*, *avocat marron* и т.п. Об отсутствии четкости в формулировках говорил и Томас Мор в своем произведении «Утопия», описывая идеальный мир без юристов [11]. Д. Меллинкофф полагает, что причина враждебности по отношению к членам юридического сообщества заключается в их умышленном запутывании вопросов, использовании «мертвого» языка, «кишащего неопределенностью» [12. Р. 122].

Языковые традиции юридического сообщества – это своего рода знак, символизирующий участие в нем, принадлежность к юридической профессии. Профессиональный язык выполняет важную роль в символическом пространстве институционального дискурса. Юридический язык в этом плане является наиболее репрезентативным. Как пишет уже упомянутый Д. Меллинкофф, «самый лучший способ сохранить монополию на профессию – запереть свои профессиональные секреты в сейфе неизвестного языка» [Ibidem].

Через закрепление в определенной институциональной роли эксперт становится носителем «надындивидуальной функции, которую он выполняет в сообществе, порождает дискурс, опираясь на «набор конструктивных стратегий, находящихся под социальным и идеологическим контролем» [13. С. 150]. Рассмотрим фрагмент дискурса допроса свидетеля.

*Свидетель: Мне он показался **нормальным** человеком.*

*Прокурор: То есть **вменяемым**?*

*Адвокат: Через нотариуса оформляли сделку? Нотариус проверял **дееспособность** гражданина? (Телешоу «Суд присяжных»).*

Свидетель, не имея знаний специальной юридической терминологии и опираясь на собственный феноменологический опыт и знания, характеризует психическое состояние подсудимого с помощью дескрипции «нормальный» – концепта с размытой семантикой. Прокурор и адвокат привыкли оперировать знаками, исключающими множественность интерпретаций, поэтому в уточняющих вопросах они обращаются к принятым в юридическом экспертном сообществе терминам «вменяемость» и «дееспособность» с четко очерчен-

ными семантическими границами, имеющим закрепленные дефиниции. Различия в интерпретации данных знаков сведены к нулю в силу присущей им плотности содержания и ограниченности объема. Используемые коммуникантами термины отражают профессиональные интересы и предпочтения. Единая интерпретанта, которой обладают знаки *вменяемость* и *дееспособность*, позволяет участникам коммуникации уйти в Дискурс Различий. Взаимодействуя в узких рамках Дискурса Экспертного Сообщества, используя исключительно профессиональную терминологию, коммуниканты экономят время, обозначая понятия принятыми в профессиональной среде терминами, что позволяет общаться более эффективно.

Таким образом, участники Дискурса Экспертного Сообщества в отличие от носителей обыденного сознания стремятся к максимальной однозначности понятия. И если последним присущи субъективная интерпретация, мягкая семантизация и приблизительное отождествление, постмодернистское представление о множественности интерпретации как основном способе бытия истины, то участнику Дискурса Экспертного Сообщества близка «аристотелевская формальная логика» [14. С. 27]. Ситуация непонимания здесь возникает редко, а если это происходит, то она быстро разрешается, поскольку термин определен единым для коммуникантов набором свойств.

Итак, мы рассмотрели три формы социального взаимодействия в рамках юридических дискурсивных практик (Дискурс Различий, Дискурс Согласования и Дискурс Экспертного Сообщества), характер которых определяется уровнем владения экспертным знанием и коммуникативными интенциями субъектов речи. Дискурс Различий субъекты формируют в силу отсутствия экспертного знания или необходимости оказания манипулятивного воздействия, поскольку знаки, вокруг которых он выстраивается, позволяют дать аксиологическую оценку, предполагают множественность интерпретаций. Дискурс Согласования помогает прийти к консенсусу и согласовать различные взгляды. В правовой коммуникации его формируют эксперты в общении с носителями обыденного сознания, не обладающими экспертным знанием, чтобы выйти на продуктивный диалог. В Дискурс Экспертного Сообщества вступают носители экспертного знания, которые, овладев силой термина, продуцируют высказывания, подчиняясь определенным конвенциям и правилам.

Литература

1. Козырев Г.И. Социальное действие, взаимодействие, поведение и социальный контроль // Социологические исследования. 2005. № 8. С. 124–129.
2. Филлипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ: Теория и метод. Харьков: Гуманитарный Центр, 2004. 336 с.
3. Иманжусупова С.У. Дискурс как основа социального взаимодействия // Молодой ученый. 2012. № 6. С. 252–255.
4. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М.: ГноЗИС, 2004. 325 с.
5. Крапивкина О.А. Субъект в условиях юридического дискурса: лингвопрагматический анализ. Иркутск: ИРНТУ, 2015. 153 с.
6. Каплуненко А.М. Концепт – Понятие – Термин: эволюция семиотических сущностей в контексте дискурсивной практики // Азиатско-Тихоокеанский регион: диалог языков и культур. Иркутск, 2007. С. 115–120.

7. Каплуненко А.М. Federal / Federalism: от концепта к понятию и термину // Вестн. Иркут. гос. лингв. ун-та. 2012. № 2(18). С. 16–21.
8. Тюрнева Т.В. Опыт анализа лингвосомиотического контекста EDUCATION: концепт, понятие, термин: на материале английского языка: дис. ... канд. филол. наук. Иркутск, 2012. 202 с.
9. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 января 1999 г. URL: Consultant.ru
10. Демьянков В.З. Когниция и понимание текста // Вопр. когнитивной лингвистики. Москва; Тамбов, 2005. № 3. С. 5–10.
11. Мор Т. Утопия / пер. с лат. Ю.М. Каган. М.: Наука, 1978. 412 с.
12. Mellinkoff D. The Language of the Law. Boston: Resource Publications, 2004. 526 p.
13. Dijk van T. Discourse and Context: A sociocognitive approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 288 p.
14. Голев Н.Д. Правовая коммуникация в зеркале естественного языка // Юрислингвистика-7: Язык как феномен правовой коммуникации. Барнаул, 2006. С. 8–36.

Источники примеров

1. Час суда. URL: <http://www.chassuda.ru/>
2. Суд присяжных. URL: <http://sudprisyazhnyh.ucoz.ru/>

ANALYSIS OF DISCOURSES AS FORMS OF SOCIAL INTERACTION (A CASE-STUDY OF COURT SHOWS)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 46. 21–30. DOI: 10.17223/19986645/46/2

Olga A. Krapivkina, Irkutsk National Research Technical University (Irkutsk, Russian Federation). E-mail: koal1504@mail.ru

Keywords: discourse, legal discourse, social interaction, expert community, term, notion.

The paper describes discourse as a tool of social interaction. The purpose of the research is to study the forms of social interaction in legal discourse practices. The paper is a case study of court shows aired on Russian and American TV channels. Three forms of social interactions in legal settings are analysed: Discourse of Differences, Discourse of Concord, and Discourse of Expert Community. The choice of the form of social interaction depends on communicative intentions, purposes and characteristics of discourse opponents (degree of expert knowledge). The paper is based on the theory of semiotic entities evolution suggested by A.M. Kaplunenko. The author assumes that every action is an interaction as it is made for certain intentions and purposes. The subjects of social interaction are guided by mutual expectations based on the social roles of each other and existing institutional standards of behaviour. The paper says that social interaction is not possible beyond discourse practices. Any type of interaction suggests communication through discourse. Discourse as a socially arranged, regulated set of communicative acts manifesting itself in texts is a tool of social interaction. By generating discourses in different social situations, communicators construe specific social roles and identities. The examples analysed show that communicators produce their institutional discourses around different semiotic entities depending on communicative purposes and degree of their own expertise and their opponents' expertise. Only taking into account the characteristics of the discourse opponent, one can achieve a specific perlocutionary effect. For example, while communicating with each other experts usually use special terminology, in communication with non-experts they abandon their professional language requiring a code to decipher it, which their opponents lack, and use notions which are based on natural rational knowledge. The paper concludes that the speaking subject performing one and the same social role can choose different forms of social interaction to achieve a specific communicative effect. Being in a specific communicative situation, the subject evaluates it and chooses a relevant communicative action following the rules and norms developed by the discourse community. The paper is of practical value as it can help lawyers produce their discourse with clients based on those semiotic entities which enable the perlocutionary effect.

References

1. Kozyrev, G.I. (2005) Sotsial'noe deystvie, vzaimodeystvie, povedenie i sotsial'nyy kontrol'

[Social action, interaction, behavior and social control]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 8. pp. 124–129.

2. Fillips, L. & Yorgensen, M.V. (2004) *Diskurs-analiz. Teoriya i metod* [Discourse analysis. Theory and method]. Translated from English. Kharkov: Izd-vo Gumanitarnyy Tsentr.

3. Imanzhupova, S.U. (2012) Diskurs kak osnova sotsial'nogo vzaimodeystviya [Discourse as the basis of social interaction]. *Molodoy uchenyy*. 6. pp. 252–255.

4. Sheygal, E.I. (2004) *Semiotika politicheskogo diskursa* [The semiotics of political discourse]. Moscow: GnoZIS.

5. Krapivkina, O.A. (2015) *Sub'ekt v usloviyakh yuridicheskogo diskursa: lingvopragmaticheskiy analiz* [Subject in terms of legal discourse: linguopragmatic analysis]. Irkutsk: IRNITU.

6. Kaplunenko, A.M. (2007) [Concept–Notion–Term: evolution of semiotic entities in the context of discursive practice]. *Aziatsko-Tikhookeanskiy region: dialog yazykov i kul'tur* [Asia-Pacific Region: dialogue of languages and cultures]. Proceedings of the international conference. Irkutsk: Irkutsk State Linguistic University. pp. 115–120. (In Russian)

7. Kaplunenko, A.M. (2012) From the concept to the term: semiotic evolution of the nomination 'Federal / Federalism'. *Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta – Bulletin of Irkutsk State Linguistic University*. 2(18). pp. 16–21. (In Russian)

8. Tyurneva, T.V. (2012) *Opyt analiza lingvosemioticheskogo konteksta EDUCATION: kontsept, ponyatie, termin: na materiale angliyskogo yazyka* [Experience of analysis of the linguistic and semiotic context EDUCATION: concept, notion, term: on the material of the English language]. Philology Cand. Diss. Irkutsk.

9. Supreme Court of the Russian Federation. (1999) *Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of January 29, 1999*. [Online] Available from: <http://www.consultant.ru>. (In Russian)

10. Dem'yankov, V.Z. (2005) Kognitsiya i ponimanie teksta [Cognition and understanding of the text]. *Voprosy kognitivnoy lingvistiki*. 3. pp. 5–10.

11. More, T. (1978) *Utopiya* [Utopia]. Translated from Latin by Yu.M. Kagan. Moscow: Nauka.

12. Mellinkoff, D. (2004) *The Language of the Law*. Boston: Resource Publications.

13. Dijk, T.A. van. (2008) *Discourse and Context. A sociocognitive approach*. Cambridge: Cambridge University Press.

14. Golev, N.D. (2006) Pravovaya kommunikatsiya v zerkale estestvennogo yazyka [Legal communication in the mirror of natural language]. In: Golev, N.D. (ed.) *Yurislingvistika-7: Yazyk kak fenomen pravovoy kommunikatsii* [Yurislingvistika-7: Language as a phenomenon of legal communication]. Barnaul: Altai State University.

Sources of Examples

1. *Chas suda* [The hour of trial]. [Online] Available from: <http://www.chassuda.ru/>.

2. *Sud prisyazhnykh* [The jury trial]. [Online] Available from: <http://sudprisyazhnyh.ucoz.ru/>.

УДК:811.161.1'38

DOI: 10.17223/19986645/46/3

О.Г. Мельник

РОЛЬ ДЕЙКСИСА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В статье рассматривается роль дейксиса в интерпретации художественного произведения на материале романа Н. Геймана «Никогде». Предпринимается попытка показать разницу между двумя аспектами значения и референции в сфере личного дейксиса. Приводится прагматическая интерпретация некоторых неоднозначных выражений. Анализируются случаи употребления дейксиса дискурса и его связи с анафорой и катафорой. Примеры эмоционального дейксиса демонстрируют то, как степень эмоциональной вовлеченности может менять прагматическое значение высказывания. Также рассматривается связь между выбором языковых единиц и социальным статусом участников общения, что затрагивает область социального дейксиса. Особое внимание уделяется взаимосвязи между выбором языковых средств и целью говорящего, ситуационной уместности и контексту, который позволяет адресату верно определять референты дейктических выражений.

Ключевые слова: дейксис, референция, прагматическое значение, анафора, катафора.

В современной лингвистике наблюдается рост интереса к проблемам языкового моделирования текстового мира художественного произведения на основе дейксиса (Н.А. Серебрянская [1], С.А. Пушмина [2], О.Г. Мельник [3]). Дейксис считается одним из ключевых понятий прагматики. Зависимость прагматического значения высказывания от контекста также важна для понимания ситуации общения. Определение дейксиса, данное Дж. Лайонзом, подчеркивает эту зависимость: «Под дейксисом понимается локация и идентификация лиц, предметов, событий, процессов и действий, о которых говорят или к которым отсылают относительно пространственно-временного контекста, создаваемого и поддерживаемого актом высказывания и участием в нем, как правило, одного говорящего и, по крайней мере, одного адресата [4. С. 539].

Целью данной статьи является исследование роли дейксиса в интерпретации художественного произведения на материале романа Н. Геймана «Никогде». Н.А. Серебрянская отмечает, что «дейксис проецируется на художественный текст через универсальные смыслы *человек, пространство, время*; через точку зрения наблюдателя, имеющего определенную позицию в пространстве и во времени; через оппозицию *близко – далеко* по отношению к тексту со стороны наблюдателя; через сфокусированное значение антропоцентризма в тексте, через участие в создании хронотопа и пр.» [1. С. 24].

Традиционно выделяют три типа дейксиса: лица, места и времени. Наряду с этими типами Ч. Филмор [5. С. 103–107] выделяет также дейксис дискурса и социальный дейксис. Р. Лакофф [8. С. 346] привлекает внимание к

эмоциональному дейксису. Б. Крик [7. С. 23] называет эти три дополнительных типа «маргинальными категориями».

Ч. Филмор также выделяет «жестовое», «символическое» и «анафорическое» употребление дейктических элементов, причем под «символическим» подразумевает указание на ненаблюдаемые элементы речевой ситуации [5]. В этой связи рассмотрим примеры высказываний, где Н. Гейман обращает внимание на физический аспект коммуникационной ситуации, сопровождающей речевой акт и усиливающий его прагматическое значение:

1. «*The Angelus is through **there***», announced Door, interrupting his reverie, *pointing to the direction from which the music was coming* [8. С. 70].

2. *The girl called Door passed the paper to Richard. «**Here**», she said. «Read **this**»* [8. С. 16].

3. «*It's me little flag,*» he said, *pointing to the handkerchief* [8. С. 128].

Каждый из этих примеров содержит оба элемента чистого дейксиса: сама дейктическая единица и сопроводительный жест. Наречие *there* в примере (1), произнесенное Дверью, подкрепляется жестовым указанием в сопровождении существительного *direction*. В примере (2) высказывание сопровождается физическим движением. Такая комбинация дейктика с описанием движения привлекает внимание читателя сильнее, нежели одни дейктики. Сопроводительные жесты подчеркиваются дополнительным лингвистическим описанием, таким как указание на предмет, как в примере (3). Эти примеры чистого дейксиса являются своего рода письменным свидетельством, помогающим читателю проследить направление указания.

В отличие от жестового дейксиса для определения символического дейксиса не требуется экстралингвистических указателей. Для устранения неоднозначности необходимы лишь общие знания о временных и местных параметрах определенной речевой ситуации и об участниках общения. Так, знания об адресате вполне достаточно, чтобы интерпретировать дейктическую референцию местоимений *you* и *your*:

4. *You really could get lost in **your** own backyard, Richard* [8. С. 5].

Из контекста читатель знает, что Джессика обращается к Ричарду, следовательно, для определения референции не требуется непосредственное указание. В примере (5) также не требуется наглядное объяснение для интерпретации дейктической референции *here*:

5. *You put that girl down and come back **here** this minute. Or this engagement is at an end as of now* [8. С. 10].

Поскольку интерпретация *here* соотносится с местоположением Джессики, достаточно понимать из контекста, где она находится в момент высказывания. Читатель знает, что действие происходит на улице у входа в ресторан, таким образом, местоименное наречие кореферентно с этим местом.

Существуют дейктические выражения, такие как *here and there, this and that, now and then*, которые могут использоваться не-дейктически, так как полностью перешли в разряд идиом. Их значение никак не зависит от личности говорящего, времени или места общения:

6. *Lights flickered dimly, **here and there** in the walls, beside the paths, and, far, far below them, tiny fires were burning* [8. С. 108].

В данном случае идиома обозначает отсутствие упорядоченности, «в разных местах».

Личный дейксис характеризуется свойством постоянного изменения во времени. С одной стороны, референт дейктика «я» изменяется вместе со сменой ролей «говорящий – адресат» в процессе общения:

7. «**You** look like a drowned rat,» said someone. – «**You've** never seen a drowned rat,» said Richard [8. С. 2].

С другой стороны, изменчивость можно рассматривать с философской точки зрения в том смысле, что «я, здесь и сейчас» отличается от «я, там и тогда». Ричард попадает в Нижний Лондон, пройдя невидимую границу между двумя мирами. Его личность расщепляется, он чувствует, как будто бы существует другой Ричард в каждом мире:

8. *The old Richard, the one who had lived in what was now the Buchanans' home, would have crumbled at this point, apologized for being a nuisance, and gone away. Instead, Richard said, «Really? Nothing you can do about it? ... Now, I happen to think, and I'm sure my lawyer will also think, that there is a great deal you can do about it»* [8. С. 133].

В этой связи уместно упомянуть теорию возможных миров и жесткие/нежесткие десигнаторы С. Крипке. Возможными мирами С. Крипке называет миры предполагаемые, а не открытые (stipulated, not discovered) [9. С. 267], т.е. некий наблюдатель решает, где они начинаются и определяет границу между возможными мирами и настоящим миром. Таким образом, мы можем предположить, что Нижний Лондон – это возможный мир, где все правила разительно отличаются от знакомых правил реального мира:

9. *He wondered how **normal London-his London**-would look to an alien, and that made him bold* [8. С. 42].

В рамках теории о возможных мирах С. Крипке [9. С. 269–271] касается проблемы идентичности в возможных мирах (identity across possible worlds) или «трансмировой идентичности» (transworld identification). Перемещение Ричарда в Нижний Лондон символически можно интерпретировать как переход в возможный мир, который отличается от Верхнего Лондона. В соответствии с мнением С. Крипке можно предположить, что имя Ричард означает один и тот же объект в любом из возможных миров и является жестким десигнатором, определяющим жесткую референцию [9. С. 277], т.е. он относится к одной и той же индивидуальности в любом из возможных миров. По замечанию Д. Льюиса [10. С. 52], реальный мир – это тоже возможный мир, в котором мы находимся, следовательно, два существующих Ричарда в двух мирах представляют один и тот же референт, хотя Ричард и не всегда в этом уверен:

10. *«It's like I've become some kind of non-person»* [8. С. 42].

Приведенный пример демонстрирует, что личный дейксис, относящийся к одному и тому же человеку, не обязательно отражает чувство собственной неизменности. Таким образом, дейктик «я» действительно является транзитной переменной, прагматическое значение которой зависит от контекста.

Важной особенностью личного дейксиса является его контекстуальная зависимость от центра координат (Origo). Референция дейктического выра-

жения может быть установлена только если определен центр ориентации. Рассмотрим примеры:

11. *«I'll meet you at your place», said Jessica* [8. С. 6].

12. *«I don't know what you think you're doing», said Richard. «But if you two don't get out of my apartment this minute, I'm phoning the police»* [8. С. 13].

В отрыве от контекста референция *I* в примере (11) могла бы варьироваться в зависимости от того, кто произносит фразу. Однако в этом случае контекст определяет говорящего. Поскольку говорящий – это Джессика, центр ориентации там, где она находится, и референт *I* относится к ней. Анализируя *what you think you're doing* в широком контексте (12), понимаем, что центр дейктического поля – это Ричард. Произнесенное им местоимение *you* обозначает связь с эгоцентричной точкой ориентации. Контекст уточняет, что *you* относится к двум бандитам.

Анализируя личный дейксис, читатель часто сталкивается с неоднозначностью референции, которую можно прояснить за счет контекста. Это часто объясняется неочевидным распределением ролей, как в следующем примере:

13. *The marquis... stood in front of Varney, who looked obscenely pleased with himself...*

«Well», said the marquis de Carabas. «We're all very impressed with your skill».

*«I had heard», said a female voice, «that **you** had put out a call for bodyguards. Not for enthusiastic amateurs».*

«Varney», said Varney, affronted, «is the best guard and bravo in the Under-side. Everyone knows that».

The woman looked at the marquis. «You've finished the trials?» she asked.

«Yes», said Varney.

«Not necessarily», said the marquis.

«Then», she told him. «I would like to audition» [8. С. 46].

Чтобы верно интерпретировать дейктик, важно учитывать, как роли участников беседы грамматикализуются в данной ситуации. Из примера ясно, что говорящий – это Охотница, но не вполне понятно, кто получатель (мишень) высказывания, а кто просто наблюдатель (слушатель). Если мы рассмотрим только непосредственный контекст, может показаться, что *you* является референцией к получателю Варни, поскольку он первым отвечает на заданный вопрос. Однако если мы рассмотрим более широкий контекст, станет ясно, что различие между получателем сообщения и наблюдателем грамматикализована при помощи дейктиков не самым очевидным способом. Дальнейшее чтение подскажет правильную референцию, вопрос Охотницы адресован маркизу де Карабасу.

Другой важной особенностью личных дейктиков, рассматриваемой в рамках проблемы неоднозначности, является различие между инклюзивным/эксклюзивным употреблением местоимения *we* (*we-inclusive-of addressee* and *we-exclusive-of addressee* [11. С. 69]. Из названия понятно, что первое из них включает адресата в референцию, тогда как второе не включает. Английская грамматика не позволяет прямо указывать на включение или исключение адресата из референции, однако его можно легко вывести из контекста:

14. *She threw her arms around his chest and hugged him, tightly. «And we will try to get you back home again», she said. «Promise. Once we've found what I'm looking for»* [8. С. 50].

В данном примере, если не анализировать контекст, использование местоимения *we* можно рассматривать и как включающее, и как исключаящее адресата. Однако, учитывая контекст, мы делаем вывод, что это инклюзивное использование. Дверь окончательно принимает решение взять Ричарда с собой и пытается ободрить его, вовлекая в совместные действия.

Дейксис места указывает на местоположение относительно центра высказывания, т.е. лингвистическими средствами указывает на положение говорящего в трехмерном пространстве, а также на его/ее отношение к местоположению других участников беседы:

15. *Anaesthesia hesitated and then turned left* [8. С. 35].

16. *«You're not wanted here, de Carabas. Get away. Clear off»* [8. С. 19].

Эти примеры показывают, как дейктический центр привязан к говорящему, делая его центром коммуникации. В примере (15) *left* указывает на направление поворота относительно Анестезии; в примере (16) *here* относится к жилищу бродяги, на чью территорию пожаловали незваные гости.

Знание о местоположении говорящего очень важно для читателя, так как оно помогает ориентироваться при помощи указательных местоимений *this/these* и *that/those*, указывающих на проксимальное и дистальное положение:

17. *«Allow me to make introductions. I am Mister Croup, and this gentleman is my brother, Mister Vandemar»* [8. С. 12].

18. *«One portion of vegetable curry, please», said Richard, to the woman at the curry stall. «And, um, I was wondering. The meat curry. What kind of meat is it, then?» The woman told him. «Oh», said Richard. «Right. Um. Better just make that vegetable curries all round»* [8. С. 103].

В примере (17) Мистер Кроп указывает на дейктическую близость, тогда как в примере (10) Ричард отдает предпочтение местоимению *that*, так как он находится по другую сторону от стойки, за которой стоит его собеседница.

Аналогичным образом интерпретация дейктиков *here* и *there* также зависит от положения говорящего:

19. *The earl beckoned to Door. «Come here», he said. «Come-come-come. Let me look at you»* [8. С. 57].

20. *«There's someone else out there. Mister Croup?» There was a dark shimmer where Mr. Croup had been, and he was there no longer* [8. С. 118].

В примере (19) *here* означает пространство вокруг говорящего в момент произнесения высказывания. В примере (20) *there*, наоборот, означает удаленность от говорящего, местоположение адресата.

Вышеприведенные примеры демонстрируют различные способы грамматикализации дейксиса места, основной принцип которого основывается на оппозиции близости/дальности дейктических выражений.

Временной дейксис выражается при помощи дейктиков, чья референция может быть установлена только по отношению ко времени высказывания. Дейктическая функция у наречия *now* является ведущей. Оно обозначает время, непосредственно предшествующее или непосредственно следующее

за точкой отсчета – моментом речевого акта – или абсолютным временем протекания действий, событий, явлений, процессов объективной действительности:

21. «*Right now we're looking for an angel named Islington*» [8. С. 50].

В определенном контексте значение *now* может быть приближено к *then*, которое подчеркнуто употреблением прошедшего времени:

22. «*So where were you?*» he asked. «*Just **now**?*» – «*I was here*», she said [8. С. 15].

Данный пример демонстрирует близкую связь между языком, непосредственным контекстом и контекстом дискурса в целом, представленным в феномене временного дейксиса.

Другим интересным примером зависимости временного дейксиса от контекста и точки отсчета является функционирование наречий *today* и *tomorrow*:

23. «*I saved his life three times **today**, crossing the bridge, coming to the market*» [8. С. 47].

Будучи индексальными символами, дейктики имеют основной компонент значения, называемый семантическим значением, и переменный компонент, называемый прагматическим значением, которое определяет референт дейктика в конкретном контексте. Дейктическое слово *today* указывает на темпоральную референцию, близкую к моменту высказывания. Согласно словарю [12] основной семантический компонент значения наречия *today* определяется как «*the day on which you are speaking or writing*». Определение прагматического компонента значения этого дейктика представляется проблематичным. Поскольку читателю неизвестно время кодирования, он/она не могут определить точку реального времени, которая будет означать точную темпоральную локацию «сегодня». Читатель может только предположить, что наречие *today* в данном контексте относится к некоему неопределенному моменту в той части дня, которая еще не истекла. В следующем примере дейктик *today* имеет более широкое значение, которое дается в словаре под цифрой 2, – «*the present period of history*»:

24. «*Me mam told me not to go marrying outside, but I was young and beautiful, although you'd never credit it **today**, and I followed my heart*» [8. С. 1].

Сходные проблемы возникают с интерпретацией темпорального дейктического выражения *tomorrow*, как в следующем примере:

25. «*Of course. We'll have all of this rubbish cleaned out of here **tomorrow**, no problem*» [8. С. 24].

Дейктик *tomorrow* означает удаленность от временной референции говорящего. Семантически он указывает на день в будущем, который означает суточный промежуток, следующий за промежуток, означающим время кодирования. Это значение остается постоянным в любых случаях использования этого наречия. Однако точное время кодирования (25) неизвестно читателю. Это может происходить и в течение двадцати четырех часов, и на протяжении одной минуты перед указанным моментом. Следовательно, определить прагматическое значение дейктика *tomorrow* в контексте примера (25) довольно трудно.

Дейксис дискурса – это языковая единица, которая имеет референт в дискурсе. Он часто похож на анафору, чей референт совпадает с ранее упомянутым объектом. К. Элих отмечает, что анафора является непрямой референцией [13. С. 316], с лингвистической точки зрения это перекрестная референция, поскольку она относится к ранее упомянутым словам, а те, в свою очередь, относятся к объектам или индивидам в реальном мире. Причина частого смешения анафорического и дейктического употребления местоимений объясняется тем фактом, что в соответствии с традиционным определением местоимение всегда относится к своему антецеденту [6. Р. 668], что понимается как выражение, предшествующее употреблению местоимения в дискурсе:

26. *He spotted the towel on the chair in the hall, and he leaned out and grabbed it* [8. С. 24].

В примере (18) местоимение *it* используется анафорически, поскольку оно кореферентно своему антецеденту *towel*. В следующем примере антецедент не так очевиден:

27. *«She's not here anymore. And I don't know where she is», – «We know **that**, Mister Mayhew»* [8. С. 25].

Это пример не прямой анафоры, потому что антецедент не поддается прямому определению, а подразумевается. Теория не прямой анафоры является дискуссионным вопросом, потому что принятое в лингвистике определение анафоры охватывает случаи как прямой, так и не прямой референции. Для распознавания анафоры важно анализировать ее употребление в контексте. Без опоры на контекст большинство дейктических выражений двусмысленны, как в следующем примере:

28. *Then it turned to Richard. «And you? What do you want, Richard Mayhew?»*

*Richard shrugged. «I want my life back. And my apartment. And my job», «**That** can happen», said the angel* [8. С. 76].

В примере (28) *that* может анафорически относиться либо к некоторым перечисленным объектам, либо ко всем сразу. Однако более широкий контекст снимает эту неоднозначность: ангел заявляет о своем всемогуществе, следовательно, речь идет обо всех перечисленных объектах.

В отличие от анафоры дискурсивные дейктические выражения определяют их референцию не за счет выделения антецедента, а при помощи указания на часть дискурса. Дейксис дискурса отсылает к экстралингвистическим объектам, что означает, по образному выражению Б. Крик, он «пересекает границы предложения» [7. С. 68]. Для того чтобы сопоставить дейксис дискурса и анафору, рассмотрим следующий пример:

29. *The big man simply pushed past him and walked into the apartment, a wolf on the prowl. Richard ran after him. «What do you think you are doing? Will you stop **that**? Get ou»* [8. С. 13].

Указательное местоимение *that* в примере (29) привязано к ситуации общения. В отличие от примера (20) функция этого местоимения не анафорическая, поскольку она не кореферентна с каким-либо антецедентом, местоимение относится к предыдущей части дискурса.

Следующие примеры демонстрируют дискурсивную дейктическую природу референтного выражения *that*:

30. *As a child, Richard had had nightmares in which he simply wasn't there, in which, no matter how much noise he made, no matter what he did, nobody ever noticed him at all. He began to feel like **that** now* [8. С. 22].

31. *Hunter whipped out a hand as they passed, snagging a small boy by the ear. «Ow», he said, in the manner of small boys. «Let me go! She stole my paint-brush».*

*«**That's** right», said a piping voice from further down the corridor. «She did»* [8. С. 97].

Из контекста понятно, что все случаи употребления *that* в вышеприведенных примерах не имеют референтных единиц, упомянутых ранее. Референция дейксиса дискурса находится в предыдущей части дискурса, а ее референт – «во вселенной дискурса, которая создается текстом и имеет темпоральную структуру, навязанную ей текстом» [6. С. 670].

Часто граница между анафорой и дейксисом дискурса бывает размыта, как в следующем примере:

32. *Mr. Vandemar, who had been amusing himself by catching little frogs and seeing how many he could stuff into his mouth at a time, said, with his mouth full, «I liked doing **that**...»* [8. С. 54].

Местоимение *that* не относится к конкретной языковой единице в данном высказывании, поэтому мы не можем назвать данное употребление анафорическим. С другой стороны, мы не можем назвать это дейксисом дискурса, поскольку его референция находится в очень небольшом отрезке дискурса, а именно в заявлении Вандемара о том, что он любил есть лягушек.

Здесь мы сталкиваемся с типичным примером нечистого (impure) текстовым дейксисом. *That* не имеет референции к какой-либо языковой единице, упомянутой ранее. Оно кореферентно с «сущностью третьего порядка» [7. С. 89], т.е. с пропозицией, выраженной предыдущим предложением.

В отличие от анафорического в катафорическом использовании местоимение предшествует выражению, с которым оно кореферентно. Разница в направлении указания.

33. *«Young man», he said, «understand **this**: there are two Londons. There's London Above-that's where you lived-and then there's London Below-the Under-side-inhabited by the people who fell through the cracks in the world. Now you're one of them. Good night»* [8. С. 48].

Интересно отметить, что только местоимения, имеющие сему «близость», могут использоваться катафорически [7. С. 78], местоимения *that/those* употребляются только в анафорической функции.

Эмоциональный, или эмфатический, дейксис связан с высокой или низкой степенью вовлеченности говорящего в ситуацию общения [14. С. 677]. В романе эмоциональный дейксис грамматикализован через использование референциальных выражений *this* и *that*, *here* и *there* на основе нейтрализации противопоставления по близости/дальности. Сдвиг от дальности к близости осуществляется с целью показать сопереживание говорящего:

34. *«This wine», said Islington, «is the last bottle of its kind. I was given a dozen bottles by one of your ancestors». It handed the glass to Door, and began to*

*pour another inch of the glowing wine from the decanter into another glass. It did this reverently, almost lovingly, like a priest performing a ritual. «It was a welcome gift. **This** was, oh, thirty, forty thousand years ago. Quite a while ago, at any rate»* [8. С. 75].

В данном примере ангел говорит о событии, значительно удаленном по времени. В соответствии с принципами близости/дальности следовало употребить местоимение *that*, однако ангел выбирает вместо этого *this*, тем самым демонстрируя эмоциональную привязанность к тому событию. Если в данном примере мы подставим *that* вместо *this*, это не изменит семантическое значение, но изменит прагматический аспект высказывания.

Совершенно противоположный прагматический эффект достигается при употреблении дистального *that* вместо проксимального *this*:

35. *Mr. Vandemar pulled the rat from the blade and began to munch on it, thoughtfully, head first. Mr. Croup slapped it out of his hands. «Stop **that**», he said* [8. С. 3].

В данном примере предпочтение, отданное местоимению *that*, объясняется попыткой дистанцироваться от крайне неприятного зрелища.

В некоторых случаях оказывается затруднительно точно определить природу дейксиса, так как он может одновременно указывать и на некоторую дистанцию от говорящего, и на эмоциональную неприязнь:

36. *Richard hefted the knife. Then he lunged toward the brick wall, next to the doorway in which the woman had been sleeping. He slashed three times, once horizontally, twice vertically. «What you doin'?» asked the woman, warily.*

«Making a door», he told her.

*She sniffed. «You ought to put **that** thing away. If the police see you they'll run you in for offensive weapons»* [8. С. 138].

С одной стороны, можно рассматривать выражение *that thing* как пример дейксиса места, так как нож находится в руке у Ричарда, т.е. в отдалении от старушки. С другой стороны, оружие вызывает опасение и местоимение *that* можно рассматривать как проявление эмоционального дейксиса.

Таким образом, эмоциональный дейксис основан на сложном анализе эмоциональных факторов участников письменного дискурса. Природа такого дейксиса весьма субъективна, поскольку читатель, не будучи участником общения, в точности не знает степени эмоциональной вовлеченности участников и не может объективно оценить эмоциональное отношение к определенной ситуации общения.

В романе также присутствуют примеры **социального дейксиса**. Хотя в английском языке и нет различия в системе местоимений, существуют другие способы выражения субординации, которые передают прагматическую информацию о социальном неравенстве. Следующие примеры демонстрируют выражение почтения:

37. *A rat cut across their path. Anaesthesia stopped on the steps and performed a deep curtsy. The rat paused. «**Sire**», she said, to the rat* [8. С. 35].

38. *«Kneel», said Tooley, in a stage whisper, pointing to the train floor. Richard went down on one knee; the earl tapped him gently on each shoulder with the knife. «Arise», he bellowed, «**Sir** Richard of Maybury. With this knife I do give to you the freedom of the Underside»* [8. С. 129].

39. *The marquis raised an eyebrow: he was detached, removed, a creature of pure irony. «My dear young lady», he said. «We are not bringing a guest along on this expedition»* [8. С. 50].

Пример (37) – это обращение к королевской особе, (38) – обращение к рыцарю, (39) – к девушке знатного рода. Совсем другое отношение иллюстрируют следующие примеры:

40. *«Lucky bastard», said Gary, affectionately* [8. С. 132].

41. *«Here, poor thing», she said, and pushed a fifty-pence piece into Richard's hand* [8. С. 1].

Пример (40) показывает дружескую солидарность, тогда как (41) передает некую жалость и снисхождение говорящего по отношению к адресату. Приведенные примеры подтверждают, что данный прагматический фактор является весьма существенным для правильной интерпретации дискурса и его ролью не следует пренебрегать.

Обращает внимание также употребление одушевленной и неодушевленной референции по отношению к крысам в романе. В одном абзаце мы встречаем и местоимения *it*, и местоимение *he*.

42. *The rat stepped a little disdainfully, it seemed into the Lord Rat-speaker's grubby hand, and the man held it, respectfully, up in front of Richard's face. It waved its tail languidly as it inspected Richard's features* [8. С. 29].

43. *«This is Master Longtail, of the clan Gray», said the Lord Rat-speaker. «He says you look exceedingly familiar. He wants to know if he's met you afore»* [8. С. 29].

На первый взгляд это может показаться проявлением непоследовательности, однако в данном отрывке мы видим, что сначала крыса передана через восприятие Ричарда, который не верит в разумность этих животных, а затем перед читателем возникает иное социальное окружение и социальные роли. Анафорическое употребление местоимения *it* семантически ничем не отличается от анафорического употребления местоимения *he*. Разница заключается в прагматическом значении, а именно в почтительном отношении говорящего. Читатель узнает, что крыса обладает способностью общаться, присущей исключительно человеку, а также наделена именем и принадлежит к известному клану. Эта экстралингвистическая информация объясняет использование одушевленного референта, оправдывая преднамеренную грамматическую ошибку. По словам Ч. Филмора, «если социальные взаимоотношения между говорящим и адресатом или наблюдателем влияют на выбор имен собственных, титулов или степеней родства, значит имеет место социальный дейксис» [15. Р. 112].

В данной статье была предпринята попытка продемонстрировать сложность дейктических связей, пронизывающих художественное произведение. На примере романа Н. Геймана «Никогда» мы показали, как мастерское использование дейктических элементов помогает читателю понимать различные перспективы литературного текста, что, в свою очередь, ведет к более глубокой интерпретации. Помимо случаев первичного дейксиса (лица, времени и места), целиком зависящего от центра, мы также затронули дейксис дискурса, эмоциональный и социальный виды дейксиса. Особое внимание мы уделили таким дейктическим характеристикам, как эгоцентричность, нагляд-

ность, шифтерность и двухступенная дихотомия близость/дальность. Приведенные примеры демонстрируют, что контекст ограничивает количество возможных интерпретаций дейктических выражений и облегчает процесс понимания как для адресата, так и для читателя, являясь условием вывода правильной прагматической пресуппозиции.

Литература

1. Серебрянская Н.А. Статус дейктических проекций в художественном тексте // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2005. № 1. С. 24–27.
2. Мельник О.Г. Дейктические проекции в тексте (на примере повести Дж. Стейнбека «Жемчужина») // Вестн. ВГУ. Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2016. № 1. С. 6–19.
3. Пушмина С.А. Текстовый дейксис в художественном произведении: семейный роман // Вестн. Тюм. гос. ун-та. 2013. № 1. С. 61–68.
4. Лайонз Д. Введение в теоретическую лингвистику. М.: Прогресс, 1978. 544 с.
5. Fillmore Chs. Santa Cruz lectures on deixis. Indiana University, 1975.
6. Lakoff Robin T. Remarks on this and that. CLS10, 1974. P. 245–356.
7. Kryk Barbara. On deixis in English and Polish. The role of demonstrative Pronouns. Frankfurt am Main: Ver. Peter Lang, 1987. 113 p.
8. Gaiman N. Neverwhere. L.: Harper Collins Publishers, 2007. 138 p.
9. Kripke Saul A. Naming and necessity // Davidson Donald, Harman Gilbert. (eds.). Semantics of natural language. Dordrecht, Holland: D. Reidel Publishing Company. 1972. P. 253–355.
10. Lewis David. On the plurality of worlds. Oxford: Oxford University Press, 1986.
11. Levinson Steven. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
12. Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary on CD-ROM. Harper Collins Publishers. Lingea Lexicon dictionary software.
13. Ehlich K. Anaphora and deixis: same, similar, or different? // Jarvella Robert; Wolfgang Klein (eds.). Speech, Place, and Action. Studies in Deixis and Related Topics. Chichester; New York; Brisbane; Toronto; Singapore: John Wiley & Sons Ltd., 1982. P. 315–336.
14. Lyons J. Semantics. Cambridge: CUP, 1977. Vol. 1–2.
15. Fillmore Charles. J. Lectures on Deixis. Stanford: CSLI Publications, 1997.

THE ROLE OF DEIXIS IN THE INTERPRETATION OF A LITERARY TEXT

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 46. 31–42. DOI: 10.17223/19986645/46/3

Olga G. Melnik, Southern Federal University (Taganrog, Russian Federation). E-mail: olga.g.melnik@gmail.com

Keywords: deixis, reference, pragmatic meaning, anaphora, cataphora.

The present study examines the role of deixis in the interpretation of the literary text in the novel *Neverwhere* by N. Gaiman, and how the interpretation of these language units depends on the context.

Modern linguistics features a growing interest towards the problems of language modelling of the text world of fiction on the basis of deixis. Deixis is considered to be one of the key point of pragmatics.

Person deixis is characterized by the notion of transiency. On the one hand, the referent of the deictic “I” changes depending on the participants’ role assignment in the discourse. On the other hand, changeability can be considered from the philosophical point of view in terms that “I, here, now” differs from “I, there, then”.

Place deixis indicates the location with regard to the centre of the speech event, which means that it linguistically expresses the position of the speaker in a three-dimensional space, as well as his/her relation to the location of others involved in the conversation. The knowledge of the speaker’s placement is very important for the reader as it helps to orientate with the help of demonstrative pronouns pointing to a proximal / distal place.

Time deixis deals with deictic expressions where reference can only be assigned in relation to the time of the utterance in which they occur. It is rather problematic to determine the pragmatic compo-

nent of these deictics: the reader does not know the time of encoding, so s/he cannot determine the point in real time which denotes the exact temporal reference.

Discourse deixis is a piece of linguistic material that takes a referent within a discourse. It is juxtaposed with anaphora whose referent coincides with a previously mentioned entity. Unlike with anaphoric use, in cataphoric use, the pronoun precedes the expression with which it is co-referential.

Emotional deixis deals with the high or low degree of the speaker's involvement in the discourse situation s/he is referring to. Emotional deixis is grammaticalized through the use of the referring expressions *this* and *that*, *here* and *there* on the basis of the neutralisation of the proximal and distal spatial dimension. The shift from distant to proximal demonstratives occurs with the purpose of showing the speaker's empathy, whereas the reverse shift occurs in order to show emotional distance of the speaker.

There are also examples of social deixis in the novel. Though there is no discrimination in the system of personal pronouns in modern English, there are other ways to express subordination that reveal information about social inequality.

The numerous examples demonstrate that the context limits the amount of possible interpretations of deictic expressions and facilitates the process of understanding for both the addressee and the reader and thus is a condition for correct pragmatic presupposition deduction.

References

1. Serebryanskaya, N.A. (2005) Status deikticheskikh proektsiy v khudozhestvennom tekste [Status of deictic projections in an artistic text]. *Vestnik VGU, Seriya: "Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya"* – *Proceedings of Voronezh State University. Series: Linguistics and intercultural communication*. 1. pp. 24–27.
2. Mel'nik, O.G. (2016) Deikticheskie proektsii v tekste (na primere povesti Dzh. Steynbeka "Zhemchuzhina") [Deictic projections in the text (on the example of J. Steinbeck's novel *The Pearl*)]. *Vestnik VGU, Seriya: "Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya"* – *Proceedings of Voronezh State University. Series: Linguistics and intercultural communication*. 1. pp. 6–19.
3. Pushmina, S.A. (2013) Textual deixis in the work of fiction: a family novel. *Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Vestnik TSU. Philology* 1. pp. 61–68. (In Russian)
4. Lyons, D. (1978) *Vvedenie v teoreticheskuyu lingvistiku* [Introduction to theoretical linguistics]. Translated from English. Moscow: Progress.
5. Fillmore, Ch. (1975) *Santa Cruz lectures on deixis*. Indiana University.
6. Lakoff, R.T. (1974) Remarks on this and that. *CLS10*. pp. 245–356.
7. Kryk, B. (1987) *On deixis in English and Polish. The role of demonstrative Pronouns*. Frankfurt: Verlag Peter Lang.
8. Gaiman, N. (1997) *Neverwhere*. London: Harper Collins Publishers.
9. Kripke, S.A. (1972) Naming and necessity. In: Davidson, D. & Harman, G. (eds) *Semantics of natural language*. Dordrecht, Holland: D. Reidel Publishing Company.
10. Lewis, D. (1986) *On the plurality of worlds*. Oxford: Oxford University Press.
11. Levinson, S. (1983) *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
12. *Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary on CD-ROM*. Harper Collins Publishers. Lingea Lexicon dictionary software.
13. Ehlich, K. (1982) Anaphora and deixis: same, similar, or different? In: Jarvella, R. & Klein, W. (eds) *Speech, Place, and Action. Studies in Deixis and Related Topics*. Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons Ltd.
14. Lyons, J. (1977) *Semantics*. Vols 1–2. Cambridge: Cambridge University Press.
15. Fillmore, Ch.J. (1997) *Lectures on Deixis*. Stanford: CSLI Publications.

УДК 81-119

DOI: 10.17223/19986645/46/4

В.В. Ощепкова, О.В. Николаева

ЭКОСРЕДА КАК ИСТОЧНИК СИМВОЛОПОРОЖДЕНИЯ В ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

В статье рассматриваются когнитивные и лексико-типологические аспекты формирования национальной символики в лингвокультурах Австралии и Новой Зеландии. Закономерности, выявленные в результате анализа более двухсот символов, сложившихся на основе концептов экосреды, убеждают в сходстве когнитивных процедур символообразования мигрантских сообществ, свидетельствуют о существовании взаимозависимости между эволюцией этнической идентичности британских переселенцев и становлением общенациональной идентичности.

Ключевые слова: экосреда, символ, символообразование, национальная идентичность, этносимволизм, когнитивная деривация, австралийский вариант английского языка, новозеландский вариант английского языка.

В центре настоящего исследования находятся когнитивно-семиотические процессы символообразования в лингвокультурах Австралии и Новой Зеландии. Обе культуры – мигрантские, с относительно недлительной историей – предоставляют уникальную возможность выявить типологические закономерности символообразования и на материале символов проследить процессы становления национальной идентичности. Символообразование мы определяем как способ истолкования окружающей действительности и осознанное, опосредованное системой ценностей означивание результатов познания. Закрепление символического содержания за многочисленными концептами флоры и фауны позволяет установить особенности когнитивной деятельности мигрантских сообществ Австралии и Новой Зеландии в процессе освоения ими окружающего мира и осознания себя в этом мире. Для исследования отобрано более двухсот наименований символов из лексикографических, масс- и социомедийных источников Новой Зеландии и Австралии на основе актуализации в их значении признака принадлежности к флоре и фауне Новой Зеландии и Австралии и признака принадлежности к символам этих стран.

Исследование символов с точки зрения отражения в них этнической эволюции и становления национальной идентичности представляет интерес для ученых разных областей: социологов, политологов, культурологов, лингвистов [1–6]. Особое внимание научного сообщества к данной проблеме вызвано предложенной Э. Смитом концепцией этносимволизма, постулирующей, что этнические символы, связь с территорией и чувство консолидации отражают историю и протонациональное самосознание и составляют основу формирования нации [7]. Критика данной концепции включает вопрос о том, насколько этносимволизм применим относительно разных регионов мира, поскольку автор приводит примеры из истории стран Европы и Америки [8]. Наша ра-

бота представляет пример иного региона и, таким образом, может быть востребована как развитие эмпирической базы этносимволизма. Следует подчеркнуть также, что в отличие от существующих работ [1–5] мы выделяем языковой аспект изучения этнических символов. Кроме того, мы определяем границы языкового материала символами, основанными на базе концептов живой природы. Единение с территорией, о которой говорит Э. Смит, исторически выражалось в единении с окружающей природой посредством ее символизации и передавалось следующим поколениям, обеспечивая этнокультурную устойчивость коллективов.

Термины, отражающие тематику языкового материала настоящего исследования, требуют пояснения. Так, разнообразие биологических видов в их неразрывном единстве с конкретным ареалом распространения мы называем *экосредой*. В настоящем исследовании речь пойдет об экосреде Австралии и экосреде Новой Зеландии, т.е. об эндемичных биологических видах Австралии и Новой Зеландии, исторически представлявших естественную экологическую среду данных территорий. К ней не относятся завезенные виды (известно, например, что практически все виды млекопитающих были ввезены в Новую Зеландию европейцами). Используемое нами также понятие *биосфера* означает совокупность живых организмов безотносительно к ареалу.

Биоморфное кодирование: универсальный механизм, лингвокультурный результат

Несмотря на очевидность и разнообразие техноморфных способов концептуализации современной действительности (*financial leverage* / финансовые рычаги, *skyrocket prices* / взвинтить цены, *genetic engineering* / генная инженерия), языковая картина мира человечества остается традиционно биоморфной, т.е. основанной на когнитивной процедуре уподобления многих предметов и явлений биологическим объектам. Разные виды научной и практической деятельности по-прежнему осмысляются человеком посредством образов живой природы и именно так отражаются в языке: *transplantation* – пересадка (медицинский термин), *koala* – машина с дипломатическим номером, которой разрешается нарушать правила дорожного движения (австралийский вариант английского языка), *Beeline* – российская торговая марка телекоммуникационной компании.

Естественная экологическая среда человека служит неисчерпаемым ресурсом многочисленных и весьма разнообразных областей концептуализации. Одни из них формируются при непосредственной концептуализации человеческого опыта во взаимодействии с окружающей природой, например концептуальные области «флора» и «фауна». Другие являются производными от них и возникают в результате вторичных когнитивных операций, например фрагменты техносферы: *butterfly valve* / клапан «бабочка», *Fuchsschwanz* (нем.) / пила «лисий хвост», ножовка; психосферы: *chicken-hearted* / заячья душа; цветосферы: *lilac* / сиреневый; компьютерной и IT-сферы: *bug* / жучок, *mouse* / мышь, *virus* / вирус.

Формирование новых структур знания на основе уже существующих и поименованных рассматривается в рамках когнитивного подхода как процесс концептуальной деривации [9. С. 86]. Теория концептуальной деривации сегодня динамично развивается и применяется в целях углубленного анализа

словообразовательных процедур, номинативных процессов, механизмов семантической деривации и полисемии, лексикализации грамматических форм [10–14]. Методология концептуальной деривации сложилась на основе таких категорий когнитивной парадигмы, как фигура – фон, база – профиль, скрипт, фреймовая репрезентация знания и др. Нам представляется целесообразным подход, согласно которому исходный концепт или концептуальная область может рассматриваться как «база», имплицитно включающая некоторое множество «профилей», потенциально способных стать самостоятельными концептами или самостоятельными концептуальными областями.

В настоящем исследовании «базой» является система концептов естественной экосреды. Семантико-тематическое членение словарных составов языков свидетельствует, что механизм концептуальной деривации на «базе» образов экосреды универсален. В то же время выделяемые разными лингвокультурными коллективами «профили», или конкретные результаты концептуальной деривации, отраженные в лексических системах разных языков, могут быть как универсальными, так и культурно-специфичными.

Продуктом концептуальной деривации с отчетливой лингвокультурной спецификой можно считать образованные от концептов экосреды национальные символы: *kiwi*, *silver fernleaf* – символы Новой Зеландии, *kangaroo*, *wattle* – символы Австралии; *beaver*, *maple leaf* – символы Канады. При изучении биоморфной символики методологические принципы теории концептуальной деривации предоставляют широкие объяснительные возможности. Далеко не всегда возникновение нового символа можно проследить с точки зрения уже хорошо изученных процессов семантической деривации. Механизмы семантической деривации, например, не способны объяснить предпочтения языкового коллектива относительно потенциальных номинантов на роль национальных символов из числа концептов экосреды. А между тем обширный сегмент национальной символики практически любого общества может быть представлен как биосфера, переработанная аксиологически направленной мыслью человеческого коллектива. Именно в недрах национальной аксиологии кроются многие причины концептуальной деривации, ведущие к образованию культурно-специфических символов.

Концептуальная деривация, по Н.Н. Болдыреву, основывается на особой интерпретации исходного вербализованного знания, в результате которой появляются новые смыслы [15. С. 47]. Вероятно, символические смыслы возникают на основе предельного аксиологического насыщения концепта на момент символизации. Так, слово *kiwi* в новозеландском варианте английского языка употребляется в целом ряде смыслов, за каждым из которых стоит отдельный концепт: исконная новозеландская птица, новозеландец, новозеландский доллар, символ Новой Зеландии. Исходный концепт *kiwi* (птица-эндемик Новой Зеландии) на определенном этапе был востребован как «база» для «профилирования» новых аксиологических доминант своего времени (ценность эндемичного, исконного) и получил дальнейшее «профильное» аксиологическое осмысление, достигшее своего апогея в статусе символа: «*Kiwi is a significant national icon, equally cherished by all cultures in New Zealand*» [16] (Птица киви – признанный национальный символ, к которому

одинаково заботливо относятся представители всех культур новозеландского общества – перевод авторов).

Биоморфная символика представляет универсальный механизм симвоолообразования и в то же время демонстрирует в действии его культурно-специфичный результат, обусловленный системой ценностных доминант лингвокультурного коллектива.

Закономерности символопорождения в мигрантских суперстратных лингвокультурах Австралии и Новой Зеландии

Плодотворный период символопорождения – аксиологически насыщенная эпоха поиска национальной идеи, эпоха становления, развития или смены национальной идентичности. В такой период национально-культурная символосфера может значительно пополняться или обновляться за счет вытеснения одних элементов другими.

Символосферы сравнительно молодых австралийской и новозеландской лингвокультур представляют особый интерес для изучения типологических закономерностей символообразования. Обе лингвокультуры сформировались на основе суперстратных мигрантских лингвокультур и субстратных лингвокультур коренного населения. Закономерности символопорождения в мигрантских суперстратных лингвокультурах Австралии и Новой Зеландии включают интенсивность процесса сложения символов на базе концептов экосреды, результатом которого явилось формирование свыше ста таких символов в каждой лингвокультуре в течение ста пятидесяти – двухсот лет. Другая закономерность связана с отражением в символах структуры и содержания менявшейся на протяжении данного периода идентичности.

Выявление этих закономерностей убеждает в сходстве когнитивных процессов символообразования суперстратных мигрантских сообществ, что обусловлено, в свою очередь, сходством эволюции этнической идентичности мигрантов и истории становления национальной идентичности. В символах можно обнаружить разновременные срезы развития общества и доминирующие на каждом историческом этапе ценности.

Структура национальной идентичности австралийцев и новозеландцев сложна и многослойна. Первоначально она складывалась в сознании европейских переселенцев преимущественно британского происхождения, которые уже не были британцами в полном смысле слова, но еще долго не отождествляли себя с новой родиной.

С одной стороны, им было свойственно мифологизировать и идеализировать все, что связывало их с матерью-Британией, с другой – находить новые символы для укоренения на новой территории, самоутверждения на ней и обретения права считаться коренным населением. Этим историческим этапом можно объяснить причины формирования такой символики, которая «соединяла» в сознании людей природу далекой Британии и природу, окружающую их в повседневной жизни. Концепты местной экосреды встраивались в картину мира европейцев посредством перцептивного соотнесения экзотического растительного и животного мира с известными категориями: *кедр, орхидея, лилия, роза, дуб* и др. *Роза* к тому же воспринималась британскими переселенцами и как символ Англии, *дуб* – как один из символов Британии. При этом принадлежность к виду зачастую определялась с «наивной», а не с на-

учной точки зрения. Так, например, растение *Mount Cook lily* в середине XIX в. было названо *лилией*, но относится к семейству лютиковых.

Знакомые виды служили когнитивной базой, а профиль новых видов зачастую вычерчивали топонимы. В результате возникали и соответствующие наименования «с подтекстом», которые сформировали в сознании переселенцев иллюзорно-похожий мир: *New Zealand cedar*, *Cooktown orchid*, *Mount Cook lily*, *Sturt's desert rose*, *Australian oak*.

Люди постигали новое через известное, закрепляя и то и другое в символах, поэтому такие символы представляют сплав разных «Я-категорий», характерных для мигрантских сообществ: «Я, отождествленное с исторической родиной» и «Я, осознанное на новой земле».

К этому же типу относятся символы, образованные от тех концептов экосреды, которые были поименованы посредством слов *king* или *royal*: *King parrot*, *Royal bluebell*. Возможно, что символизации таких видов способствовала закрепленная в названии аллюзия на монархию, а не только исконность самого вида, чем достигалась «двуслойная» аксиология приобщения одновременно к новой и исторической родине. Подчеркнем, что ценность исторической родины навсегда сохранилась в сознании новозеландцев и австралийцев, и такие символы формируются и в более поздние периоды. Так, *Royal bluebell* (королевский колокольчик) впервые был назван флористическим символом Австралийской столичной территории в 1982 г.: «On 26 May 1982 the Hon. Michael Hodgman, the Minister for the Capital Territory, announced the Royal Bluebell as the floral emblem of the Australian Capital Territory» [17] (26 мая 1982 г. почтенный Майкл Ходжман, министр Столичной территории, объявил королевский колокольчик флористической эмблемой Австралийской столичной территории – перевод авторов).

Другие группы австралийских и новозеландских символов отражают социальные ценности постколониального общества, стремление создать инструменты воспроизводства уже сложившейся постбританской идентичности. Потребностью гражданского общества стало формирование новой, независимой от метрополии символики как средства поддержания национальных ценностей, воспитания патриотизма и единства нации. При этом особое значение приобретают идея уникальности исконной флоры и фауны, необходимость ее сохранения и защиты. Сохранение природы видится сквозь такие символы, как сохранение национальной идентичности, и сама исконная природа символизирует исконность и уникальность культуры и нации.

Эндемичная, исчезающая, охраняемая государством флора и фауна стали основным претендентом на роль национальных символов: *wombat* (вид сумчатых в Австралии), *tuatara* (вид рептилии в Новой Зеландии). Получает распространение приобщение к символам экосреды аборигенных народов. Так, *Tane* (бог лесов и всего живого в мифологии маори) стал символом исконной новозеландской флоры. Растения вообще могут именоваться *green children of Tane* («дети бога Тане»), а старейшее дерево Новой Зеландии получило персональное имя *Tane Mahuta*: «Tane Mahuta (kauri) stands as one of the most powerful symbols of our heritage» [18] (Тане Махута (вечнозеленое дерево каури) является одним из мощнейших символов нашего наследия – перевод авторов).

Символы коренного населения при этом нередко получали дополнительное содержание в общенациональных культурах. Так, в культуре маори есть поверье, что через корни дерева *pohutukawa* (похутукава) души умерших отправлялись на родину всех полинезийцев Хавайки. Однако этот сакральный для маори символ наполнился и новым содержанием в национальной новозеландской культуре, став символом христианского Рождества: «The blazing red flowers of pohutukawa around Christmas time have earned this tree the title of New Zealand's Christmas tree» [19] (Благодаря ярко-красным цветам, которые распускаются как раз в Рождественский сезон, дерево похутукава обрело титул новозеландского *рождественского дерева* – перевод авторов).

Заметным явлением среди наименований австралийской и новозеландской символики становятся заимствования из языков коренного населения Новой Зеландии маори и аборигенов Австралии: *nikau* (новозеландская пальма), *tui* (новозеландская птица туи), *waratah* (кустарник или небольшое дерево), *koala* (коала), *dingo* (австралийская дикая собака), *wallaby* (разновидность кенгуру), *wombat* (вombat).

Сплочение нации происходит посредством отождествления всех этносов с исконной природой общей родины и ее символизацией. Вокруг символов концентрируются многие культурные события. Единство природы и общества прославляется в дни посвященных таким символам праздников, например австралийского праздника *Shearwater Festival* (Фестиваль буревестника): «The short-tailed shearwaters are celebrated as symbols of creative, cultural and environmental interconnectedness» [20] (Короткохвостовый буревестник прославляют как символ единства культуры, творчества и природы – перевод авторов).

Таким образом, в символах имплицитруется комплексная структура национальной идентичности австралийцев и новозеландцев. Доминирующее на каждом историческом этапе отношение общества к окружающей природе характеризует преобладающий социокультурный тип, который играет роль «необъективного», «предвзятого» интерпретатора образов экосреды, насыщает их свойственными ему аксиологическими посылами и генерирует особые типы символов.

Новозеландские и австралийские символы запечатлели сходные социокультурные типы. На основе проведенного исследования мы разработали следующую их классификацию: *индигенный тип* (indigenous type), к которому относятся *полинезийский тип* (Polynesian type) в Новой Зеландии и *аборигенный тип* (Aboriginal type) в Австралии, отразившие в символике этап мифологизации окружающей природы (*pohutukawa*, *tuatara*, *lizard* или *goanna*). Индигенные типы представляют субстратные лингвокультуры и их символы.

Неиндигенный тип (non-indigenous type) демонстрирует в символике эволюцию этнической идентичности британских поселенцев: *британский тип* (British type) → *колонизальный тип* (colonial type) → *постколониальный тип* (post-colonial type). Неиндигенные типы являются представителями суперстратных лингвокультур. Среди порождаемых ими символов есть как самостоятельные, так и «накладывающие» дополнительное содержание на субстратные символы.

Австралийский (Australian type) и новозеландский (New Zealand type) типы формируют символы сложившихся наций. Данные социокультурные типы представляют лингвокультуры на стадии постсубстратно-суперстратных отношений.

Подчеркнем, что выделенные нами социокультурные типы и их характеристики дают возможность проследить типологические особенности развития австралийской и новозеландской идентичности.

Биоморфная символика как отражение современной австралийской и новозеландской национальной идентичности

Национальная идентичность знаменуется появлением общенациональных традиций, норм, ценностей и обязательно символов. М. Гейслер отмечает, что перед национальной символикой всегда ставится трудная задача – способствовать созданию нации: «...national symbols are charged with a difficult task of creating a nation» [21. P. XV]. Для этого этапа символообразования характерны целенаправленное «конструирование» и сознательный, «управляемый», подбор социально значимых символов, способных представить нацию, ее историю и настоящее в определенном ракурсе. В австралийской и новозеландской лингвокультурах огромная роль символического представления нации как в стране, так и за рубежом принадлежит концептам живой природы. Образы уникальной естественной экосреды являются источником неисчерпаемых импликаций и служат основой для порождения разных типов национальных символов: *географических, экономических, исторических, социальных, культурных, политических, спортивных*.

Так, образы исконного растительного и животного мира символизируют *административно-территориальную географию* Австралии и Новой Зеландии. Обе страны, их столицы, провинции и отдельные города ассоциируются с символами, образованными на основе концептов *исконной* флоры и фауны: «The gymea lily is an iconic Sydney wildflower» [22] (Лилия гимея – символ исконной флоры Сиднея – перевод авторов).

Флористические и анималистические символы есть у каждого из шести штатов Австралии. Флористическим символом австралийского штата Новый Южный Уэльс является цветок *waratah* (варатта). Символ штата Западная Австралия – цветок *kangaroo paw* (*ланка кенгуру*, необычные цветы: на красном стебле зеленые цветы, по форме напоминающие лапу кенгуру). Официально признаны анималистические символы Австралии у штата Новый Южный Уэльс, например, это утконос (*platypus*) и птица хохотун-пересмешник кукабарра (*kookaburra*).

Административно-территориальные символы закрепляются официально, изображаются на гербе, почтовых марках и почетных знаках, выбираются обществом в процессе голосований и потому воплощают идеи государственности и единства общества и страны: «The Golden Wattle (*Acacia pycnantha*) is now the official floral emblem of Australia, wattle blossoms are to be found on the Australian Coat of Arms» [23] (золотистая акация является официальным символом Австралии, и ее цветы изображены на гербе – перевод авторов).

Многие национальные символы Австралии и Новой Зеландии отражают их *физическую географию*. Так, в символах воплотились идеи уникального австралийского и новозеландского ландшафта, побережья или типичной фло-

ры: «The sight and smell of eucalypts are a defining part of Australian life» [24] (Вид и запах эвкалипта – неотъемлемая часть жизни в Австралии – перевод авторов).

В ряде случаев при наиболее важных символах возникают «символы-спутники» в результате так называемой вторичной, или «цепочечной», символизации. Например, *Australian Bush* (австралийский буш) является символом особого австралийского ландшафта, а необычный вид кустарника *banksias* (банксия) стала символической характеристикой австралийского буша: «Come spring, the landscape erupts in a show of orange banksias» [25] (Приходит весна, и ландшафт «вспыхивает» от оранжевых цветов банксии – перевод авторов).

Следует особо подчеркнуть содержательную емкость символов, сформированных на основе концептов экосреды, в глубинах которых сокрыто историческое прошлое страны, передаваемое из поколения в поколение. Так, *австралийский буш* является не только символом австралийского ландшафта, но и символом *истории освоения страны*, символом *нелегкого труда и быта первых поселенцев*: «...values created in history by bushman and bushworkers remains till nowadays in minds and hearts of Australians» [26].

Символы создаются и распространяются намеренно, часто в туристической индустрии для повышения привлекательности рекламируемой местности. Так, австралийский попугай лори (*Australian lorikeet*) – символ курортного Золотого побережья (*Gold Coast*).

Значимые *социальные* приоритеты, например *идеи мира, процветания*, традиционно актуализируются через символы, основанные на концептах флоры и фауны. Символ Австралии *Golden Wattle* (золотистая акация) сопрягается и с национальным праздником *the Wattle Day* (День Акации), который отмечается 1 сентября в период цветения этого растения: «Wattle Day can symbolise virtually anything we want it to, but common sentiments relate to Spring, being Australian, the Australian environment, and history» [27] (День Акации может символизировать практически все, что мы в него вкладываем, но обычно он соотносится с празднованием весны, австралийской идентичности, природы и истории – перевод авторов).

Знаковые *политические* события Австралии и Новой Зеландии также выражаются при помощи образов флоры и фауны. Так, один из видов эвкалипта, двухсотлетнее дерево *ghost gum*, стал символом рождения лейбористской партии Австралии. У этого дерева в 1891 г. собрались стригали и объявили забастовку, повлекшую за собой значимые для страны последствия. Дерево получило название *Tree of Knowledge* (дерево знаний): «The Tree of Knowledge is a symbol of an important time in Australia's political development. The ghost gum was used by shearers as a meeting place during their unsuccessful strike in 1891» [24] (Дерево знаний – символ важных политических событий Австралии. Этот эвкалипт использовался стригалими для собраний во время неудачной забастовки в 1891 г. – перевод авторов).

Особенности психологии людей находят символическое воплощение через ассоциации с образами растений и животных. В Австралии мужество и силу символизирует австралийский дуб (*Australian oak*). Новозеландская пальма *nikau* символизирует умение приспосабливаться к разным условиям,

находчивость, изобретательность, что исторически связано с широким применением растения как коренным населением маори, так и первыми европейскими поселенцами: «Nikau palms have always had importance in Maori life. The leaves were used to thatch houses, to wrap food before cooking, and to weave into hats, mats, baskets, and leggings for travelling through rough undergrowth» [27] (Пальма никау всегда играла существенную роль в жизни маори. Листья использовали для покрытия крыш, для обертывания продуктов до их приготовления, их вплетали в головные уборы, настилы, корзины, а также гетры для путешествия по местам жесткого мелкокося – перевод авторов).

Итак, создание многих национальных символов на основе концептов экосреды – одна из закономерностей символопорождения в мигрантских культурах Австралии и Новой Зеландии. На фоне лингвокультурной специфики национальных символов прослеживаются когнитивные и лексикотипологические закономерности символопорождения суперстратных мигрантских сообществ. Анализ более двухсот символов двух лингвокультур выявил сходство когнитивных процедур символообразования в лингвокультурах Австралии и Новой Зеландии и связь символообразования с формированием национальной идентичности. Биоморфность австралийской и новозеландской символической среды символична сама по себе, поскольку отражает историю освоения окружающей природы, витальные ценности колониального периода и духовные искания людей, оказавшихся вдали от исторической родины.

Литература

1. Butz D.A. National Symbols as Agents of Psychological and Social Change // *Political Psychology*. 2009. Vol. 30 (5). P. 779–804.
2. Edensor T. National identity, popular culture and everyday life: Berg. 2002. 216 p.
3. Guibernau M. Anthony D. Smith on nations and national identity: a critical assessment // *Nations and Nationalism*. 2004. Vol. 10 (1/2). P. 125–141.
4. Hawkins S. National Symbols and National Identity: Currency and Constructing Cosmopolitans in Tunisia // *Identities. Global Studies in Culture and Power*. 2010. Vol. 17 (2/3). P. 228–254.
5. *Nationalism and Ethnosymbolism: History, Culture and Ethnicity in the Formation of Nations*. A.S. Leoussi, S. Grosby (eds.). Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007. 352 p.
6. Николаева О.В. Куда дрейфует «Вака»? Новозеландская мульти- лингвокультура в динамике взаимодействия картин мира. Владивосток: Изд-во Морского гос. ун-та, 2010. 437 с.
7. Smith A.D. *Ethno-symbolism and Nationalism: A Cultural Approach*. N.Y.: Routledge, 2009. 184 p.
8. Белов М.В., Кузнецова С.В. Рецензия на кн.: Smith A.D. *Ethno-symbolism and Nationalism: A Cultural Approach* // Читая книги. [Электронный ресурс]. URL: http://roii.ru/dialogue/38/roii-dialogue-38_22.pdf (дата обращения: 14.12.2016).
9. Бабина Л.В. Проблема концептуальной деривации // *Вопр. когнитивной лингвистики*. 2007. Вып. 4. (013). С. 86–91.
10. Бабина Л.В. Модели концептуальной деривации (на примере сложных слов N+N) // *Альманах современной науки и образования*. Тамбов, 2009. № 2 (21), ч. 1. С. 16–18.
11. Балакин С.В. Деривационный потенциал концептуальной системы языка: дис. ... д-ра филол. наук. Челябинск, 2016.
12. Жаботинская С.А. Лингвокогнитивный подход к анализу номинативных процессов // *Вісник Хмельницького національного університету*. 2010. Вып. 928. С. 6–20.
13. Резниченко Л.В. Концептуальная деривация как основа формирования значений субстантивированных имен прилагательных // *Вестн. Ленингр. гос. ун-та им. А.С. Пушкина*. 2012. Вып. 2, т. 1. С. 146–154.

14. *Шемаева Е.В.* Концептуальная деривация как когнитивная основа семантики лексикализованных форм множественного числа имени существительного // Изв. Саратов. гос. ун-та. Новая серия. 2013. Т. 13. Сер. Филология. Журналистика. Вып. 1. С. 11–14.
15. *Болдырев Н.Н.* Оценочная метареференция: проблемы изучения и описания // Когнитивные исследования языка. Вып. 5: Исследование познавательных процессов в языке: сб. науч. тр. Москва; Тамбов, 2009. С. 43–51.
16. *Facts and threats to kiwi.* Department of Conservation of New Zealand govt. nz. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.doc.govt.nz/nature/native-animals/birds/birds-a-z/kiwi/facts> (дата обращения: 13.10.2016).
17. *Royal Bluebell.* aussie-info.com [Электронный ресурс]. URL: <http://www.aussie-info.com/identity/flora/bluebell.php> (дата обращения: 29.07.2016).
18. *Stuff:* New Zealand News and Information Website. Jan. 28, 2009. / Fairfax Digital [Электронный ресурс]. URL: www.stuff.co.nz. <http://www.stuff.co.nz/waikato-times/news/environment/812463/Call-to-halt-kauri-rot> (дата обращения: 06.02.2016).
19. *Pohutukawa.* Department of Conservation of New Zealand govt. nz. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.doc.govt.nz/nature/native-plants/pohutukawa> (дата обращения: 06.10.2016).
20. *Biyadin:* Shearwater Festival 2014 // Victorian Aboriginal Corporation for Language. 28 August 2014 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vaclang.org.au/tag/festival.html> (дата обращения: 15.10.2016).
21. *Geisler M.E.* Introduction: What are National Symbols and What Do They Do to Us // National Symbols, Fractured Identities: Contesting the National Narrative / Ed. by M.E. Geisler. Middlebury College Press. 2005. P. XIII–XLII.
22. *Lynette Weir* [Электронный ресурс]. URL: <https://lynetteweir.com/project/gymea-lily-wildflowers> (дата обращения: 29.07.2016).
23. *Wattles in Australia* // WorldWideWattle ver. 2 // The Department of Parks and Wildlife of Western Australia. [Электронный ресурс]. URL: <http://worldwidewattle.com/schools/australia.php> (дата обращения: 29.07.2016).
24. *Eucalypts* // Australia government. australia.gov.au [Электронный ресурс]. URL: <http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/eucalypts> (дата обращения: 29.07.2016).
25. *Australian* (The). Australian Daily Newspaper [Электронный ресурс]. URL: March 01, 2010. <http://www.theaustralian.com.au/life/weekend-australian-magazine/hit-the-road/story-e6frg8h6-1225835607585> (дата обращения: 29.07.2016).
26. *Halaszova V.* The Australian Bush as a Symbol in Historical and Contemporary Australia: Theses [Электронный ресурс]. URL: <https://theses.cz/id/yemavp/?furl=%2Fid%2Fyemavp%2F;so=nx;lang=en> (дата обращения: 13.10.2016).
27. *Nikau Palm.* Department of Conservation of New Zealand govt. nz [Электронный ресурс]. URL: <http://www.doc.govt.nz/conservation/native-plants/nikau-palm> (дата обращения: 29.07.2016).

ECOSYSTEM AS A SOURCE OF NATIONAL SYMBOLS: INSIGHT INTO AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND CULTURES AND LANGUAGES

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 46. 43–54. DOI: 10.17223/19986645/46/4

Victoria V. Oschepkova, Moscow Region State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: oschep2014@yandex.ru

Olga V. Nikolaeva, Far Eastern Federal University (Vladivostok, Russian Federation). E-mail: onikolaeva2009@yandex.ru

Keywords: ecosystem, symbol, symbol creation, national identity, ethno-symbolism, cognitive derivation, Australian English, New Zealand English.

The article is devoted to the cognitive and lexical-typological aspects of Australian and New Zealand national symbols. Both Australia and New Zealand are relatively young migrant cultures which present a unique possibility of discovering connection between symbol creation and formation of nationalities. The research was done within the framework of the ethno-symbolic approach developed by Anthony D. Smith who states that ethnic symbols represent the origins of nations and the pre-modern form of national identity. This work contributes to the development of the interdisciplinary theory and the empirical basis of ethno-symbolism.

The regularities discovered through the analysis of more than two hundred Australian and New Zealand symbols which were created on the basis of the ecosystem proved similarity of cognitive procedures of symbolization in migrant cultures of Australia and New Zealand. Australian and New Zealand symbols demonstrated interdependence between the evolution of British migrants' ethnic identity and the formation of Australian and New Zealand national identities.

Biomorphic national symbols of Australia and New Zealand are culturally-specific: kiwi, silver fernleaf (in New Zealand), kangaroo, wattle (in Australia). But at the same time they are informative for the identification of common features of symbol creation in both cultures. The whole set of national symbols of Australia and New Zealand point at a multi-layered national identity, which in both countries comprises similar socio-cultural types, domineering at different historical periods. Their symbols are indicative of people's attitude to nature and their basic values.

Among the socio-cultural types which are singled out within both Australian and New Zealand national identities are the following:

- indigenous type (Polynesian type in New Zealand and Aboriginal type in Australia), which produced symbols based on mythological cognition (pohutukawa, lizards);
- non-indigenous type (British type + colonial type + post-colonial type), whose symbols reflect the evolution of British ethnic identity;
- national Australian / New Zealand type, which generates symbols of independent nations.

The biomorphic character of national symbols of Australia and New Zealand is symbolic as it reflects the history of exploring the harsh natural environment, the vital values of the colonial period and the spiritual association of migrants both with their old and new homelands.

References

1. Butz, D.A. (2009) National Symbols as Agents of Psychological and Social Change. *Political Psychology*. Vol. 30 (5). pp. 779–804.
2. Edensor, T. (2002) *National identity, popular culture and everyday life*. Berg Publishers.
3. Guibernau, M. (2004) Anthony D. Smith on nations and national identity: a critical assessment. *Nations and Nationalism*. 10 (1/2). pp. 125–141.
4. Hawkins, S. (2010) National Symbols and National Identity: Currency and Constructing Cosmopolitans in Tunisia. *Identities. Global Studies in Culture and Power*. 17 (2/3). pp. 228–254.
5. Leoussi, A.S. & Grosby, S. (eds) (2007) *Nationalism and Ethnosymbolism: History, Culture and Ethnicity in the Formation of Nations*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
6. Nikolaeva, O.V. (2010) Kuda dreyfuet "Vaka"? : Novozelandskaya mul'ti- lingvokul'tura v dinamike vzaimodeystviya kartin mira [Where does the "Waka" drift?: New Zealand multilingual culture in the dynamics of interaction of the world pictures]. Vladivostok: Maritime State University.
7. Smith, A.D. (2009) *Ethno-symbolism and Nationalism: A Cultural Approach*. New York: Routledge.
8. Belov, M.V. & Kuznetsova, S.V. (2009) Book Review: Smith, A.D. *Ethno-symbolism and Nationalism: A Cultural Approach*. [Online] Available from: http://roii.ru/dialogue/38/roii-dialogue-38_22.pdf. (Accessed: 14th December 2016). (In Russian)
9. Babina, L.V. (2007) Problema kontseptual'noy derivatsii [The problem of conceptual derivation]. *Voprosy kognitivnoy lingvistiki*. 4(013). pp. 86–91.
10. Babina, L.V. (2009) Modeli kontseptual'noy derivatsii (na primere slozhnykh slov N+N) [Models of conceptual derivation (on the example of compound N+N words)]. *Al'manakh sovremennoy nauki i obrazovaniya*. 2 (21):1. pp. 16–18.
11. Balakin, S.V. (2016) *Derivatsionnyy potentsial kontseptual'noy sistemy yazyka* [Derivational potential of the conceptual system of language]. Philology Dr. Diss. Chelyabinsk.
12. Zhabotinskaya, S.A. (2010) Lingvokognitivnyy podkhod k analizu nominativnykh protsessov [Linguocognitive approach to the analysis of nominative processes]. *Visnik Khmel'nits'kogo natsional'nogo universitetu*. 928. pp. 6–20.
13. Reznichenko, L.V. (2012) Kontseptual'naya derivatsiya kak osnova formirovaniya znacheniy substantivirovannykh imen prilagatel'nykh [Conceptual derivation as the basis for the formation of meanings of substantivized adjectives]. *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina*. 2:1. pp. 146–154.
14. Shemaeva, E.V. (2013) Kontseptual'naya derivatsiya kak kognitivnaya osnova semantiki leksikalizovannykh form mnozhestvennogo chisla imeni sushchestvitel'nogo [Conceptual derivation as

the cognitive basis of the semantics of lexicalized plural forms of the noun]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya*. 13:1. pp. 11–14.

15. Boldyrev, N.N. (2009) Otsenchnaya metareprezentatsiya : problemy izucheniya i opisaniya [Evaluative metarepresentation: problems of study and description]. *Kognitivnye issledovaniya yazyka*. V. pp. 43–51.

16. Department of Conservation of New Zealand. (n.d.) *Facts and threats to kiwi*. [Online] Available from: <http://www.doc.govt.nz/nature/native-animals/birds/birds-a-z/kiwi/facts>. (Accessed: 13th October 2016).

17. Aussie-info.com. (n.d.) *Royal Bluebell*. [Online] Available from: <http://www.aussie-info.com/identity/flora/bluebell.php>. (Accessed: 29th July 2016).

18. Stuff: New Zealand News and Information Website. (2009) *Fairfax Digital*. January 28. [Online] Available from: <http://www.stuff.co.nz/waikato-times/news/environment/812463/Call-to-halt-kauri-rot>. (Accessed: 06th February 2016).

19. Department of Conservation of New Zealand. (n.d.) *Pohutukawa*. [Online] Available from: <http://www.doc.govt.nz/nature/native-plants/pohutukawa>. (Accessed: 06th October 2016).

20. Victorian Aboriginal Corporation for Language. (2014) *Biyadin: Shearwater Festival 2014*. 28 August. [Online] Available from: <http://www.vaclang.org.au/tag/festival.html>. (Accessed: 15th October 2016).

21. Geisler, M.E. (2005) Introduction: What are National Symbols and What Do They Do to Us. In: Geisler, M.E. (ed.) *National Symbols, Fractured Identities: Contesting the National Narrative*. Middlebury College Press.

22. Lynette Weir. (n.d.) *The Gynea Lily Wildflower*. [Online] Available from: <https://lyneteweir.com/project/gynea-lily-wildflowers>. (Accessed: 29th July 2016).

23. The Department of Parks and Wildlife of Western Australia. (n.d.) *Wattles in Australia*. WorldWideWattle ver. 2. [Online] Available from: <http://worldwidewattle.com/schools/australia.php>. (Accessed: 29th July 2016).

24. Australia Government. (2015) *Eucalypts*. [Online] Available from: <http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/eucalypts>. (Accessed: 29th July 2016).

25. Australian (The). (2010) Hit the Road. [Online] Available from: <http://www.theaustralian.com.au/life/weekend-australian-magazine/hit-the-road/story-e6frg8h6-1225835607585>. (Accessed: 29th July 2016).

26. Halaszova, V. (2012) *The Australian Bush as a Symbol in Historical and Contemporary Australia: Theses*. [Online] Available from: <https://theses.cz/id/yemavp/?f=%2Fid%2Fyemavp%2F;so=nx;lang=en>. (Accessed: 13th October 2016).

27. Department of Conservation of New Zealand. (n.d.) *Nikau Palm*. [Online] Available from: <http://www.doc.govt.nz/conservation/native-plants/nikau-palm>. (Accessed: 29th July 2016).

УДК 81-144 + 81-112
DOI: 10.17223/19986645/46/5

О.А. Солопова

**МЕТАФОРА В МОДЕЛИРОВАНИИ БУДУЩЕГО: «СВЕТЛЫЙ»
СЦЕНАРИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
О РОССИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО, АМЕРИКАНСКОГО
И БРИТАНСКОГО ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИСКУРСОВ XXI в.)¹**

В статье представлен фрагмент исследования синхронных моделей будущего России, выполненного в рамках лингвополитической прогностики, нового направления в исследовании политического дискурса. В прогностическом тексте ключевой единицей познания является концептуальная метафора. В статье показано, как метафора организует прогностический текст, задает направленность в «светлом» ключе, выступает конституирующим элементом прогноза, связывает разноплановые лингвистические средства выражения категории прогностичности, устанавливая функциональные связи между ними.

Ключевые слова: лингвополитическая прогностика, политический дискурс, будущее, прогностический политический текст, светлое будущее, метафора.

В статье представлен фрагмент работы, выполненной в рамках нового направления в исследовании политического дискурса – лингвополитической прогностики. В качестве категории прогностичность входит в предметы многих наук: философии, социологии, футурологии, политологии и др. В лингвистике содержание данной категории остается нечетким и размытым из-за отсутствия необходимых параметрических факторов. В этой связи обращение к изучению возможности прогнозирования с помощью лингвистических параметров является актуальным. Парадигма современной науки характеризуется конвергенцией исследовательских направлений и областей знания, интеграцией и взаимопроникновением наук и технологий, что позволяет выстроить исследование не только на собственно лингвистических основах, но и в рамках понятийной логики социолого-философских наук.

Актуальность исследования определяется также значимостью прогнозирования в онтологическом аспекте: прогностическая способность является базовой когнитивной функцией, а возможность долгосрочного прогнозирования – коренное отличие психики человека от психики животных. В социальном плане прогнозирование – основа любого управленческого процесса, в том числе государственного управления.

Будущее является одной из отвлеченных и неосязаемых категорий. Оно неизбежно нагружено разного рода ожиданиями, которые формируются задолго до того, когда событие произойдет. Любое событие совершается «в русле очень большой длительности при посредстве структурирующих эффектов социальных и политических отношений» [1. С. 70]. Поэтому моделирова-

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №16-18-02102).

ние будущего в политическом дискурсе и его интерпретация требуют определенных «концептуальных» операций.

В проведенном исследовании [2] разработана авторская трехуровневая методика диахронического сопоставительного лингвополитического изучения образных и иных стилистических средств, направленных на репрезентацию будущего в политическом дискурсе, включающая внутридискурсивное и междискурсивное сопоставление синхронных и диахронных моделей, каждая из которых состоит из матрицы (статической / динамической), системы метафорических моделей (в синхронии и диахронии) и лингвопрогнозного сценария (статического / динамического). Три уровня модели обеспечивают одновременную преемственность и изменяемость концептуализации будущего. Матрица будущего, ее фрагменты (явления объективной реальности, концептуальные домены, их видовые составляющие) получают вербальное отображение, превращаясь в многоцветные, объемные образы, изменяющиеся во времени благодаря метафорическим моделям, в рамках которых репрезентируется будущее России. Данная методика позволяет оптимально продемонстрировать статические и динамические аспекты прогнозирования в сочетании с имплицитностью / эксплицитностью прогноза (от минимальной динамичности на первом уровне через выраженную имплицитно динамику второго уровня к эксплицитной динамичности третьего уровня).

В качестве материала исследования использованы *прогностические политические тексты* – тексты политической проблематики, предметом отображения которых является анализ настоящих тенденций и будущих перспектив развития ситуации либо последствий выбора одной из альтернатив (положительной / отрицательной), призванные воздействовать на адресата при помощи продвижения образов будущих реальностей для получения желаемого результата, а также на политическую ситуацию в целом с целью ее изменения. Разветвление лингвопрогнозного сценария на «светлое» и «мрачное» будущее четко демонстрирует мифологизированность хронотопа политического дискурса.

В лингвопрогножном сценарии ядром оценочной стороны выступает политическая метафора: высокая степень эмоциональной подвижности прогноза, обилие оценочных суждений вызывают к жизни концептуальные метафоры для моделирования ситуаций настоящей действительности и прогнозирования ее последствий, что, как неоднократно отмечалось [3–6], доказывает: именно метафора является конститутивным, системообразующим свойством предвосхищающего мышления.

Задачи исследователя в рамках настоящей статьи – показать, как метафора организует прогностический текст / контекст, выступая связующим, конституирующим элементом содержательно-смыслового пространства прогноза, определяя направленность прогностического текста / контекста в «светлом» направлении, иные лингвистические средства, работающие на семантику будущего, служат формальной организации прогностического текста / контекста, дополняя светлый вариант развития настоящего в будущее, создавая его цельный панорамный фрагмент; проиллюстрировать на конкретных примерах различные типы организации прогностического текста / контекста.

Материал исследования получен путем сплошной и репрезентативной выборки из политических текстов средств массовой информации и составил 3000 контекстов в каждом из анализируемых дискурсов [7–12]. Источниковая база представлена прессой за период с 2000 по 2014 г. В качестве параметров, выбранных для сопоставления, выступают соотношение метафорической и неметафорической вербализации будущего России; соотношение употребления стертых и авторских образов; количество метафорических моделей, участвующих в лингвистическом обеспечении статических матриц каждого периода; доминантные для каждого дискурса модели.

В политических дискурсах трех стран в лингвистическом наполнении статических матриц будущего современного хронологического среза метафорические контексты доминируют над неметафорическими (рис. 1).

Преобладание метафорических контекстов над неметафорическими в наполнении рассматриваемой синхронной модели свидетельствует о том, что будущее России является одной из острых, злободневных тем не только в отечественном политическом дискурсе, но и в прогностических текстах США и Великобритании.

Наиболее метафоричной является статическая матрица, созданная на базе корпуса текстов современного американского политического дискурса: для корпуса американских текстов типичен значительный перевес образной репрезентации будущего России над неметафорическими контекстами, а также наибольший показатель индивидуально-авторских образов по сравнению с двумя другими странами, что обусловлено прежде всего дискурсивными факторами: геополитическим противостоянием России и США времен холодной войны, международной политической обстановкой современности, «неровными» отношениями двух стран: периодами взлетов и падений, характерными для начала 2000-х гг., эскалацией напряженности во взаимоотношениях в связи с разногласиями в вопросах внешней политики, геополитическим противостоянием России и США.

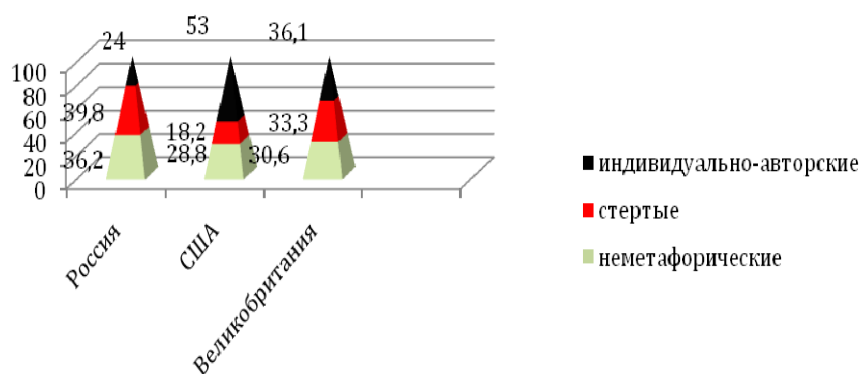


Рис. 1. Сравнительная диаграмма репрезентации образа будущего России в прогностических текстах отечественного, американского и британского дискурсов (начало XXI в.), %

Стоит отметить также, что для современных представлений о будущем России именно для отечественного дискурса характерен наименьший процент метафорических контекстов в целом и ярких, авторских образов в частности, что может говорить об относительно «метафорическом затишье», большей уверенности страны в собственном будущем по сравнению с США и Великобританией.

В лингвистическом обеспечении статической матрицы «Будущее России», созданной на основе анализа британского политического дискурса, как и в американских текстах, образные контексты доминируют над неметафорическими, индивидуально-авторские, яркие метафорические словоупотребления – над стертыми. Этот факт также может быть объяснен дискурсивными факторами: статусом «особых» отношений между двумя государствами, их развитием по самостоятельной линии на военном, политическом и экономическом уровне [13. С. 7], сотрудничеством США и Великобритании, основанным на тесной экономической, политической и культурной интеграции, наличием тесных культурно-исторических и этнолингвистических связей.

Таблица 1. Система метафорических моделей, функционирующих в политических дискурсах России, США и Великобритании (начало XXI в.)

№	Название метафорической модели (ММ)	Россия	США	Великобритания
1	ММ пути	18,2% I	8,2% V	10,4% IV
2	ММ неживой природы	11,2% II	9,3% IV	7,8% V
3	Морбиальная ММ	9,8% III	18% I	3,8%
4	Монархическая ММ	6,9% IV	12,4% III	3,7%
5	Зооморфная ММ	6,2% V	13,6% II	7,1%
6	Механистическая ММ	5,5%	3,8%	2,5%
7	Милитарная ММ	5,4%	2,9%	16,9% I
8	Криминальная ММ	4,2%	3,3%	13,4% II
9	Метафора строительства	4,2%	1,8%	2,5%
10	Фитоморфная ММ	4,1%	0,9%	1,4%
11	ММ Игры	3,8%	7,4%	10,8% III
12	Физиологическая ММ	3,5%	3,0 %	2,8%
13	Театральная ММ	3,1%	4,4%	6,8%
14	Инструментальная ММ	2,9%	1,9%	1,7%
15	ММ Дома	2,9%	–	–
16	Метафора родства	2,7%	3,6%	1,9%
17	Педагогическая ММ	2,6%	2,3%	–
18	Спортивная ММ	2%	3,2%	4,9%
19	Религиозная ММ	0,5%	–	0,8%
20	ММ Торговли	0,3%	–	0,8%

Следует особо подчеркнуть, что наиболее разнообразен по количеству метафорических моделей, в рамках которых репрезентируется будущее России в целом (*обе альтернативы развития*, мрачная и светлая), отечественный дискурс, в нем зафиксированы 20 сфер-источников метафорической экспансии, однако отметим, что в большей части контекстов используются стертые метафорические единицы. Численность сфер метафорического притяжения, задействованных в конструировании модели будущего, составляет

18 сфер-источников в британском дискурсе и 17 в американском дискурсе (табл. 1; полужирным шрифтом обозначены пять наиболее частотных моделей, реализующихся при моделировании будущего в каждом дискурсе, римские цифры показывают их распределение по шкале частотности в дискурсе каждой страны).

Прагматический потенциал рассмотренных концептуальных метафор разнообразен по содержанию коннотативной нагрузки при моделировании будущего. С одной стороны, в рамках одной метафорической модели, употребляющейся для создания образа будущего России, могут реализовываться различные содержательные аспекты, нацеленные на конструирование как негативного, так и позитивного сценария будущего, что в значительной степени зависит от дискурсивных характеристик и доказывает, *во-первых*, субъективность репрезентации будущего России в анализируемых дискурсах: конструкт будущего России напрямую связан с темпоральностью тех, кто конституирует его, детерминирован идейно-политическими установками аудитории, исторически сформировавшимися стереотипами мышления, инерцией свойственных ей культурно-политических предубеждений, штампами исторической памяти; *во-вторых*, субъектоцентричность прогностических текстов, т.е. структурирование будущего государства (своего или чужого), исходя из собственных интересов, приоритетов, целей, из видения собственных перспектив и себя / своей страны в прогнозируемом будущем.

С другой стороны, заданная автором прогностического текста тональность диктует выбор определенных метафорических моделей, что в свою очередь влияет на использование иных лингвистических средств (видовременных форм глаголов, модальных глаголов, обстоятельственно-лексических маркеров и др.).

Поскольку цель настоящей статьи состоит в том, чтобы проиллюстрировать, как метафора определяет «крайнюю» *светлую* альтернативу будущего, выстраивая единую смысловую нить прогностического текста / контекста, остановимся на тенденциях, типичных для конструирования светлого полюса будущего.

Данные проведенного исследования современного хронологического среза свидетельствуют о том, что в политических дискурсах трех стран моделирование «светлого» будущего носит преимущественно *окказиональный* характер: 17,6% (344 контекста) в российском политическом дискурсе, 6,7% (149 контекстов) и 6,6% (141 контекст) в американском и британском корпусах текстов соответственно: *Сквозь свинцовые мерзости нашей многозаботной жизни все же начинают проглядывать лучи надежды. Вселяющей веру в более благостный завтрашний день России* (Литературная газета, 19.01.2011). *The key to Russia's future security is in the rapid development of the country's economy. As the Russian economy continues to grow, it will help provide Russia with the resources to finance the social and security needs of its people*¹ / The New York Times, 26.12.2001 (US). *Russia will be Europe's biggest economy*

¹ Ключ к будущей безопасности России в быстром развитии экономики страны. Так как российская экономика продолжает расти, это поможет России создать условия для финансирования социальных потребностей населения и обеспечения его безопасности.

*by 2030*¹ (The Guardian, 18.01.2013 (GB)). Следует подчеркнуть, что в своем видении будущего России авторы прогностических текстов в современных политических дискурсах трех стран редко предлагают аудитории позитивный вариант развития событий. Наибольшее количество контекстов, репрезентирующих «крайний» светлый образ будущего, зафиксировано в российском политическом дискурсе. Данный факт можно объяснить тем, что граждане государства с большей долей вероятности разглядят позитивные черты в грядущем своего отечества, нежели представители чужой страны.

Следует подчеркнуть, что материал трех дискурсов современного хронологического среза показывает, что тенденции, характерные для моделирования светлого полюса будущего России, контрастируют с данными, полученными в ходе анализа лингвистического обеспечения моделей будущего в целом, включающего обе альтернативы развития (мрачную и светлую). В конструировании светлого сценария наибольшую активность проявляют *неметафорические контексты* и *стертые метафоры* (рис. 2).

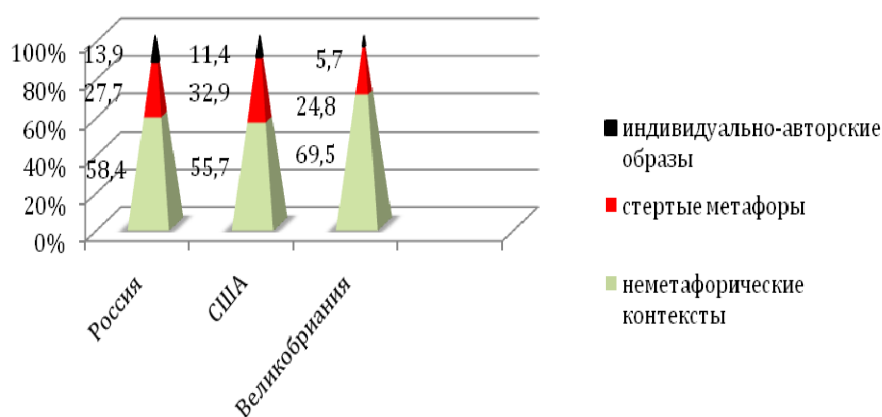


Рис. 2. Сравнительная диаграмма репрезентации образа «светлого» будущего России в прогностических текстах отечественного, американского и британского дискурсов (начало XXI в.)

Полученные данные можно объяснить тем, что, как отмечалось ранее, репрезентация «крайней» светлой альтернативы развития настоящей ситуации менее частотна в современных политических дискурсах трех стран. Большую часть прогностических текстов из обработанных корпусов текстов российского, американского и британского политических дискурсов составляют контексты, ориентированные на конструирование «мрачного» будущего: чем выше потенциальная враждебность, нагнетание надвигающейся угрозы и потребность сбалансировать своего системного конкурента либо нейтрализовать его, тем больше негативных значений втягивается в конструкцию будущего, тем более сложна, многогранна и метафорична «мрачная» альтернатива будущего России и, как следствие, менее востребован и метафоричен его «светлый» вариант.

¹ К 2030 г. Россия станет крупнейшей экономикой Европы.

Для российского дискурса при моделировании вероятного позитивного исхода ситуации настоящего доминантными метафорическими образами являются метафоры пути (28,6%), дома и строительства (27,3%), неживой природы (20,9%); в американском дискурсе в вербализации светлой стороны будущего России наиболее активно участвуют метафоры пути (28,8%), болезни (21,2%), игры (12,1%); для британского дискурса в моделировании светлого полюса ожидаемых событий задействованы единицы источниковых сфер пути (34,9%), театра (20,9%), игры (13,9%).

Для отечественного политического дискурса начала XXI в. одними из доминантных образов являются метафоры дома и строительства, которые «созидают» светлое будущее. Причины особой значимости рассматриваемых метафор в рамках моделирования светлого будущего кроются в том, что строительство ассоциативно связано с позитивными преобразованиями, с возможностью сформировать, «выстроить» собственную уникальную цивилизационную миссию, представляя будущее как объект творения. Лингвокультурологи неоднократно отмечали, что метафора дома и составляющих его конструкторов является ключевой константой культуры, одной из самых ранних артефактных метафор, матрицей, с которой соотносятся основные элементы и категории картины мира [14. С. 139; 15. С. 103; 16. С. 161–162]. Дом является условием человеческой жизни, он помогает, защищает, служит человеку, воспитывает и изменяет его: *Мы должны шаг за шагом начать восстанавливать нашу русскую крепость. Сделать ее неприступной... После поражения России в Крымской войне канцлер Горчаков сказал, что Россия «закрывается». Закрывается, чтобы сосредоточиться, перестроиться, реформироваться. Сегодня этот лозунг актуален как никогда. Мы должны «закрыться». Не отгородиться от мира очередным «железным занавесом» или колючей проволокой, а дать ясно понять, что нам больше нет дела до окружающего мира, до американских «общечеловеческих» и прочих ценностей. Мы должны заняться, наконец, только своими проблемами, сообразуясь и советуясь лишь с собственной историей и традициями, не обращая внимания на весь остальной мир и не считаясь с тем, что он будет думать о нас* (Агентство Политических Новостей.ру, февраль 2002). В представлении светлых сторон будущего метафора дома-крепости является символом защиты, стабильности, безопасности. Желание быть закрытым, отгороженным от остального мира переносится на скрытую от внешнего взгляда дом-крепость (русс. *Мой дом – моя крепость*), родное, безопасное место, где человек испытывает чувство покоя и умиротворения, где можно восстановиться, вновь поверить в свои силы и решить насущные проблемы (русс. *Дома и стены помогают*).

Важнейшим средством актуализации прогностической функции метафоры являются интертекстуальные включения, предоставляющие исторические аналогии для решения задач, стоящих перед современным государством, акцентирующие обратимость времени в политическом дискурсе, возможность общества возвратиться в любое состояние, которое уже происходило: «...определенная сумма событий или небольшое событие, даже случай могут вызвать цепь лавинообразных, синергетических процессов, которые, действуя нелинейно, возвращают общество в прошлое политическое состояние»

[17. С. 61–62]. Обращенность прогностического контекста в будущее не исключает его направленность в прошлое, а, наоборот, актуализирует смыслы и факты уже свершившихся событий. Событие или личность из прошлого становится символом настоящего и особенно будущего (*После поражения России в Крымской войне канцлер Горчаков сказал, что Россия «закрывается». Закрывается, чтобы сосредоточиться, перестроиться, реформироваться*). Личностью из прошлого, определяющей вероятное развитие событий в будущем, в рассматриваемом прогностическом контексте является министр иностранных дел, последний канцлер Российской империи, князь А.М. Горчаков, в течение пятидесяти лет защищавший интересы Российской империи на международной арене, с именем которого связаны все внешнеполитические деяния царствования императора Александра II (присоединение Средней Азии, продажа Аляски, заключение выгодных договоров с Китаем и Японией, война с Турцией, восстановление прежнего величия Российской империи на внешнеполитической арене) [18].

После поражения в Крымской войне (1853–1856) А.М. Горчаковым была сказана фраза, ставшая впоследствии крылатой: «Говорят, что Россия сердится. Нет, Россия не сердится, Россия сосредотачивается». Автор прогностического контекста призывает современную Россию к временному отказу от активной внешнеполитической деятельности, к невмешательству в международную жизнь, к продумыванию эффективных механизмов многостороннего обеспечения стабильности внутри страны, к внутреннему реформированию и обустройству дома-крепости, где страна сможет собраться с силами и, как в XIX в., вернуть престиж на международной арене (*Мы должны заняться, наконец, только своими проблемами, сообразуясь и советуясь лишь с собственной историей и традициями, не обращая внимания на весь остальной мир и не считаясь с тем, что он будет думать о нас*). Предлагаемый вариант «закрытия» России не предполагает изоляции и возврата к военной и идеологической конфронтации с Западом времен Советского Союза (*Не отгородиться от мира очередным «железным занавесом» или колючей проволокой*), скорее, говорит о том, что Россия, являясь самодостаточным геополитическим субъектом, будет определять свои интересы и векторы развития способами, которые не всегда гармонируют с интересами ведущих западных стран, она намерена ориентироваться на собственные представления о добре и зле, на собственную историю и культуру.

Вербальные знаки интеграции (инклюзивное *мы*, лексемы совместности *нам, нас*) позволяют адресату отождествлять себя с адресантом, апеллировать к общей национальной принадлежности, разделяя с адресантом ответственность за будущую судьбу России, русской «крепости», вовлекая его в решение поставленных задач.

Сложные формы сказуемого, включающие модальный глагол «должны» и глагол совершенного вида в форме инфинитив (*должны начать восстанавливать, должны «закрыться», должны заняться*) указывают на объективную необходимость действий и акцентируют ее. Предлагаемые шаги организованы как список задач, которые необходимо решить в будущем. Обращают на себя внимание парцеллированные предложения. Парцелляция, являющаяся, по мнению О.А. Турбиной, одной из основных грамматических категорий

эмотивного синтаксиса [19. С. 6], формирует особые структурные типы эмотивных предложений, способствуя чувственно-образному восприятию и эмоциональному осмыслению поступающей информации. В анализируемом контексте парцелляты являются коммуникативным ядром, выступая носителем актуальной, значимой информации для прогностического контекста в целом, они позволяют акцентировать, уточнить и пояснить заявленные ранее шаги в светлое будущее (*Сделать ее неприступной. Не отгородиться от мира очередным «железным занавесом» или колючей проволокой, а дать ясно понять...*).

В целом следует отметить, что в отечественном лингвопрогножном сценарии современного хронологического среза светлое будущее выражено слабо, его образ хрупок и условен: оно условно «светлое», «немрачное», представляет собой, скорее, программу действий, допущение некоторой вероятности альтернативы, противопоставленной мрачному полюсу при условии ее выполнения.

«Диффузность» образа светлого будущего России свойственна также англоязычным лингвопрогножным сценариям, созданным на основе анализа современного хронологического среза. Наиболее типичны для двух дискурсов типы прогностических контекстов, в которых моделирование будущего двунаправленно: аргументируются оба варианта развития событий (светлый / мрачный) либо прогностические контексты, вербализующие светлую крайнюю альтернативу будущего, в которых имплицитно встроен второй, диаметрально противоположный мрачный вариант развития.

Развертывание двух альтернатив будущего иллюстрирует следующий контекст: *What does the future hold for Russia? Some see the sudden spurt of growth over the last four years as an indicator of more improvements to come, and they expect Russia soon to leave the ranks of middle-income countries. They emphasize the country's advanced human capital, its reformed tax system, and its mostly open economy. Others see bureaucratic regulations and politicized interventions as serious barriers that will stymie Russia's growth. In politics, optimists anticipate increased democratic competition and the emergence of a more vigorous civil society. Pessimists predict an accelerating slide toward an authoritarian regime that will be managed by security-service professionals under the fig leaf of formal democratic procedures*¹ (Foreign Affairs, 03.03.2004 (US)).

Риторический вопрос, употребленный в сильной позиции прогностического контекста, инициирует рассуждение о будущем России. Он обращен к адресату, вовлекая реципиента в раскрытие тайны политического будущего

¹ Что ждет Россию в будущем? Одни считают ее неожиданный рост в течение последних четырех лет и внезапный рывок вперед показателем еще больших позитивных преобразований, которые должны произойти, и ожидают, что в ближайшее время Россия покинет группу стран со средним уровнем дохода. Они делают ставку на передовой человеческий капитал страны, реформированную налоговую систему и ее большей частью открытую экономику. Другие считают бюрократический аппарат и вмешательства политического характера серьезными барьерами, которые затормозят развитие России. В политическом плане оптимисты предвидят увеличение демократической конкуренции и появление более жизнеспособного гражданского общества. Пессимисты предсказывают все ускоряющееся движение (досл. сползание) к авторитарному режиму, в котором власть будет осуществляться профессионалами службы безопасности под фиговым листком формальных демократических процедур.

современной России. Вопрос зависит от контекста, его риторичность раскрывается на фоне всего объема представленного прогностического контекста (*What does the future hold for Russia?*), в котором наряду с оптимистической трактовкой будущего России представлен его пессимистический вариант.

В рамках создания образа «светлого» будущего активны пространственные метафоры, предлагающие возможности для «роста» и «рывков вперед», а также лексические единицы с семами «развитие», «увеличение», «появление (нового)» (*the sudden spurt of growth, more improvements to come, the country's advanced human capital, increased democratic competition, the emergence of a more vigorous civil society*). Показательна стертая метафора *the sudden spurt of growth*. Несмотря на то, что сема внезапности входит в значение лексемы *spurt* согласно дефинициям, предлагаемым в словарях¹, в контексте признаков внезапности дублируется прилагательным *sudden*, интенсифицируя быстроту экономического взлета России.

В оппозиции к единицам, вербализующим вероятное развитие и рост страны, ее быстрое движение из настоящего в будущее, употребляются метафоры источниковой сферы «путь», задействованные в моделировании мрачного полюса будущего (*serious barriers, to stymie Russia's growth, an accelerating slide*). «Внезапному усилению роста» (*the sudden spurt of growth*), которое является первым фактом в аргументировании альтернативы светлого будущего, противопоставлено «все убыстряющееся скольжение» к авторитаризму (*an accelerating slide*), представленное в предложении, закрывающим прогностический контекст. Ускоренное экономическое усиление России, которое не будет сопровождаться ее внутренней демократизацией, представляет серьезную опасность для США, что активизирует в рассматриваемом контексте единицы, «блокирующие» ее продвижение вперед. Усиливающаяся Россия, прикрываясь фиговым листом «формальных демократических процедур», будет играть негативную роль на мировой арене и заставлять США тратить свою внешнеполитическую энергию на блокирование имперских устремлений авторитарной, но экономически сильной страны.

Помимо будущих видовременных форм глаголов (*will stymie, will be managed*), являющихся основным грамматическим средством, кодирующим темпоральность текста, направленность в будущее передается глаголами в настоящем времени в значениях «ожидать, предвидеть, предчувствовать, предсказывать, прогнозировать» (*to anticipate, to predict, to see (as an indicator)*), а также инфинитивом в атрибутивной функции, способным реализовывать модальные значения долженствования и вероятности (*more improvements to come*). Зависимость модальных оттенков инфинитива от ситуативного контекста показательна, поскольку, если рассматривать его в пределах отрывка, ориентированного на моделирование светлого будущего, речь пойдет о еще больших позитивных преобразованиях, которые должны произойти; на фоне всего объема прогностического контекста обязательность,

¹ a sudden gush, a sudden brief burst of effort, activity, or development [22]; a sharp or sudden increase in activity [20]; внезапное, резкое усиление активности.

скорее всего, будет замещена на вероятность: позитивные преобразования, которые могут произойти.

Данный прогностический контекст представляет собой характерный для современных политических дискурсов трех стран вид прогностического контекста, где альтернатива светлого будущего обязательно дополняется ее эксплицитно представленным полярным вариантом.

Проиллюстрируем на примере особенности репрезентации светлого будущего в британском лингвопрогножном сценарии современного хронологического среза: *It's not to say that Russia isn't able to become a leader. The largest oil producer in the world, and with its 2011 GDP (PPP) ranking just below Germany, Russia does seem like a candidate to become Europe's leading economy by 2030 and stay that way well into 2050. But that's only if you make a prognosis based on the utopia that strict economic policies, not politics, rule these wintry lands. Russia's interior policy is almost designed to keep its economy back. Russia, although a candidate to become Europe's leading economy judging by the growth of its PPP, is still a country that can take an unpredictable turn and is likely to never find a path to European economic leadership, regardless of its proven oil and gas reserves, strategic location or any other benefits it might have. If Russia is going to become a leading European economy by 2030, it certainly needs to fix its own economy – something this country's current leadership is unlikely to attain*¹ (TheGuardian, 18.01.2013 (GB)).

В начале прогностического контекста декларируются возможность и способность России стать лидером на европейском экономическом рынке (*It's not to say that Russia isn't able to become a leader*): путь к «светлому» будущему лежит через экономический рост и интеграцию в торговый и инвестиционный рынок Европы. Выражение *to be able* моделирует ситуацию, в которой государство в конкретный момент времени обладает возможностями, достаточным влиянием, средствами и ресурсами, чтобы занять лидерские позиции². Территориальные размеры, геополитическое положение Российского государства, его природно-ресурсный потенциал и человеческий капитал являются теми ресурсами, которые могут обеспечить ей светлое будущее. Хронографические указатели фиксируют определенные даты на оси времени, задавая светлому будущему пределы (*by 2030, into 2050, by 2030*).

¹ Совсем не значит, что Россия не сможет стать лидером. Крупнейший производитель нефти в мире, с ВВП (ППС) чуть ниже Германии в 2011 г., Россия кажется кандидатом на место ведущей экономики Европы к 2030 г., которой она может остаться до 2050 г. Но это возможно только в случае, если делать прогноз, основанный на утопии, предполагающий, что жесткий экономический курс, а не методы ведения политики, управляют этими холодными неприветливыми землями. Внутренняя политика России устроена так, чтобы сдерживать ее экономическое развитие. Россия, хотя и является кандидатом на место ведущей экономики в Европе, судя по росту ее ППС, по-прежнему остается страной, которая может сделать непредсказуемый поворот и никогда не найти путь к европейскому экономическому лидерству, невзирая на имеющиеся в ее распоряжении запасы нефти и газа, стратегическое местоположение и любые другие преимущества, которые у нее могут быть. Если Россия собирается стать ведущей европейской экономики к 2030 г., ей непременно нужно отрегулировать собственную экономику, что вряд ли сможет добиться нынешнее руководство страны.

² *to be able to* – to have the ability to do something or the possibility of doing something [22]; to have sufficient power, skill, or resources to accomplish an object; used to say that the quality or condition of something makes something possible [20].

С одной стороны, введение вспомогательного глагола в утвердительное повествовательное предложение (*Russia does seem like a candidate to become Europe's leading economy*) нацелено на акцентирование возможности России стать лидером в европейском экономическом пространстве, с другой стороны, в смысловом глаголе *to seem*¹ заложены неуверенность, отсутствие убежденности в истинности сообщаемого.

Утопичность светлого будущего России (*that's only if you make a prognosis base don't he utopia*), его «условность» поддерживаются введением в прогностический контекст союза и предлога с уступительным значением (*although a candidate to become Europe's leading economy; regardless of its proven oil and gas reserves, strategic location or any other benefits it might have*), которые констатируют противоречие между настоящей ситуацией и будущим положением дел, их несоответствие друг другу: хотя Россия и является кандидатом на европейское лидерство (a candidate – a person who meets all the requirements for something [20]), принимая во внимание рост ВВП, в настоящем она до сих пор остается непредсказуемой и вряд ли найдет путь к европейскому лидерству, невзирая на ее соответствие требованиям, предъявляемым к такого рода кандидатам: нефтегазовым запасам, стратегическому положению и иным преимуществам, которые у нее могут оказаться. Употребление в составе глагольного модального сказуемого глагола *might* в значении предположения с оттенком неуверенности, ставит под сомнение возможности и ресурсы государства, которые не оспаривались при концептуализации будущего в начале прогностического контекста (*its proven oil and gas reserves, strategic location or any other benefits it might have*).

Использование футурально-модальной конструкции «to be unlikely» (*this country's current leadership is unlikely to attain*), имеющей значение маловероятного, неправдоподобного предположения, характеризует современное правительство России как беспомощное, неспособное стабилизировать экономическую ситуацию внутри страны, которая отбрасывает государство в прошлое (*Russia's interior policy is almost designed to keep its economy back*), и, следовательно, переносит наступление светлого будущего, связанного с экономическим господством в Европе, на неопределенный срок.

Проблематичность, невозможность экономического лидерства России в Европе акцентируется использованием конструкции «to be likely» в значении «предположения, граничащего с уверенностью», «будущего действия с большой степенью вероятности» в сочетании с расщепленным инфинитивом (*Russia is likely to never find a path to Europe an economic leadership*). Е.М. Попкова отмечает, что в английском языке разорванная инфинитивная конструкция выполняет некоторые функции, которые не могут быть выполнены обычными «нерасщепленными» маркированными инфинитивными оборотами [21. С. 50]. В рассматриваемом контексте постановка наречия *never* между инфинитивом и его маркером используется для создания эмпазы, в целях особого подчеркивания значения употребляемого наречия: как бы Россия ни старалась, какими бы талантами, ресурсами и капиталом ни обла-

¹ to seem – to appear to be something or to do something; to give the impression of being [20, 22]; казаться.

дала, ей никогда не стать ведущей державой в европейском экономическом пространстве.

Россия воспринимается Европой, скорее, как часть политического антуража, с которой придется иметь дело, нежели как равноправный партнер и тем более государство, претендующее на лидерские позиции в Европе. Маркером чуждости в анализируемом прогностическом контексте выступает метафорическое сочетание *wintery lands*, в котором атрибутивное прилагательное *wintery* употребляется не столько в своем прямом значении, описывая особенности климатических условий в России¹, сколько нацеливает на восприятие страны как чужеродной Европе по своей культуре, системе ценностей, поведению и представлениям².

Метафора *wintery lands* транслирует прагматические смыслы, сходные со смыслами, типичными для британского лингвопрогнозного сценария ретроспективного среза (северный медведь, северный колосс, ледяная глыба), символизируя холод, заморозки, лед, который сковывает реки, не позволяя воде течь свободно; точно так же и политико-экономическая ситуация современной России мешает свободному движению страны вперед, в светлое будущее, к интеграции в европейский мир, равноправному партнерству, не говоря о возможности лидерства в Европе.

Рассмотренный прогностический контекст в полной мере иллюстрирует моделирование «условной» светлой альтернативы будущего России, заявленной в его абсолютном начале, в которую эксплицитно и имплицитно встроен диаметрально противоположный, мрачный вариант будущего.

Таким образом, междискурсивным сходством современных лингвопрогнозных сценариев будущего России, созданных на основе анализа отечественного, американского и британского политических дискурсов, является условность образа «светлого» будущего, преобладание стертых метафор над образными в моделировании светлого полюса будущего, неметафорических прогностических контекстов над метафорическими. Тем не менее проведенный анализ прогностических текстов доказывает ценностную ядерность метафор (как образных, так и стертых) в содержательно-смысловом пространстве прогноза. Метафора задает направленность прогностического текста / контекста в «светлом» или в «мрачном» ключе, организуя текст / контекст, выступая его конституирующим элементом, связывая разноплановые лингвистические средства выражения категории прогностичности, устанавливая функциональные связи между ними, скрепляя их в единое концептуальное целое. Метафора обладает способностью к текстообразованию: она выстраивает единую смысловую нить прогностического текста / контекста, на которую «нанизываются» частные смыслы, формируемые иными лингвистическими средствами.

¹ *wintery* – relating to, happening during, or typical of winter [19]; weathered by or as if by winter [22]; зимний.

² *wintery* – not cheerful, unfriendly [22]; унылый, неприятный, враждебный.

Литература

1. Farge A. Penser et définir l'événement en histoire. Approche des situations et des acteurs sociaux // *Terrain*. 2002. № 38. P. 69–78.
2. Солопова О.А. Лингвополитическая прогностика: сопоставительное исследование моделей будущего России в политических дискурсах России, США и Великобритании XIX в. (1855–1881) и XXI в. (2000–2014): дис. ... д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2016. 606 с.
3. Базылев В.Н. Предвосхищение и язык // Предвосхищение и язык: материалы Всерос. науч. конф., Москва, сентябрь 2012 г. М., 2012. С. 9–50.
4. Даннеберг Л. Смысл и бессмысленность истории метафор // История понятий, история дискурса, история метафор: сб. статей / под ред. Х.Э. Бедекера; пер. с нем. М., 2010. С. 189–297.
5. Шапошников В.Н. Логика опережающего отображения в системе русского языка // Предвосхищение и язык: материалы Всерос. науч. конф., Москва, сентябрь 2012 г. М., 2012. С. 287–306.
6. Judge A. Future coping strategies beyond the constraints of proprietary metaphors, 1992 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.laetusinpraesens.org>. (дата обращения: 12.05.2005).
7. Электронный фонд национальной библиотеки [Электронный ресурс]. URL: <http://leb.nl.ru>
8. Top US Newspapers on the Internet: Online Editions [Электронный ресурс]. URL: <http://www.thebigproject.co.uk/USNewspapers>
9. UK Directory of Newspapers: UK Daily Newspaper, Online Newspapers & Magazines List [Электронный ресурс]. URL: <http://www.free-onlinenewspapers.com/uk-newspapers-online.html>
10. UK Newspapers: national, local, daily, weekly, plus major magazines & portals [Электронный ресурс]. URL: <http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm>
11. US Newspapers: US Newspaper List [Электронный ресурс]. URL: <http://www.usnpl.com>
12. US NewspapersOnline [Электронный ресурс]. URL: <http://www.onlinenewspapers.com/Top50/Top50-CurrentUS.htm>
13. Минаев М.В. Американо-британские отношения в начале XXI века: автореф. дис. ... канд. политол. наук. М., 2008. 33 с.
14. Кондратьева О.Н. Метафорическое моделирование концепта «душа» в древнерусской лингвокультуре / под ред. М.В. Пименовой. М.: Перо, 2014. 188 с.
15. Лассан Э. О соотношении концепта «дом» с другими концептами в текстах русской культуры // Текст: узоры ковра. Ставрополь, 1999. Вып. 4, ч. 1. С. 103–105.
16. Стоянова Е.В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации / Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2013. 276 с.
17. Венгеров А.Б. Политическое пространство и политическое время (опыт структурирования понятий) // Общественные науки и современность. 1992. № 6. С. 49–63.
18. Андреев А.Р. Последний канцлер Российской империи. Александр Михайлович Горчаков: Документальное жизнеописание. М.: Белый волк: Крафт: ГУП «Облиздат», 1999. 150 с.
19. Турбина О.А. Природа эмотивного синтаксиса и его категории // Вестн. Юж.-Урал. гос. ун-та. Сер. Лингвистика. 2013. Т. 10? № 2. С. 4–9.
20. Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language. N.Y.: Gramercy books, 1996. 2256 p.
21. Попкова Е.М. Функции расщепленного инфинитива на фразематическом и пропозиционном уровнях языка // Вopr. филол. наук. 2009. № 6. С. 46–50.
22. Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 1852 p.

METAPHOR IN MODELING THE FUTURE: THE BEST-CASE SCENARIO (BASED ON POLITICAL DISCOURSES OF RUSSIA, THE USA AND GREAT BRITAIN, THE 21ST CENTURY)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 46. 55–70. DOI: 10.17223/19986645/46/5

Olga A. Solopova, South Ural State University (Chelyabinsk, Russian Federation). E-mail: solopovaolga@yandex.ru

Keywords: linguistic political prognostics, political discourse, future, prognosticating political text, best-case scenario, metaphor.

Nowadays the problem of the future has merged with an utmost urgency. In the world of forecasts the object of the analysis is political predictions, with the political system and political processes being its main targets.

Linguistic political prognostics is a new synthesis of theories and conceptions of the future proposed in future studies, political science and cognitive linguistics. The paper presents a piece of the author's approach to studying models of Russia's future in contemporary Russian, American and British political discourses with the help of methods and tools of linguistic political prognostics. The material for the analysis comprises 3000 contexts in each of the three discourses. Methods used for its collecting are continuous and representative sampling. The scope of the present research is political texts of Russian, American and British mass media. The period analyzed is 2000–2014. The synchronic analysis allows both the author and the audience to look through the text at the part of the "present reality" that lies behind this text and at the model of the future constructed in it.

Any scenario describes two alternative futures, the best-case scenario and the worst-case scenario. The paper briefly describes the best-case scenarios of Russia's future in Russian, American and British discourses and most frequent types of prognosticating political texts depicting best-casescenarios in the three discourses.

The paper deals with the peculiarities of Russia's future representation, as well as with the general activity of metaphorical units (correlation of metaphorical and non-metaphorical verbalization of Russia's future), correlation of "common" and "bright" metaphors, the number of metaphorical models fixed in this or that discourse, peculiarities of dominant metaphorical models portraying Russia's future as HOME, PATH, INANIMATE NATURE, as well as orientational metaphors in the political discourses of Russia, the United States and Great Britain.

The author comes to a conclusion that in political discourses of the three countries the best-case scenario is quite of an occasional character. The best-case variant of the future is dim and vague. It is primarily realised within non-metaphorical contexts or with the help of "common" metaphors.

The author pays special attention to the predictive potential of political metaphors and shows how the political metaphor organises the prognosticating political text, specifies its direction and focuses on the best-end scenario. The metaphor functions as a constitutive element of the forecast, connects its parts and linguistic components (tense and aspect forms of notional verbs, modal verbs and expressions, rhetorical questions, intertexts, means of emotive syntax, etc), incorporates them into an organic unity.

References

1. Farge, A. (2002) Penser et définir l'événement en histoire. Approche des situations et des acteurs sociaux [Thinking and defining the event in history. Approaches to situations and social acts]. *Terrain*. 38. pp. 69–78.
2. Solopova, O.A. (2016) *Lingvopoliticheskaya prognostika: sopostavitel'noe issledovanie modeley budushchego Rossii v politicheskikh diskursakh Rossii, SShA i Velikobritanii XIX v. (1855–1881) i XXI v. (2000–2014)* [Linguopolitical prognostication: a comparative study of models of the future of Russia in the political discourses of Russia, the United States and Britain of the 19th century. (1855–1881) and the 21st century. (2000–2014)]. Philology Dr. Diss. Ekaterinburg.
3. Bazylev, V.N. (2012) [Anticipation and language]. *Predvoskhishchenie i yazyk* [Anticipation and language]. Proceedings of the V all-Russian conference. Moscow. September 2012. Moscow: Modern University for the Humanities. pp. 9–50. (In Russian)
4. Danneberg, L. (2010) Smysl i bessmyslennost' istorii metafor [The meaning and meaninglessness of the history of metaphors]. Translated from German. In: Bedeker, Kh.E. (ed.) *Istoriya ponyatiy, istoriya diskursa, istoriya metafor* [History of concepts, the history of discourse, the history of metaphors]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
5. Shaposhnikov, V.N. (2012) [Logic of advanced reflection in the system of the Russian language]. *Predvoskhishchenie i yazyk* [Anticipation and language]. Proceedings of the V all-Russian conference. Moscow. September 2012. Moscow: Modern University for the Humanities. pp. 287–306. (In Russian)
6. Judge, A. (1992) *Future coping strategies beyond the constraints of proprietary metaphors*. [Online] Available from: <http://www.laetusinpraesens.org>. (Accessed: 12th May 2005).
7. Electronic Fund of the National Library. (n.d.). [Online] Available from: <http://leb.nlr.ru>. (In Russian)

8. Top US Newspapers on the Internet: Online Editions. (n.d.). [Online] Available from: <http://www.thebigproject.co.uk/USNewspapers>.
9. UK Directory of Newspapers. (n.d.) *UK Daily Newspaper, Online Newspapers & Magazines List*. [Online] Available from: <http://www.free-onlinenewspapers.com/uk-newspapers-online.html>.
10. *UK Newspapers: national, local, daily, weekly, plus major magazines & portals*. (n.d.). [Online] Available from: <http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm>.
11. US Newspapers. (n.d.) *US Newspaper List*. [Online] Available from: <http://www.usnpl.com>.
12. *US Newspapers Online*. (n.d.) [Online] Available from: <http://www.onlinenewspapers.com/Top50/Top50-CurrentUS.htm>.
13. Minaev, M.V. (2008) *Amerikano-britanskie otnosheniya v nachale XXI veka* [American-British relations at the beginning of the 21st century]. Abstract of Political Science Cand. Diss. Moscow.
14. Kondrat'eva, O.N. (2014) *Metaforicheskoe modelirovanie kontsepta "dusha" v drevnerusskoy lingvokul'ture* [Metaphorical modeling of the concept "soul" in Old Russian linguoculture]. Moscow: Izd-vo Pero.
15. Lissan, E. (1999) O sootnoshenii kontsepta "dom" s drugimi kontseptami v tekstakh russkoy kul'tury [On the relationship between the concept "house" and other concepts in the texts of Russian culture]. *Tekst: uzory kovra*. 4:1. pp. 103–105.
16. Stoyanova, E.V. (2013) *Metafora skvoz' prizmu lingvokul'urnoy situatsii* [Metaphor in the light of the linguistic and cultural situation]. Shumen: UI "Episkop Konstantin Preslavski".
17. Vengerov, A.B. (1992) Politicheskoe prostranstvo i politicheskoe vremya (opyt strukturirovaniya ponyatiy) [Political space and political time (experience of structuring the concepts)]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*. 6. pp. 49–63.
18. Andreev, A.R. (1999) *Posledniy kantsler Rossiyskoy imperii. Aleksandr Mikhaylovich Gorchakov. Dokumental'noe zhizneopisanie* [The last Chancellor of the Russian Empire. Alexander Mikhailovich Gorchakov. Documentary biography]. Moscow: Belyy volk, Oblizdat.
19. Turbina, O.A. (2013) Priroda emotivnogo sintaksisa i ego kategorii [The nature of the emotional syntax and its categories]. *Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gos. un-ta. Ser. Lingvistika*. 10:2. pp. 4–9.
20. Gramercy Books. (1996) *Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language*. New York: Gramercy Books.
21. Popkova, E.M. (2009) Funktsii rasshcheplennogo infinitiva na frazematicheskom i propozematičeskom urovnyakh yazyka [Functions of the split infinitive on the phrasematic and propozematičeskom levels of the language]. *Voprosy filologicheskikh nauk*. 6. pp. 46–50.
22. CUP. (2009) *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*. Cambridge: Cambridge University Press.

УДК 811.111'373

DOI: 10.17223/19986645/46/6

Т.М. Шеховцева, Е.А. Камышанченко

СТРУКТУРИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА *СИЛА* ПО АНТРОПОМОРФНОЙ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

В статье рассматриваются теоретические и методологические основы теории концептуальной метафоры, получившей распространение в мировой науке и нашедшей многостороннее применение в практических исследованиях. Целью работы является анализ метафорической репрезентации концепта СИЛА в современном английском языке. В фокусе внимания находится антропоморфная метафорическая модель, выделенная на основе анализа сочетаемости субстантива, называющего концепт, и его синонимов с конкретными предикатами.

Ключевые слова: концепт, концептуальная метафора, метафорическая модель, антропоморфный, лексическая сочетаемость.

В лингвистической науке проблема метафоры – и как процесса, создающего новые значения языковых выражений в ходе их переосмысления, и как уже готового метафорического значения – рассматривалась издавна и всегда скорее как стилистическое средство или художественный прием, реже – как способ создания языковой картины мира, возникающей в результате когнитивного манипулирования уже имеющимися в языке значениями с целью создания новых концептов, особенно для тех сфер отражения действительности, которые не даны в непосредственном ощущении.

Современные исследования метафоры основываются на одной фундаментальной идее, идущей еще от Аристотеля, – идее метафорического переноса. Как хорошо известно, Аристотель утверждал, что метафора – это имя, перенесенное с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии. «Детализация этой идеи – что и как переносится – лежит в основе многочисленных подходов к изучению метафоры» [1. С. 135].

Анализ теоретического осмысления метафоры свидетельствует о наличии большого числа конкурирующих и несоизмеримых теорий. Спектр возможных подходов к анализу метафоры в рамках научных парадигм XX в. хорошо отражает сборник «Теория метафоры» под редакцией Н.Д. Арутюновой [2]. Интересен также обзор теории метафоры В.В. Петрова, выделившего два основных направления в изучении метафоры: семантическое, представленное М. Блэком, Дж. Серлем, Д. Ротбартом, Э.Ф. Киттэй, и когнитивное, основоположниками которого являются Дж. Лакофф и М. Джонсон [1]. Сравнение точек зрения упомянутых выше ученых позволяет заключить, что в целом когнитивное направление рассматривает метафору как перенос знаний из одной содержательной области в другую, тогда как представители семантического направления считают, что в процессе метафоризации происходит взаимодействие двух понятий, принадлежащих к разным семантическим по-

лям, а метафора есть, по сути, движение лексических единиц между семантическими полями.

Мы придерживаемся определения, выработанного в рамках лингвистических исследований когнитивного направления, где метафору принято трактовать как одну из основных ментальных операций, как способ познания, категоризации, концептуализации, оценки и объяснения мира. Человек не только выражает свои мысли при помощи метафор, но и мыслит метафорами, создает с их помощью тот мир, в котором живет, а также стремится в процессе коммуникативной деятельности преобразовать существующую в сознании адресата языковую картину мира, ввести новую категоризацию в представление хорошо известных феноменов [3. С. 54–56]. Подобную мысль развивает и Э. МакКормак в своей «Когнитивной теории метафоры», где он пишет, что метафоры функционируют как когнитивные процессы, с помощью которых мы углубляем наши представления о мире и создаем новые гипотезы [4. С. 360].

Наблюдения за функционированием метафор признаются важным источником данных о функционировании человеческого разума [5].

На феномен метафоричности мышления обращали внимание Д. Вико, Ф. Ницше, А. Ричардс, М. Бирдсли, Дж. Джейнс, Х. Ортега-и-Гассет, Э. МакКормак, П. Рикер, Э. Кассирер, М. Блэк, М. Эриксон и другие исследователи (работы многих из них представлены в упомянутом выше сборнике «Теория метафоры» [2]). Идеи этих ученых, безусловно, способствовали становлению когнитивного подхода к метафоре, однако в фокусе большинства современных работ по теории и практике изучения метафоры лежит ставшее классическим в этой области исследование Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем». В данном труде американские ученые разрабатывают понятие концептуальной метафоры, под которой понимается схема, унифицированная когнитивная структура, соединяющая ментальные репрезентации с чувственной и опытной основой, в формировании которой существенную роль играют предшествующий опыт человека и культурная среда, в которой он живет. «Осмысление нашего опыта в терминах объектов и веществ позволяет нам вычленять некоторые части нашего опыта и трактовать их как дискретные сущности или вещества некоторого единого типа. Мы можем ссылаться на них, объединять их в категории, классифицировать их и определять их количество, тем самым мы можем рассуждать о них» [6. С. 407].

В основе метафоризации, согласно Дж. Лакоффу и М. Джонсону, лежит процесс взаимодействия между структурами знаний двух концептуальных доменов – сферы-источника (source-domain) и сферы-мишени (target-domain). В результате однонаправленной метафорической проекции (metaphorical mapping) сформировавшиеся в результате опыта взаимодействия человека с окружающим миром элементы сферы-источника структурируют менее понятную сферу-мишень, что составляет сущность когнитивного потенциала метафоры. Базовым источником знаний, составляющих концептуальные домены, послужил опыт непосредственного взаимодействия человека с окружающим миром, причем диахронически первичным является физический опыт, организующий категоризацию действительности в виде простых ког-

нитивных структур – «схем образов» [7. С. 54]. Авторы утверждают, что концептуальная система человека содержит тысячи конвенциональных метафорических схем, «встроенных» в обыденное мышление и являющихся неотъемлемой частью культурной парадигмы носителей языка [7]. Таким образом, заслуга Дж. Лакоффа и М. Джонсона состоит в эксплицировании того обстоятельства, что метафора не ограничивается сферой языка, как это ранее считалось, но распространяется и на сферу мышления, поскольку, как поясняет И.М. Кобозева, «переносу подвергается не изолированное имя (с присущим ему прямым номинативным значением), а целостная концептуальная структура (схема, фрейм, модель, сценарий), активируемая некоторым словом (фокусом метафоры) в сознании носителя языка благодаря конвенциональной связи данного слова с данной конвенциональной структурой» [8].

К аналогичному выводу приходит и А.П. Чудинов, по мнению которого своеобразие концептуальной метафоры состоит в том, что в ее основе «лежат не значения слов и не объективно существующие категории, а сформировавшиеся в сознании человека концепты» [5. С. 52].

Метафорической концептуализации подвергаются понятия абстрактные. Эту особенность отмечают все без исключения исследователи концептуальной метафоры. Например, С.Г. Воркачев пишет, что концепты со сложной, неоднозначной структурой, отражающие в сознании человека некие философские, психологические, социальные категории (причем концепт СИЛА в равной мере можно отнести к каждой из них), зачастую подвергаются метафоризации, поскольку она позволяет «воплотить в чувственном образе бестелесную и труднопостижимую абстракцию» [9. С. 127]. Н.К. Рябцева называет это явление «принципом наглядности», который, по ее мнению, заключается в «опредмечивании» непредметных сущностей – событийных, психологических, ментальных и социальных, в их способе описания по образу и подобию (восприятия) предметного мира. Данный процесс протекает в двух направлениях: окружающий человека мир «аксиологизируется, символизируется и психологизируется, а внутренний мир параметризуется и объективируется» [10]. Идентичную мысль находим и у Х. Ортеги-и-Гассета, который считал, что метафора – это едва ли не единственный способ уловить и содержательно определить объекты высокой степени абстракции, поскольку метафора «удлиняет радиус действия мысли, представляя собой в области логики нечто вроде удочки или ружья» [11. С. 68].

Многообразие современных исследований по концептуальной метафоре свидетельствует, как представляется, не только о непрекращающемся, но и растущем интересе к теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Утверждение, что концептуальные метафоры охватывают всю сферу человеческого опыта и обладают значимым когнитивным потенциалом, на сегодняшний день подкрепляется многочисленными исследованиями концептуальной метафоры, проникающей в большинство сфер человеческой деятельности – политику и экономику, науку и культуру, менеджмент и рекламу, банковское дело и телекоммуникации (см., например, [12–16]). Данная теория, бесспорно, привнесла системность в описание метафоры как когнитивного механизма и продемонстрировала большой эвристический потенциал применения теории в практическом исследовании.

В целом на современном этапе можно выделить несколько взаимодействующих, дополняющих и развивающих друг друга теорий, которые формируют сложный научный прототип когнитивного подхода к исследованию метафоры: помимо классической теории концептуальной метафоры выделяются теория концептуальной интеграции (М. Turner, G. Fauconnier), дескрипторная теория метафоры (А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов), теория метафорического моделирования (А.П. Чудинов) и др.

Интерес для нас представляет теория метафорического моделирования А.П. Чудинова [5], элементы которой были использованы в настоящем исследовании. В соответствии с представлениями современной когнитивной семантики метафорическое моделирование – это отражающее национальное, социальное и личностное самосознание средство постижения, рубрикации, представления и оценки какого-либо фрагмента действительности при помощи сценариев, фреймов и слотов, относящихся к совершенно иной понятийной области. Таким образом, в качестве базовой автор рассматривает когнитивную функцию метафоры, т.е. функцию обработки и переработки информации.

Рассмотрев некоторые из существующих подходов к изучению метафоры, мы можем констатировать, что у исследователей нет единства ни по вопросу механизма метафорического переноса, ни относительно критериев выделения проецируемых семантических характеристик, ни о процедурах обработки знаний. Большинство исследователей тем не менее сходятся во мнении, что «во всякой метафоре должны быть донорская и реципиентная зоны» [17. С. 381].

Нетрудно заметить также, что существует множество терминов для обозначения концептуальной метафоры, для представления которых удобно воспользоваться обзором А.П. Чудинова: «архетип» или «метафорический архетип» (Панченко, Смирнов; Юнг), «концептуальная метафора», «базисная метафора» (Лакофф, Джонсон), «ментальная модель» (Джонсон-Лэрд), «метафорическая модель» (Баранов, Караулов), «образ-схема» (Лакофф), «парадигма образов» (Павлович), «поэтическая формула» (Кузьмина), «образ» (Илюхина), «модель регулярной многозначности» (Шмелев; Апресян; Чудинов), «метафорическое поле» (Скляревская) и др. Все эти термины имеют различную внутреннюю форму, которая акцентирует собственно лингвистический, общепсихологический, психологический или когнитивный аспекты рассматриваемого явления, отражают традиции различных научных школ и направлений [4. С. 68]. М.В. Пименова разграничивает два наиболее часто используемых в современных лингвистических разработках термина – концептуальную метафору и когнитивную метафору. По ее мнению, первый ориентирован на связь с терминами *концептуализация* и *концепт*, второй сопряжен с понятием когнитивизма [18. С. 57].

В настоящей работе используется термин Дж. Лакоффа и М. Джонсона «концептуальная метафора» (далее КМ), который позволяет разделить языковые средства выражения и лежащий в их основе когнитивный процесс, а именно понимание одного явления (или области деятельности) в терминах другого.

Итак, на основании рассмотренных выше положений, послуживших теоретической базой настоящего исследования, представим фактический материал, систематизированный с их помощью.

Целью настоящей работы является рассмотрение особенностей метафорической репрезентации концепта СИЛА в современном английском языке.

В ходе исследования были использованы следующие методы:

- метод контекстуального анализа, позволяющий выделять и уточнять концептуальные признаки на основе элементов смысла, актуализирующихся при вхождении лексем-репрезентантов в определенный контекст;
- метод когнитивной интерпретации, позволяющий моделировать концепты как единицы когнитивного сознания в опоре на полученные лингвистические данные.

Материалом исследования послужили контексты из произведений различных жанров английской и американской художественной литературы XIX–XX вв. В качестве иллюстративного материала использовались также фрагменты из английских газет («The Times», «The Sunday Times», «The Guardian») и электронного корпуса British National Corpus. Анализировались данные наиболее авторитетных англоязычных толковых словарей и тезаурусов, энциклопедических и синонимических словарей (более 20 наименований). Общее количество контекстов, послуживших объектом анализа, составило свыше 2500.

Процедура отбора лексических единиц выполнялась в рамках ономаσιологического подхода, при котором исходным пунктом служат единицы содержания, а конечным – способы формального выражения этого содержания. Поиск слов по заданным значениям в таком случае осуществляется при помощи тезаурусов и синонимических словарей. В результате работы с тезаурусом Роже нами была составлена картотека лексических средств в количестве 170 единиц, образующих семантическое пространство концепта СИЛА. От исследования были отведены единицы, принадлежащие другим семантическим группам и реализующие значение силы на функциональном уровне в определенном контекстуальном окружении, например *tolerance*, *resolute*, *talent*, *armed*, *stable*, *uncompromising* и ряд других. Не рассматривались книжная, устаревшая лексика, сленг, а также лексемы, для которых значение силы не является основным. Таким образом, концепт СИЛА представлен следующими единицами:

- в классе существительного: *brawn*, *domination*, *energy*, *force*, *forte*, *fortitude*, *influence*, *power*, *strength*, *vigour*, *violence*, *vitality*;
- в классе прилагательного: *brawny*, *burly*, *energetic*, *forceful*, *muscular*, *powerful*, *robust*, *stalwart*, *strong*, *sturdy*, *tough*, *vigorous*, *violent*, *vital*, что составляет 26 единиц.

Анализируя речевые контексты, позволяющие выделить особенности метафорической репрезентации концепта СИЛА в современном английском языке, мы используем прием, основанный на изучении сочетаемости субстантива, называемого рассматриваемый концепт, и его синонимов с конкретными предикатами. Данный прием концептуального анализа представлен в работах G. Lakoff [19], Л.О. Чернейко [20], М.В. Пименовой [21], А.П. Чудинова [5] и многих других западных и отечественных лингвистов. Ключевой

для настоящего исследования является мысль Л.О. Чернейко о том, что «выстраиваемая говорящим сочетаемость имени предопределяется его глубинным ассоциативным потенциалом, который и раскрывается исследователем, моделирующим внерациональную, сублогическую основу языкового сознания. Через сочетания абстрактного имени с вторичными предикатами умопостигаемая сущность обнаруживает присущие ей ассоциативные связи со стандартными, эталонными прототипами имен субъектов этих предикатов. Но эти связи представлены имплицитно, а потому выводятся, восстанавливаются исследователем» [20. С. 290].

Как правило, КМ упорядочиваются исследователями в более крупные разряды в зависимости от категориального статуса концепта, выступающего в качестве сферы-источника при метафорическом отображении на сферу-мишень. Ученые выделяют антропоморфную, зооморфную, натуроморфную, фитоморфную/растительную, предметную/вещную/артефактную метафорические модели концептуализации абстрактных областей знаний. Подобную дифференциацию концептуальных метафор используют многие современные лингвисты, исследующие действие этого когнитивного механизма, например М.Н. Лапшина, А.П. Чудинов, М.В. Пименова, Л.А. Шестак и др. Основываясь на данных анализа эмпирического материала, мы выделили три понятийных разряда, релевантных для данного исследования, которые обозначили как субсфера «Человек», субсфера «Природа» и субсфера «Артефакты» (термины А.П. Чудинова). Разные виды концептуальной метафоры имеют различные частотные показатели степени продуктивности. Мерой продуктивности является, во-первых, количество конвенциональных языковых выражений, кодирующих данную концептуальную метафору, а во-вторых, количество содержательных характеристик, перенесенных из области-источника на область-мишень [19. С. 496–497]. Согласно результатам контекстуального анализа наиболее продуктивными средствами объективации концепта СИЛА в английском языке являются КМ с исходной понятийной сферой «Артефакты», которые были рассмотрены нами ранее в статье [22].

Сегодня в фокусе нашего внимания находится **субсфера «Человек»**, включающая ряд интересных концептуальных метафор. Несмотря на то, что по количеству метафорических выражений субсфера «Артефакты» превосходит в нашем исследовании субсферу «Человек», антропоморфный код тем не менее выступает одним из самых плодотворных источников создания метафор. Еще Протагор заметил, что «человек есть мера всех вещей».

Впервые назначение антропоморфных образований и их логику описал Дж. Вико, который первым указал на особый культурный статус метафоры, на ее роль в познании нового человеком. Основным положением его теории является то, что человек в состоянии понять лишь то, что он сам сделал, что для него известно [23].

И.М. Кобозева также придает особое значение антропоморфным образованиям. По ее мнению, метафора персонификации (олицетворения) – базисная метафора, лежащая в основе присущего человеку способа постижения окружающего мира. С лингвистической точки зрения эта метафора проявляется в приписывании предикатов и модификаторов, обозначающих признаки человека, другим типам сущностей. При этом возможны следующие случаи:

- а) признаки человека приписываются другому живому существу;
- б) признаки человека приписываются неодушевленному физическим объектам;
- в) признаки человека приписываются отвлеченным или абстрактным понятиям;
- г) признаки человека приписываются человеческому сообществу [24].

Наличие антропоморфных признаков в содержании концепта СИЛА обуславливает выделение на их основе КМ **STRENGTH IS A PERSON**.

Структурирование концепта СИЛА по антропоморфной модели предполагает участие субстантивов в актах олицетворения или персонификации, т.е. их уподобления человеку, что определяет их сочетаемость с предикатами, реализующими субъекто-ориентированные признаки, прежде всего активность, волевитивность, контролируемость и одушевленность объекта [25. С. 102]. В рамках рассматриваемой субсферы наиболее частотными оказались имена *strength, force, power*, а также *violence, fortitude, vigour*.

Сила в метафорическом представлении носителей английского языка может осуществлять те же действия и пребывать в тех же состояниях, что и реальный человек, она может двигаться, руководить, имеет лицо и характер. Тем не менее, как показывает анализ, лексемы-репрезентанты концепта СИЛА в рамках субсферы «Человек» сочетаются преимущественно с глаголами, обозначающими физическую активность. Примеров, иллюстрирующих сочетаемость лексем-репрезентантов с глаголами ментальной активности, зафиксировано меньше. Лексемы, обозначающие эмоциональное состояние, в проанализированном нами эмпирическом материале отсутствуют. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что сила в сознании носителей языка концептуализируется как феномен, основной чертой которого является динамизм. Лексемы, вербализующие концепт СИЛА, достаточно широко употребляются в роли субъектов-агентов в сочетании с предикатами самостоятельного движения:

(1) *He made no moan, for **his strength was all gone**, and with it all heart and all hope* (Ch. Dickens. *Oliver Twist or the parish boy's progress*).

(2) *I wish to see if my **power is gone*** (H. MacGrath. *Arms and the Woman*).

(3) *In rugby, he believes, your **strength comes** from the support of those around you, on and off the field* («The Times»).

(4) *Yet in the critical days and months after the Maxwell crisis Stott's **strength of character** probably **reached its peak*** (British National Corpus).

(5) *The **violence reached a peak** in August and September and threatened to disrupt the ANC-government talks* (British National Corpus).

Употребление сочетания *to reach one's peak* имплицитно подразумевает движение вверх, подразумеваемая наивысшая точка развития. Здесь, как представляется, уместно привести метафору, выделенную Дж. Лакоффом и М. Джонсоном: **MORE IS UP**. В данном случае структурное упорядочивание одного понятия в терминах другого отсутствует, однако есть организация целой системы, понятий по образцу некоторой другой системы. Такие случаи ученые называют ориентационными метафорами, так как большинство подобных понятий связано с пространственной ориентацией, с противопоставлениями типа «верх – низ», «внутри – снаружи», «передняя сторона – задняя сторона»,

«глубокий – мелкий», «центральный – периферийный». Подобные ориентационные противопоставления проистекают из того, что наше тело обладает определенными свойствами и функционирует определенным образом в окружающем нас физическом мире [6. С. 396].

В приведенных примерах, на наш взгляд, имплицитруется максимальное развитие силы характера человека (4) либо насилия (5).

В рамках KM STRENGTH IS A PERSON выделяются соматические признаки силы – она обладает лицом (6), внешностью (7):

(6) *Violence was beginning to show its face* (J. London. *Strength of the strong*).

Лексема *face* использована для метафоризации подлинной сущности феномена насилия как крайнего проявления силы.

(7) *This is exactly analogous to the frequently **deceptive appearance of great strength of will*** (I.A. Gregory. *Gods and Fighting Men*).

Признаки характера (упрямого, дерзкого, непокорного) объективируются в следующем примере:

(8) *Liver cancer almost killed him in 2003, but these days he is a picture, if not of health, then of **gnarled and defiant fortitude*** («The Times»).

KM STRENGTH IS A PERSON включает аспект «вступать в брак», позволяющий имплицитовать идею соединения, сочетания чего-либо:

(9) *Giggs scored the decisive goal against Tottenham and produced a performance that **married experience and maturity with vim and vigour*** («The Guardian»).

Следующие антропоморфные КМ относятся, согласно М.В. Пименовой, к социальным моделям [21. С. 109]:

KM STRENGTH IS A MASTER:

(10) *I soon withdrew, for I had talked as much, and sat up as long as my present **strength would permit*** (J. Austen. *Pride and Prejudice*).

(11) *When **strength allowed** he still walked the two miles to school* («The Times»).

(12) *She was very silent, hardly opening her lips, and yet in some queer way I felt that the **great strength** of her personality **was dominating** us all* (A. Christie. *The Mysterious Affair at Styles*).

(13) *However, the degree to which the maintenance behaviour is absorbed by several people appears **to depend on the strength** of the task-oriented actors* (British National Corpus).

В контекстах (10) и (11) человек позиционируется как находящийся под контролем у своих сил (физических, психических, жизненных), поскольку именно сила позволяет или не позволяет (*to permit, to allow*) осуществлять какие-либо действия. Из примера (12) следует, что сила личности одного человека может подавлять (*to dominate*) других людей, господствовать над ними. Человек, в свою очередь, может попадать в зависимое от внешней силы положение, что иллюстрируется в примере (13) с помощью глагола *to depend on*.

KM STRENGTH IS AN OPPONENT:

(14) *Plants will grow about your roots, because your **strength** offers them so safe a prop* (Ch. Brontë. *Jane Eyre*).

(15) *If there is any doubt in their minds as to how critical the situation is, we hope that the **strength** of our views **will convince** them* (British National Corpus).

(16) *Our **strength threatens** to fail* («The Times»).

(17) *The sheer **strength** of feeling across the nation this afternoon **forced** the President of Trade and Industry to backtrack on the pit closures* (British National Corpus).

Как представляется, употребление выделенных глаголов в некоторой степени воссоздает ситуацию переговоров, участники которых прибегают как к конструктивным (*to offer, to convince*), так и к деструктивным (*to threaten, to force*) средствам для достижения своих целей.

KM STRENGTH IS AN ENEMY:

(18) *During a widely trailed press tour conducted while Mr Obama was **fighting off** the renewed **vigour** of Hillary Clinton's campaign, he repeated most of his outlandish remarks* («The Times»).

(19) *The arrival of Sharpe's creative instincts were a measure of United's **attacking strength*** (British National Corpus).

(20) *He changes slowly from messing Lennie around and playing stupid jokes on him, to treating Lennie as a friend, a companion, someone he must **protect from his own strength** and stupidity* (British National Corpus).

Как показал анализ ряда работ, абстрактные сущности нередко концептуализируются в сознании носителей языка с помощью метафоры врага в контексте преодоления, борьбы, конфликта либо, наоборот, покорности, проигрыша (например, *судьба* [20. С. 307], *идеология* [26. С. 80–81]). В наших примерах употребление фразового глагола *fight off* с лексемой *vigour* имплицитно описывает ситуацию борьбы, конструкция с причастием *attacking* воссоздает ситуацию применения силы с целью причинения вреда. Употребление глагола *to protect from* с именем *strength* профилирует КП «насилие», что также связано с метафорическим образом врага.

Интересно отметить, что в рамках субсферы «Человек» большинство примеров относятся к такому способу метафорического переноса, как метафорическая предикация. Метафорическая предикация имеет место в том случае, если в предложении в качестве предиката употребляется лексема, соотносимая с субъектом не прямо, а опосредованно, через вспомогательный субъект, обладающий в сознании носителей языка значением типового образа – носителя данной предикативной характеристики [27. С. 120]. В частности, в примерах (14, 15), (16, 17) *strength* сопоставляется с человеком на основе общности потенциальных предикативных характеристик: способностью предлагать что-либо, убеждать в чем-либо, угрожать чем-либо, принуждать. Метафорическая предикация обладает усечённой структурой, при которой эксплицитно представленные предикативные признаки «offer», «convince», «threaten», «force» актуализируются в сознании носителей языка вспомогательным метафорическим субъектом ЧЕЛОВЕК.

Как подчеркивает О.И. Глазунова, при метафорической предикации в качестве главного субъекта часто выступают именно лексемы с абстрактно-отвлеченным значением. Соотношение с конкретным образом, представленным через метафорический предикат, апеллируя к наглядно-чувственному восприятию действительности, дает возможность раскрыть абстрактное содержание понятия, поскольку метафорическая предикация обладает эвристической функцией. Отсутствие эксплицитно представленного вспомогательного субъекта в структуре метафорического переноса позволяет сделать акцент на сопоставлении предикативных значений, подчеркнуть наиболее существенные ситуативные или вневременные характеристики главного субъекта [27. С. 121].

Итак, проведенный анализ демонстрирует правомерность рассмотрения антропоморфной метафорической модели в качестве продуктивного способа концептуализации коллективных знаний о силе в современном английском языке. Рассмотренные примеры свидетельствуют о детальной структурированности рассматриваемой субсферы и о достаточно высокой частотности анализируемой модели. Мы убеждены, что изучение абстрактного концепта СИЛА было бы неполным без обращения к метафорическим средствам его репрезентации, поскольку метафоры помогают нам ввести дополнительные представления об анализируемой сущности и дать ей новую оценку.

Литература

1. Петров В.В. Метафора: от семантических представлений к когнитивному анализу // Вопр. языкознания. 1990. № 3. С. 135–146.
2. Теория метафоры: сб. ст. / вступ. ст. и сост. Н.Д. Арутюновой; общ. ред. Н.Д. Арутюновой, М.А. Журиной. М.: Прогресс, 1990. 512 с.
3. Чудинов А.П. Когнитивно-дискурсивное исследование политической метафоры // Вопр. когнитивной лингвистики. 2004. № 1. С. 91–105.
4. МакКормак Э. Когнитивная теория метафоры // Теория метафоры. М., 1990. С. 358–387.
5. Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: Когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000). Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т. 2001. 238 с.
6. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М., 1990. С. 387–415.
7. Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By*. Chicago: The University of Chicago Press, 1980. 242 p.
8. Кобозева И.М. К формальной репрезентации метафор в рамках когнитивного подхода. URL: http://www.dialog-21.ru/archive_article.asp?param=7339&y=2002&vol=6077
9. Воркачев С.Г. Счастье как лингвокультурный концепт. М.: ИТДГК «Гнозис», 2004. 236 с.
10. Рябцева Н.К. Ментальная лексика, когнитивная лингвистика и антропоцентричность языка. URL: <http://www.dialog21.ru/materials/archive.asp?id=6355&vol>
11. Оптега-у-Гассем Х. Две великие метафоры // Теория метафоры. М., 1990. С. 68–81.
12. Goshler J. Metaphors in Cognitive and neurosciences: which impact have metaphors on scientific theories and models? URL: <http://www.metaphoik.de/07/goshler.htm>
13. Lakoff G. Metaphor, Morality, and Politics, Or, Why Conservatives Have Left Liberals In the Dust. URL: <http://www.wwed.org/issues/Lakoff.html>
14. Torgny O. Metaphor – a Working Concept // Numerical Analysis and Computer Science. Stockholm: KTH, 1997.
15. Zinken J., Döring M. The Cultural Crafting of Embryonic Stem Cells: The Metaphorical Schematisation of Stem Cell Research in the Polish and French Press. URL: <http://www.metaphoik.de/08/doeringzinken.htm>
16. Будаев Э.В. Могут ли метафоры убивать?: Прагматический аспект политической метафоры // Политическая лингвистика. Вып. 20. Екатеринбург, 2006. С. 67–74.

17. Рахилина Е.В. Основные идеи когнитивной семантики // Фундаментальные направления современной американской лингвистики: сб. обзоров / под ред. А.А. Кибрика, И.М. Кобозевой, И.А. Секириной. М., 1997. 455 с.
18. Пименова М.В., Кондратьева О.Н. Концептуальные исследования. Введение: учеб. пособие. М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. 176 с.
19. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении / пер. с англ. И.Б. Шатуновского. М.: Языки славянской культуры, 2004. 792 с.
20. Чернейко Л.О. Лингво-философский анализ абстрактного имени. М.: Изд-во МГУ, 1997. 320 с.
21. Пименова М.В. Концепт сердце: Образ. Понятие. Символ. Кемерово: КемГУ, 2007. 500 с.
22. Шеховцева Т.М. Некоторые способы метафоризации концепта СИЛА в английском языке // Вестн. Челяб. гос. ун-та. Сер. Филология и искусствоведение. 2009. Вып. 31. С. 152–155.
23. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. Л.: Худож. лит., 1940. 604 с.
24. Кобозева И.М. Актуальные вопросы семантики и прагматики русского языка: курс лекций. Ростов: ЮФУ, 2007. 6 с.
25. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: курс лекций по английской филологии: учеб. пособие. Тамбов: Изд-во Тамбов. гос. ун-та им. Г.Р. Державина, 2002. 122 с.
26. Скиба М.Е. Концепт ИДЕОЛОГИЯ в американском языковом сознании: дис. ... канд. филол. наук: СПб., 2003. 187 с.
27. Глазунова О.И. Логика метафорических преобразований. СПб.: Форум, 2000. 190 с.

THE STRUCTURING OF THE CONCEPT *STRENGTH* IN ACCORDANCE WITH THE ANTHROPOMORPHIC METAPHORICAL MODEL (IN THE MODERN ENGLISH LANGUAGE)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 46. 71–83. DOI: 10.17223/19986645/46/6

Tatiana M. Shekhovtseva, Elena A. Kamyshanchenko, Belgorod State University (Belgorod, Russian Federation). E-mail: shekhovtseva@bsu.edu.ru / kamyshanchenko@bsu.edu.ru

Keywords: concept, conceptual metaphor, metaphorical model, anthropomorphic, lexical compatibility.

There are two main lines of metaphor investigation: semantic (M. Black, J. Searle, D. Rotbart, E.F. Kittay) and cognitive founded by G. Lakoff and M. Johnson. The cognitive line treats metaphor as a transfer of knowledge from one conceptual field to another whereas the representatives of the semantic line consider that the process of metaphorization implies interaction of two concepts belonging to different semantic fields, and a metaphor is a transition of lexical units between semantic fields.

The authors support the cognitive line where a metaphor is treated as one of the main mental operations, as a means of cognition, categorization and conceptualization, evaluation and explanation of the world.

In the book *Metaphors We Live By*, G. Lakoff and M. Johnson work out the notion of a conceptual metaphor which they see as a scheme, a unified cognitive structure connecting mental representations with a sensual and experimental basis formed under the influence of people's previous experience and their cultural background. Interaction between the cognitive structures of two conceptual domains – source-domain and target-domain – is the basis of metaphorization. As a result of metaphorical mapping, the elements of the source-domain, formed on the basis of a person's previous experience, structure the obscure elements of the target-domain, which is the essence of the cognitive potentiality of a metaphor.

Abstract concepts are often subject to a metaphorical conceptualization.

The aim of the present article is to consider the peculiarities of the metaphorical representation of the concept *STRENGTH* in the modern English language. The authors use the method of studying the compatibility of the lexeme-representative of the concept and its synonyms with concrete predicates.

As a rule, conceptual metaphors are arranged in larger categories. Researchers distinguish anthropomorphic, zoomorphic, phytomorphic, nature-morphic and artefact metaphorical models.

Based on the data of the factual material analysis, the authors determined three categories relevant to the research: subsphere "Person", subsphere "Nature" and subsphere "Artefacts". The attention focuses on the subsphere "Person" presented by anthropomorphic conceptual metaphors STRENGTH IS A PERSON, STRENGTH IS A MASTER, STRENGTH IS AN OPPONENT, STRENGTH IS AN ENEMY.

The structuring of the concept STRENGTH in accordance with the anthropomorphic metaphorical model implies the personification of the names *strength, force, power, violence, fortitude, vigour*, that is their likening to a person. This fact determines their compatibility with the predicates having subject-oriented features, that is activity, volition, controllability and animacy of an object.

The essence of a metaphor is understanding one kind of thing in terms of another. Specifying something as abstract as *strength* as being a person, one can comprehend a variety of experiences with nonhuman entities in terms of human motivations, characteristics and activities.

References

1. Petrov, V.V. (1990) Metafora: ot semanticheskikh predstavleniy k kognitivnomu analizu [Metaphor: from semantic representations to cognitive analysis]. *Voprosy yazykoznanija*. 3. pp. 135–146.
2. Arutyunova, N.D. & Zhurinskaya, M.A. (eds) *Teoriya metafory* [Theory of metaphor]. Moscow: Progress.
3. Chudinov, A.P. (2004) Kognitivno-diskursivnoe issledovanie politicheskoy metafory [Cognitive-discursive study of political metaphor]. *Voprosy kognitivnoy lingvistiki*. 1. pp. 91–105.
4. McCormack, E. (1990) Kognitivnaya teoriya metafory [Cognitive theory of metaphor]. Translated from English. In: Arutyunova, N.D. & Zhurinskaya, M.A. (eds) *Teoriya metafory* [Theory of metaphor]. Moscow: Progress.
5. Chudinov, A.P. (2001) *Rossiya v metaforicheskom zerkale: Kognitivnoe issledovanie politicheskoy metafory (1991-2000)* [Russia in the metaphorical mirror: Cognitive study of political metaphor (1991–2000)]. Ekaterinburg: Ural State Pedagogical University.
6. Lakoff, G. (1990) Metafor, kotorymi my zhivem [Metaphors we live by]. In: Arutyunova, N.D. & Zhurinskaya, M.A. (eds) *Teoriya metafory* [Theory of metaphor]. Moscow: Progress.
7. Lakoff, G. & Johnson, M. (1980) *Metaphors We Live By*. Chicago: The University of Chicago Press.
8. Kobozeva, I.M. (2002) *K formal'noy reprezentatsii metafor v ramkakh kognitivnogo podkhoda* [On the formal representation of metaphors within the cognitive approach]. [Online] Available from: <http://www.dialog-21.ru/en/digest/2002/articles/kobozeva/>.
9. Vorkachev, S.G. (2004) *Schast'e kak lingvokul'turnyy kontsept* [Happiness as a linguocultural concept]. Moscow: Gnozis.
10. Ryabtseva, N.K. (2000) *Mental'naya leksika, kognitivnaya lingvistika i antropotsentrichnost' yazyka* [Mental vocabulary, cognitive linguistics and anthropocentric language]. [Online] Available from: <http://www.dialog-21.ru/digest/2000/articles/ryabtseva/>.
11. Ortega y Gasset, J. (1990) Dve velikie metafory [Two great metaphors]. Translated from Spanish. In: Arutyunova, N.D. & Zhurinskaya, M.A. (eds) *Teoriya metafory* [Theory of metaphor]. Moscow: Progress.
12. Goschler, J. (2007) *Metaphors in Cognitive and neurosciences: which impact have metaphors on scientific theories and models?* [Online] Available from: <http://www.metaphoik.de/07/goschler.htm>.
13. Lakoff, G. (1995) *Metaphor, Morality, and Politics, Or, Why Conservatives Have Left Liberals In the Dust*. [Online] Available from: <http://www.wcd.org/issues/Lakoff.html>.
14. Torgny, O. (1997) *Metaphor – a Working Concept*. In: *Numerical Analysis and Computer Science*. Stockholm: KTH.
15. Zinken, J. & Döring, M. (2005) *The Cultural Crafting of Embryonic Stem Cells: The Metaphorical Schematisation of Stem Cell Research in the Polish and French Press* [Online] Available from: <http://www.metaphoik.de/08/doeringzinken.htm>.
16. Budaev, E.V. (2006) "Mogut li metafory ubivat?": Pragmaticheskiy aspekt politicheskoy metaforiki ["Can metaphors kill?": the pragmatic aspect of political metaphors]. *Politicheskaya lingvistika – Political Linguistics*. 20. pp. 67–74.
17. Rakhilina, E.V. (1997) Osnovnye idei kognitivnoy semantiki [Basic ideas of cognitive semantics]. In: Kibrik, A.A., Kobozeva, I.M. & Sekirina, I.A. (eds) *Fundamental'nye napravleniya*

sovremennoy amerikanskoy lingvistiki [Fundamental directions of modern American linguistics]. Moscow: Moscow State University.

18. Pimenova, M.V. & Kondrat'eva, O.N. (2011) *Kontseptual'nye issledovaniya. Vvedenie* [Conceptual research. Introduction]. Moscow: FLINTA: Nauka.

19. Lakoff, G. (2004) *Zhenshchiny, ogon' i opasnye veshchi: Chto kategorii yazyka govoryat nam o myshlenii* [Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind]. Translated from English by I.B. Shatunovskiy. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.

20. Cherneyko, L.O. (1997) *Lingvo-filosofskiy analiz abstraktnogo imeni* [Linguistic and philosophical analysis of the abstract name]. Moscow: Moscow State University.

21. Pimenova, M.V. (2007) *Kontsept "serdtse": Obraz. Ponyatie. Simvol* [Concept "heart": The image. The concept. The symbol]. Kemerovo: Kemerovo State University.

22. Shekhovtseva, T.M. (2009) Nekotorye sposoby metaforizatsii kontsepta SILA v angliyskom yazyke [Some ways of metaphorizing the STRENGTH concept in English]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta – CSU Bulletin*. 31. pp. 152–155.

23. Vico, J. (1940) *Osnovaniya novoy nauki ob obshchey prirode natsiy* [Foundations of a new science on the general nature of nations]. Leningrad: Khudozhestvennaya literatura.

24. Kobozeva, I.M. (2007) *Aktual'nye voprosy semantiki i pragmatiki russkogo yazyka: kurs lektsiy* [Topical issues of semantics and pragmatics of the Russian language: a course of lectures]. Rostov: South Federal University.

25. Boldyrev, N.N. (2002) *Kognitivnaya semantika: kurs lektsiy po angliyskoy filologii* [Cognitive semantics: a course of lectures on English philology]. Tambov: Tambov State University.

26. Skiba, M.E. (2003) *Kontsept IDEOLOGIYa v amerikanskom yazykovom soznanii* [Concept IDEOLOGY in the American linguistic consciousness]. Philology Cand. Diss. St. Petersburg.

27. Glazunova, O.I. (2000) *Logika metaforicheskikh preobrazovaniy* [Logic of metaphorical transformations]. St. Petersburg: Forum.

УДК 81'42

DOI: 10.17223/19986645/46/7

Н.Н. Шпильная

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ КАК ДЕРИВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ГЕНЕЗИСА ДИАЛОГИЧЕСКОГО ТЕКСТА

В статье рассматривается один из деривационных механизмов генезиса диалогического текста – нейтрализация. Под нейтрализацией понимается процесс совпадения различных парадигматических вариантов диалогического текста в том или ином члене текстовой оппозиции. Результат нейтрализации – диалогический текст, представленный в речевой цепи одним из комбинаторных вариантов, совпадающим с тем или иным членом текстовой оппозиции. Обосновывается, что нейтрализация диалогических текстов обусловлена свойством асимметричного дуализма языкового знака. Ключевые слова: диалог, диалогический текст, деривация, нейтрализация, производный текст.

Статья вписывается в ряд исследований, посвященных проблеме генезиса диалогического текста. Несмотря на то, что данная проблема уже давно осознана в языкознании, она, к сожалению, не имеет окончательного решения. В современной лингвистике доминирующим является подход, согласно которому динамика диалогического текста объясняется новизной высказывания, коррелирующей с функциональной позицией адресанта как участника коммуникации ([1–7] и др.). При этом полагается, что диалогический текст как комбинаторно-семантическая единица языка актуализируется в условиях асимметричной коммуникативной ситуации.

Антроподинамическая модель генезиса диалогического текста имеет ряд ограничений, связанных с тем, что в поле зрения лингвистов оказывается интерактивное значение диалогического текста как речевого произведения, представленного в речевой цепи двумя и более высказываниями. Полагается, что диалогический текст есть результат согласования иллокутивных установок и общего когнитивного фона (фреймов, сценариев и пр.) носителей языка. Однако данная модель не объясняет явление диалогической цитации (термин Н.Д. Арутюновой), т.е. прагматической выводимости означаемого диалогического текста из его означающего. Онтологический статус данного явления подтверждается возможностью создания диалогического текста вследствие прагматической выводимости его означаемого из **нескольких** означающих, нейтрализующихся в «будущем» означающем этого означаемого. К примеру, реплики типа «Согласна / согласен с вами (с ними, с аудиторией) и пр.», «Не согласен / не согласна с вами (с ними, с аудиторией) и пр.», встречающиеся как в устной, так и в письменной диалогической (полилогической) коммуникации, возникают вследствие нейтрализации других высказываний, служащих объектом деривации. Как нам представляется, объяснить процесс образования подобных высказываний только согласованием иллокутивных установок носителей языка – это значит упростить процесс текстооб-

разования и роль тех механизмов, которые принимают участие в актах генезиса текста. То обстоятельство, что данные речевые высказывания обычно остаются за пределами исследовательского внимания, можно объяснить как субъективными, так и объективными факторами. С одной стороны, при объяснении процесса генезиса текста лингвисты, как правило, ограничиваются описанием реплик, связанных регрессивной связью (субъективный фактор). Иными словами, деривация текста рассматривается в отношении двух текстов, один из которых является текстом-объектом (текстом-основой), а другой – текстом-целью (производным текстом). С другой стороны, лингвисты зачастую лишены возможности фиксировать текстовые синтагмы, состоящие из нескольких речевых произведений, созданных на базе некоторого, исходного для них; особенно это касается устной речи (объективный фактор). Между тем, как представляется, само наличие явления нейтрализации доказывает, с одной стороны, факт существования языковых единиц как самостоятельных образований, выполняющих смысловозначительную (референтативную) функцию, а с другой – факт суппозиционного обеспечения синтагматических отношений в системе языка. Способность диалогического текста одновременно быть соотношенным с несколькими диалогическими текстами в речевой цепи означает, что в актах его образования принимает участие не только содержание, но и форма высказываний, служащих для них суппозицией (подробнее см. ниже).

В работах, выполненных нами ранее [9, 10], подробно обосновывается, что генезис диалогического текста есть результат актуализации деривационного **механизма диалогической цитации**, определяющего прагматический фокус выводимости означаемого диалогического текста из его означаемого (способ структурной организации диалогического текста) и опосредующего акты его производства / воспроизводства по трем моделям: модели согласования, модели контраста и модели примыкания¹. При этом полагается, что множественность моделей деривации диалогического текста как производно-прагматической единицы языка обусловлена функциональной позицией носителя языка, выступающего в актах коммуникации в статусе отвечающего, выражающего в процессе производства текста не новизну содержания, а новизну факта высказывания. В таком случае планом выражения диалогического текста является монологическое высказывание. Как следствие, модель согласования актуализирует диалогическую позицию согласования, модель контраста – диалогическую позицию несогласия и модель примыкания – нейтральную диалогическую позицию субъекта высказывания.

Однако наблюдения над генезисом и функционированием диалогического текста позволяют говорить о том, что наряду с механизмом диалогической

¹ В лингвистике уже предпринимались попытки описания текста как результата актуализации деривационных механизмов. Традиционно считается, что генезис текста обусловлен актуализацией деривационного механизма трансформации, реализуемого в процессах его контаминации и компрессии [11–13]. Однако в указанных работах генезис текста рассматривается как номинативный процесс, а сам текст – как производно-номинативная единица (монологический текст), имеющая своим референтом внеязыковой контекст и выполняющая референтативную функцию. Очевидно, что подобный подход к представлению текста не учитывает реальные условия его существования и функционирования, обусловленные его адаптированностью к ситуации диалога, предшествующей феномену языка как таковому.

цитации генезис диалогического текста может быть опосредован **механизмом нейтрализации**, определяющим выводимость означаемого диалогического текста из нескольких означающих, имеющих различный прагматический фокус. Иными словами, механизм нейтрализации обуславливает совпадение нескольких диалогических текстов, имеющих тот или иной способ структурной организации, в одном варианте, внутренняя форма которого может совпадать / не совпадать с формой исходных для него вариантов.

Как известно, явление нейтрализации было осмыслено в лингвистике в работах Н.С. Трубецкого, понимающего под нейтрализацией процесс и результат интеграции различных фонем в одном аллофоне, совпадающем с перцептивно и сигнификативно сильной позицией первого или второго члена оппозиции. Нейтрализация будет наблюдаться и в том случае, если фонемы совпадут в третьем звуке, не имеющем корреляции с указанной ранее сильной позицией фонемы. При этом показателем нейтрализации фонем является невозможность выполнения ими сигнификативных (смыслоразличительных) функций. Ср.: «Во всех этих случаях <...> звук, который появляется в позиции нейтрализации, представляет собой своего рода комбинаторный вариант как первого, так и второго члена оппозиции. Хотя такие случаи замещения архифонемы звуком, который не совпадает полностью ни с одним из членов оппозиции, весьма часты, они встречаются все же реже, чем те случаи, когда звук, выступающий в позиции нейтрализации, оказывается более или менее сходным с определенным членом оппозиции в релевантной позиции» [14].

Далее основные положения теории нейтрализации были спроецированы не только на единицы плана выражения, но и на единицы плана содержания, как следствие, становится возможным говорить о нейтрализации семантических (в том числе семантико-грамматических) оппозиций. В этом случае нередко нейтрализация рассматривается как частный случай проявления омонимии, при которой наблюдается тождество формы языковых единиц при наличии противопоставлений на уровне их содержания (набора сем). Так или иначе, говоря о нейтрализации плана выражения и / или плана содержания языковых единиц, лингвисты преимущественно рассматривают нейтрализацию тех или иных парадигматических вариантов языковой единицы, находящихся в сигнификативно слабой позиции в синтагме. К примеру, наличие явления таронимии, описываемого в лексикологии, доказывает, что актуализация лексических единиц сопровождается выбором парадигматического варианта, основанным на некоей исходной лексической единице, служащей суппозицией для воспроизводимой лексемы [15]. Совпадение в синтагматической цепи вариантов парадигматических оппозиций в одном варианте как раз и опосредуется механизмом нейтрализации, имеющим деривационную природу.

Исследование генезиса и функционирования диалогических текстов позволяет спроецировать основные положения теории нейтрализации на акты его производства / воспроизводства. Признавая дискуссионный характер положения об изоморфизме актов функционирования разноуровневых единиц языка, мы, однако, полагаем, что данный тезис отражает «объективное положение дел» в том смысле, что является не методологической установкой исследователя, а результатом, следствием анализа эмпирических данных.

Далее говоря о текстовой подсистеме языка, мы полагаем, что она образуется трехчленной привативной оппозицией, два члена которой являются маркированными, а один – немаркированным. Маркированными членами текстовой оппозиции являются диалогические тексты, воспроизводимые по моделям согласования или контраста, а немаркированным членом оппозиции является диалогический текст, производимый по модели примыкания. При этом оппозиция диалогических текстов отражает прагматико-эпидигматические отношения в системе языка. В речевой цепи наблюдается процесс комбинаторного соподчинения диалогических текстов, обусловленный парадигматическими отношениями, имеющими место в текстовой подсистеме языка. Как следствие, речевой поток можно представить как линейную последовательность диалогических текстов, образующих парадигматические варианты текстовых оппозиций по типу *модель согласования – модель контраста, модель примыкания – модель согласования, модель контраста – модель примыкания* и пр. При этом в речевой цепи текстовые оппозиции могут нейтрализоваться. Это означает, что производимый диалогический текст возникает как результат совпадения различных парадигматических вариантов текстообразовательных моделей в том или ином члене трехчленной текстовой оппозиции. Результатом нейтрализации парадигматических вариантов диалогических текстов является диалогический текст, субъект которого адресует свою диалогическую позицию субъектам предшествующих ему диалогических текстов (и, конечно, другим носителям языка, которые имеют возможность познакомиться с этим текстом). Иными словами, результатом нейтрализации может быть диалогический текст, представленный в речевой цепи одним из комбинаторных вариантов, совпадающим с тем или иным членом текстовой оппозиции.

Нейтрализация диалогических текстов связана со сменой деривационного шага, формированием нового коммуникативного замысла носителя языка. При этом смена деривационного шага, с одной стороны, приводит к нейтрализации деривационных вариантов, их конвергенции, а с другой – к формированию нового коммуникативного замысла, который воплощается в деривационных вариантах, возникающих вследствие дивергенции «нового» текста-основы (подробнее об этом см. в [10]). Механизм нейтрализации диалогических текстов различен¹. Специфика текстовой нейтрализации заключается в том, что ее результат зависит от того, какие парадигматические варианты диалогического текста становятся источником генезиса «нового» текста. Так,

¹ Особенности генезиса диалогического текста как следствия актуализации деривационного механизма нейтрализации иллюстрируются на примере анализа 202 диалогических текстов, размещенных в сети Интернет по адресу <http://news.ngs.ru/more/1253828/> и объединенных общей макротемой «Переходы в метро: гопники вместо цветов». В качестве текста-основы рассматривается текст новостной статьи «Переходы в метро: гопники вместо цветов», а диалогические тексты, представляющие собой комментарии к нему, интерпретируются как его деривационные варианты (ДВТ). При этом в исследовании каждый из ДВТ квалифицируется как самостоятельный диалогический текст (текст-цель), созданный на основе того или иного текста-основы, и в то же время как вариант диалогического текста-основы. Основное содержание текста-основы может быть представлено в форме нейтральной модусной пропозиции: *Губернатор Новосибирской области Василий Юрченко распорядился до 1 августа очистить все вестибюли новосибирского метрополитена от торговых киосков в целях обеспечения безопасности жителей города от терактов*. Все тексты приводятся с сохранением авторской орфографии и пунктуации.

с одной стороны, нейтрализации могут быть подвержены диалогические тексты, производимые по разным моделям – модели согласования, модели примыкания и модели контраста. А с другой стороны, нейтрализации могут быть подвержены однотипные диалогические тексты, т.е. диалогические тексты, производимые по одной и той же модели. Если в первом случае производимый в результате нейтрализации диалогический текст создается по модели примыкания, то во втором случае – либо по модели согласования, либо по модели контраста, либо по модели примыкания¹. Асимметричный характер распределения парадигматических вариантов диалогических текстов в позиции нейтрализации может быть объяснен свойством асимметричного дуализма языкового знака, определяющего функционирование языковых единиц. Применительно к ситуации диалога речь идет о выражении разных форм (означающих) в одном означаемом, означающее которого аналогично означающему немаркированного члена текстовой оппозиции, и о выражении одной формы в означаемом, означающее которого находится в отношениях синонимии или антонимии с означающими тех или иных членов текстовой оппозиции.

Рассмотрим примеры, иллюстрирующие процесс нейтрализации разных означающих в одном означаемом, означающее которого аналогично означающему немаркированного члена текстовой оппозиции.

ДВТ-9

хожу пешком^{гость}

10 июл 2013 00: 34

У меня глупый вопрос и 1 одна наивная надежда:

1. кто знает, деньги от аренды куда уходят? Муниципалитету или метрополитену?

2. Оставили бы киоски печати (газеты, журналы)

ДВТ-10

GLOBUS

10 июл 2013 00: 37

Будем теперь ходить поздними вечерами по пустынным длинным мрачным вестибюлям., сжимая в страхе газовый баллончик в потной ладони.. брррр..

ДВТ-11

Mytia65

10 июл 2013 00: 38

Мне нравится Юрченко – достраивает некоторые объекты городские, которые мэр не тянет, и вообще, заставил шевелиться всех подчиненных. Но с метро он перегнул, через колено решает опять, как с проездом в свое время. Киоски по одной стороне перехода не мешают безопасности, мне кажется, и нужны многим покупателям. Хотя у губернатора информации больше от фсб, а если так, то много чего надо ликвидировать в приступе очередной кампании. Я бы в другую сторону посмотрел – наоборот, стро-

¹ Тезис, согласно которому производимый в результате нейтрализации однотипных текстов диалогический текст может быть создан по модели примыкания, основан на наших рассуждениях. Анализируемый материал не позволяет подтвердить или опровергнуть данное положение.

ить подземные переходы в проблемных местах и сдавать их в аренду чтобы уменьшить расходы. Городецкому понравится, это конёк мэрии – мы вам место, а вы нам фонтан, или автовокзал (ха-ха), или деньги. Главное чтобы инвестор не бросил объект, и тогда горожане скажут спасибо за хорошую работу.

ДВТ-37

Roman_nsk

10 июл 2013 08: 26

Что такого ценного продают в переходах метро, чего нельзя купить в других местах? Зачем эти киоски в метро? С 2008 года не был в метро и мне ни разу не понадобилось туда спуститься чтобы что-то купить. Я думаю и другие люди переживут.

ДВТ-65

Манометр

10 июл 2013 09: 22

Давно пора убрать эти уродливые киоски, особенно, в переходе на Маркса. Там ходить страшно! Везде пьяные, слышен мат.

ДВТ-105

ВладЯ^{гость}

10 июл 2013 11: 07

Бредовое решение, которое не прибавит популярности губернатору, поскольку на метро все ездят и все иногда что-то да покупают: газеты, сигареты, воду, цветы итп. Я вот покупал машинки журнальные для коллекции, где их теперь ловить?

ДВТ-115

Максим гость

10 июл 2013 11: 56

Мнения разделились. Пора референдум проводить по поводу разрешения, запрещения торговли в метро. Но в некоторых узких переходах киоски реально мешают, когда людей много идет, это факт. Если уж так много сторонников запрета, то хотя бы убрать киоски из узких мест. Оставить только там, где достаточно пространства для свободного прохода в часы пик.

ДВТ-115 создан по модели примыкания, предполагающей выражение нейтральной диалогической позиции субъектом высказывания. Нейтральный модус субъекта диалогического текста обнаруживается в его желании разобраться в ситуации, предложить оптимальный вариант решения проблемной ситуации: он поддерживает как сторонников запрета торговли в метро, так и тех, кто возражает против решения губернатора. Ср.: *то хотя бы убрать киоски из узких мест. Оставить только там, где достаточно пространства для свободного прохода в часы пик.*

Диалогическая позиция пользователя адресована всем субъектам диалогических текстов, которые послужили источником генезиса анализируемого текста. При этом, как видим, последние созданы по разным моделям: модели примыкания (ДВТ-9, ДВТ-11), модели согласования (ДВТ-37, ДВТ-65) и модели контраста (ДВТ-105). Ср. с высказыванием: *Мнения разделились.*

Далее приведем примеры диалогических текстов, иллюстрирующих процесс и результат нейтрализации текстов, созданных по одной и той же модели. Как мы уже отмечали, нейтрализация одноструктурных текстов обнаруживается в совпадении их означающих в означаемом, означающее которого находится в отношениях синонимии или антонимии с означающими крайних (маркированных) членов текстовой оппозиции. При этом возможны следующие варианты реализации механизма нейтрализации в текстовой синтагме:

- 1) диалогические тексты, созданные по модели контраста, нейтрализуются в диалогическом тексте, созданном по модели согласования;
- 2) диалогические тексты, созданные по модели согласования, нейтрализуются в диалогическом тексте, созданном по модели контраста;
- 3) диалогические тексты, созданные по модели контраста, нейтрализуются в диалогическом тексте, созданном по модели контраста;
- 4) диалогические тексты, созданные по модели согласования, нейтрализуются в диалогическом тексте, созданном по модели согласования (данный вариант нейтрализации диалогических текстов мы не можем проиллюстрировать, так как он не представлен в анализируемом нами материале).

Сначала рассмотрим нейтрализацию текстов, созданных по модели контраста, в диалогическом тексте, производимом по модели согласования (1) или по модели контраста (3).

ДВТ-3

Работник Павлик

10 июл 2013 00: 17

Бред!!! Какая антитеррористическая безопасность? Наша «честно выбранная» власть готова придумать любые оправдания для подавления мелкого бизнеса! Ну кому мешали газеты, цветы, трусы и носки? Какая от них может быть опасность? Если они уйдут в торговые центры, то там они обонкротятся, т к, продавая газеты и цветы, они не заработают даже на аренду... В переходах метро, на мой взгляд, более или менее еще нормально все организовано!

ДВТ-6

Нитка гость

10 июл 2013 00: 22

А ведь так удобно было, торопишься на работу, покупаешь какую-нибудь мелочь в метро: открытку, книжку, ручку, сок, булочку, колготки и отскерить можно и ключи сделать. Губернатор в метро не ездит, ему этого не понять((Антинародное нововведение, а если еще и цены на проезд поднимутся, так вообще!

ДВТ-48

наивный

10 июл 2013 08: 53

как же власть далека о народа. поездил бы губернатор с мэром в метро, а не рассуждал бы абстрактно

ДВТ-80**Евгения**^{гость}**10 июл 2013 09: 42**

Абсолютно согласна с большинством! Вижу только минусы в отсутствии киосков в переходах:

- 1) по-быстренькому ничего не купишь, ни шоколадку, ни колготки;*
- 2) идти по пустому тоннелю очень страшно и не приятно, особенно в вечерние часы!*
- 3) люди теряют работу, деньги!*

Боже, помоги нашим властям опомниться, свернуть с этого пути!

Губернатор Юрченко! Я вас до последних событий очень уважала, но это уже чересчур!

ДВТ-96**Ёк****10 июл 2013 10: 25**

Какие пессимистичные сегодня комментаторы))) Зато места больше станет, а толкотни меньше. Шоколадку купить и в ларьке можно, круглосуточных киосков по линии метро пока хватает как и магазинов с колготками, носками, батарейками и цветами. А точки с ворованными телефонами и пиратскими дисками вообще работают благодаря серьезному недосмотру полиции, и привлекают в метрополитен все тех же гопников.

Рассмотрим ДВТ-80 и ДВТ-96. Данные деривационные варианты созданы вследствие конвергенции указанных выше ДВТ, предполагающей их нейтрализацию, т.е. совпадение в одном диалогическом тексте. Однако ДВТ-80 создан по модели согласования, а ДВТ-96 – по модели контраста. Так, субъект ДВТ-80 поддерживает тех пользователей, которые не согласны с губернатором Юрченко, а субъект ДВТ-96, наоборот, не поддерживает тех пользователей, которые не согласны с губернатором Новосибирской области. При этом исходные деривационные варианты текста и производимые в результате нейтрализации диалогические тексты вступают в антонимические отношения друг с другом.

Рассмотрев особенности нейтрализации диалогических текстов, созданных по модели контраста, охарактеризуем процесс производства диалогического текста, созданного по модели контраста и возникающего в результате нейтрализации диалогических текстов, созданных по модели согласования (2).

ДВТ-2**Антон** ^{гость}**10 июл 2013 00: 10**

Всё правильно делают. Долой барыг, ханыг и спекулянтов из метро. Иногда бывает пройти тяжело в часы пик, когда идет поток людей по переходу, а часть людей останавливается у киосков, матерю торгашей и протискиваясь.

ДВТ-34**vaz2108@ngs.ru****10 июл 2013 08: 09**

Давно пора разогнать эту всю мелкую торговлю дорогим и некачественным товаром. А то реально как в отсталых странах, по всей стране какие то киосочки, ларечки, микрорынки... Все это не украшает город.

ДВТ-108**PzVIN****10 июл 2013 11: 15**

Думаю, что большинство радующихся по поводу этого «гениального» решения гр. юрченко просто завидует работягам-предпринимателям.

ДВТ-108 создан по модели контраста, так как субъект диалогического текста не согласен с теми пользователями, которые поддерживают решение губернатора: *по поводу «гениального» решения гр. юрченко*. Иными словами, ДВТ представляет собой ответ всем пользователям, которые одобряют решение губернатора. При этом исходные деривационные варианты текста и производимый диалогический текст (ДВТ-108) вступают в антонимические отношения друг с другом, так как первые созданы по модели согласования, а последний – по модели контраста. Заметим также, что по отношению к исходному для всех них тексту нейтрализуемые ДВТ и производимый ДВТ будут являться антонимами, так как выражают разные диалогические позиции носителей языка.

Таким образом, в статье рассмотрены особенности реализации деривационного механизма нейтрализации, обуславливающего генезис и функционирование диалогических текстов, их комбинаторные чередования в речевой цепи.

В работе показано, что механизм нейтрализации диалогических текстов различен; он обусловлен свойством асимметричного дуализма языкового знака. Если нейтрализации подвержены диалогические тексты, производимые по разным моделям – модели согласования, модели примыкания и модели контраста по отношению к исходному для всех них тексту, то производимый в результате нейтрализации диалогический текст создается по модели примыкания. А если нейтрализации подвержены однотипные диалогические тексты, т.е. диалогические тексты, производимые по одной и той же модели, то в этом случае диалогический текст создается либо по модели согласования, либо по модели контраста. При этом диалогические тексты, созданные по модели контраста, могут нейтрализоваться в диалогическом тексте, созданном либо по модели согласования, либо по модели контраста, а диалогические тексты, созданные по модели согласования, могут нейтрализоваться в диалогическом тексте, созданном по модели контраста или по модели согласования (последний вариант реализации механизма нейтрализации не представлен в анализируемом материале).

Признание нейтрализации одним из деривационных механизмов генезиса диалогического текста позволяет говорить об изоморфизме актов функционирования разноуровневых единиц языка, служащих частным случаем их генезиса.

Литература

1. Падучева Е.В. Прагматические аспекты связности диалога // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1982. Т. 41, № 4. С. 305–313.
2. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. 16. С. 217–238.
3. Дейк Т.А. Когнитивные модели этнических ситуаций // Язык. Познание. Коммуникация; пер. с англ. / сост. В.В. Петрова; под ред. В.И. Герасимова; вступ. ст. Ю.Н. Караулова, В.В. Петрова. М., 1989. С. 161–189.
4. Баранов А.Н., Крейдлин Г.Е. Иллокутивное вынуждение в структуре диалога // Вопр. языкознания. 1992. № 2. С. 84–99.
5. Колокольцева Т.Н. Специфические коммуникативные единицы диалогической речи. Волгоград, 2001. 260 с.
6. Кибрик А.А. Анализ дискурса в когнитивной перспективе: дис. в виде науч. докл., составленного на основе опубликованных работ, представленная к защите на соискание ученой степени д-ра филол. наук. М., 2003. 90 с.
7. Борисова И.Н. Русский разговорный диалог: Структура и динамика. М., 2007. 320 с.
8. Арутюнова Н.Д. Диалогическая цитация (к проблеме чужой речи) // Вопр. языкознания. 1986. № 1. С. 50–64.
9. Шпильная Н.Н. Диалогическая цитация как деривационный механизм текстообразования. Производный текст как диалогический текст // Вопр. когнитивной лингвистики. 2015. № 4 (045). С. 101–112.
10. Шпильная Н.Н. Диалогический текст как компонент непрерывного деривационно-интерпретационного процесса // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2015. № 4 (36). С. 56–70.
11. Мурзин Л.Н. О деривационных механизмах текстообразования // Теоретические аспекты деривации. Пермь, 1982. С. 20–22.
12. Чувакин А.А. Деривационные отношения как тип межтекстовых отношений (к предмету текстодериватологии) // Актуальные проблемы дериватологии, мотивологии, лексикографии. Томск, 1998. С. 23–24.
13. Мельник Н.В. Деривационное функционирование русского текста: лингвоцентрический и персонцентрический аспекты: дис. ... д-ра филол. наук. Кемерово, 2011. 403 с.
14. Трубецкой Н.С. Основы фонологии. Логическая классификация смыслоразличительных оппозиций. URL: http://genhis.philol.msu.ru/article_130.shtml (дата обращения: 11.06.2016).
15. Мандрикова Г.М. Таронимия как лингвистический объект. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. 150 с.

NEUTRALISATION AS A DERIVATIONAL MECHANISM OF THE DIALOGICAL TEXT GENESIS

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 46. 84–94. DOI: 10.17223/19986645/46/7

Nadezhda N. Shpilnaya, Altai State Pedagogical University (Barnaul, Russian Federation). E-mail: venata85@mail.ru

Keywords: dialog, dialogical text, derivation, neutralisation, derivative text.

This study gives grounds to the fact that genesis of the dialogical text is mediated by neutralization of the derivational nature. Neutralization refers to the process of convergence of dialogical texts of a certain structural organization method. Neutralization of dialogical texts is performed by means of addressing a derivational option of a dialogical text to a set of derivational options and their alignment according to the terms of the recipient's image. It is attributed to the change of the derivational step, generation of a new communication concept by the native speaker which is embodied in derivational options arising from the divergence of the "new" base text. The phenomenon of neutralization of dialogical texts proves the existence of dialogical texts as independent units performing a distinctive (reference) function, on the one hand, and as a suppositive base of syntagmatic relations within the language system, on the other hand.

It is shown that dialogic texts neutralization mechanism is diverse; it is due to the asymmetric dualism property of the linguistic sign. If dialogical texts produced by different models (concord model, adjunction model, models of contrast with respect to the original text for all of them) are neutralised,

the resulting dialogical text is created by the adjunction model. If dialogical texts are exposed to the same type of neutralization (texts produced by the same model), the dialogical text is created by the concord model or by the contrast model. Dialogical texts created by the contrast model can be neutralized in a dialogical text created by concord or contrast models; dialogical texts created by the concord model can be neutralized in a dialogical text created by contrast or concord models (the latter embodiment of the neutralizing mechanism is not present in the test material).

Features of the dialogical text genesis as a result of actualization of the derivational mechanism of neutralization is exemplified by 202 dialogical texts taken from the web-site <http://news.ngs.ru/more/1253828/>. The texts are united by the common macro-topic "Underground Crosswalks: Hoodlums instead of Flower Vendors". The text of the news article "Underground Crosswalks: Hoodlums instead of Flower Vendors" is taken as the base text, while the dialogical texts that comment it are interpreted as its derivational options. Herewith, the study qualifies each derivational option of the text both as an independent dialogical text (target text) generated on the basis of the base text and as a [derivative] option of the dialogical base text at the same time.

References

1. Paducheva, E.V. (1982) Pragmatische aspekty svyaznosti dialoga [Pragmatic aspects of the connectivity of dialogue]. *Izvestiya AN SSSR. Ser. lit. i yazyka*. 41:4. pp. 305–313.
2. Grays, G.P. (1985) Logika i rechevoe obshchenie [Logic and speech communication]. *Novoe v zarubezhnoy lingvistike*. 16. pp. 217–238.
3. Dijk, T.A. (1989) Kognitivnye modeli etnicheskikh situatsiy [Cognitive models of ethnic situations]. Translated from English. In: Gerasimov, V.I. (ed.) *Yazyk. Poznanie. Kommunikatsiya* [Language. Cognition. Communication]. Moscow: Progress.
4. Baranov, A.N. & Kreydlin, G.E. (1992) Illokutivnoe vyznuzhdenie v strukture dialoga [Illocutionary compulsion in the structure of dialogue]. *Voprosy yazykoznavaniya*. 2. pp. 84–99.
5. Kolokol'tseva, T.N. (2001) *Spetsificheskie kommunikativnye edinitsy dialogicheskoy rechi* [Specific communicative units of dialogical speech]. Volgograd: Peremena.
6. Kibrik, A.A. (2003) *Analiz diskursa v kognitivnoy perspektive* [Analysis of discourse in the cognitive perspective]. Philology Dr. Diss. Moscow.
7. Borisova, I.N. (2007) *Russkiy razgovornyy dialog: Struktura i dinamika* [Russian colloquial dialogue: Structure and dynamics]. Moscow: Librokom.
8. Arutyunova, N.D. (1986) Dialogicheskaya tsitatsiya (k probleme chuzhoy rechi) [Dialogue citation (to the problem of someone else's speech)]. *Voprosy yazykoznavaniya*. 1. pp. 50–64.
9. Shpil'naya, N.N. (2015) Dialogicheskaya tsitatsiya kak derivatsionnyy mekhanizm tekstoobrazovaniya. Proizvodnyy tekst kak dialogicheskyy tekst [Dialogue citation as a derivational mechanism of text formation]. *Voprosy kognitivnoy lingvistiki*. 4 (045). pp. 101–112.
10. Shpil'naya, N.N. (2015) Dialogical text as component of the derivative interpretative process. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 4 (36). pp. 56–70. (In Russian)
11. Murzin, L.N. (1982) O derivatsionnykh mekhanizmkh tekstoobrazovaniya [On derivational mechanisms of text formation]. In: *Teoreticheskie aspekty derivatsii* [Theoretical aspects of derivation]. Perm: Perm State University.
12. Chuvakin, A.A. (1998) Derivatsionnye otnosheniya kak tip mezhtekstovykh otnosheniy (k predmetu tekstoderivatologii) [Derivational relations as a type of intertextual relations (on the subject of text-derivatology)]. *Aktual'nye problemy derivatologii, motivologii, leksikografii* [Topical issues of derivatology, motiology, lexicography]. Proceedings of the conference. Tomsk: Tomsk State University. pp. 23–24. (In Russian)
13. Mel'nik, N.V. (2011) *Derivatsionnoe funktsionirovanie russkogo teksta: lingvotsentricheskii i personotsentricheskii aspekty* [Derivational functioning of the Russian text: linguocentric and person-centric aspects]. Philology Dr. Diss. Kemerovo.
14. Trubetskoy, N.S. (2007) *Osnovy fonologii. Logicheskaya klassifikatsiya smyslorazlichitel'nykh oppozitsiy* [Fundamentals of phonology. Logical classification of meaning-differentiating oppositions]. [Online] Available from: http://genhis.phiol.msu.ru/article_130.shtml. (Accessed 11th June 2016).
15. Mandrikova, G.M. (2011) *Taronimiya kak lingvisticheskii ob"ekt* [Taronomy as a linguistic object]. Novosibirsk: Novosibirsk State Technical University.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 882

DOI: 10.17223/19986645/46/8

И.А. Айзикова

К ПРОБЛЕМЕ КОНТЕКСТА ИЕРУСАЛИМСКОГО ПРОЕКТА В.А. ЖУКОВСКОГО (ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ И РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ ПРОЗЫ 1840-х гг.)¹

На материале политической публицистики и религиозно-философской прозы В.А. Жуковского 1840-х гг. в статье рассматриваются глубинные намерения и основания его предложения освободить храм Гроба Господня и Иерусалим из-под власти турецкого султана (так называемый Иерусалимский проект писателя). Выявляются и соотносятся с интерпретацией конкретных исторических событий векторы внутренних коммуникативных интенций автора, которые породили не только поздние художественные произведения Жуковского в том или ином стиле и жанре, но и некий план конкретных действий, предлагаемый поэтом русскому царю и изложенный в личных письмах конца 1849 – начала 1850 г. великим князьям Константину Николаевичу и Александру Николаевичу. Акцент в исследовании делается на контекстах, в которых звучит данное предложение, в первую очередь устанавливается его смысловая, сущностная эквивалентность многим статьям писателя 1840-х гг., что позволяет уточнить генезис и истинное содержание и пафос проекта.

Ключевые слова: В.А. Жуковский, проза 1840-х гг., романтизм, Палестина, Иерусалим, Иерусалимский проект Жуковского.

Нам уже приходилось писать о теме Палестины в творчестве В.А. Жуковского, связывая ее, как и многие жуковскоеды, с изучением роли писателя в диалоге России с другими культурами, с осмыслением его религиозно-философских, нравственно-этических и эстетических исканий, педагогических разработок и практик [1, 2]. В последнее время в работах, посвященных В.А. Жуковскому, все чаще предпринимаются попытки осмыслить его так называемый Иерусалимский проект: предложение освободить храм Гроба Господня и Иерусалим из-под власти турецкого султана. В частности, в письме, датированном концом 1849 г., великому князю Константину Николаевичу Жуковский писал: «Иерусалим должен принадлежать христианскому миру, и рабство гроба Христова должно быть наконец уничтожено» [3. Т. 6. С. 378].

Научная рецепция этого проекта Жуковского включает в себя различные суждения, вплоть до противоположных. Так, А.В. Моторин в статье «Образ Иерусалима в русском романтизме», рассуждая о «вполне вызревшем», по его мнению, в эпоху Александра I «”ложном”, неправославном, “направлении” русского духа», под которым он имеет в виду «нарушение многовеково-

¹ Статья написана при финансовой поддержке РГНФ – совместный конкурс научных проектов РГНФ – Императорское Православное Палестинское Общество 2015 года, грант № 15-64-01001.

го обычая православных: относиться к земному Иерусалиму (а не его святыням) сдержанно-отстраненно», утверждает, что «в плену этой идеологии оказался и В.А. Жуковский», связывая этот «неправославный уклон в его взглядах» с «воспитанием в масонском духе». Подтверждением такого мнения в публикации выступает письмо к цесаревичу Александру Николаевичу, датированное 4 (16) января 1850 г., в котором излагаются те же идеи по поводу освобождения Иерусалима, что и в указанном нами выше письме великому князю Константину Николаевичу. Как считает А.В. Моторин, в этих письмах поэт «развивает мысль о мирном по видимости и насильственном по сути изъятии Иерусалима из-под власти Турции и принятии его под некое экуменическое управление христианских государств Европы. <...> Интересно, что цесаревич (имеется в виду великий князь Александр Николаевич. – И.А.) ... не поддался этой “прелести”, несмотря на неблагоприятное, с православной точки зрения, воспитание, полученное под присмотром Жуковского» [4. С. 76, 78].

Основываясь на тех же письмах поэта великим князьям, Т. Гузаиров в своей диссертации утверждает обратное: «Жуковский, однако, был убежден: Иерусалим должен перейти под контроль христианской европейской армии исключительно мирным, *бескровным* путем. Поэт подчеркивал – необходимо избежать войны с Османской империей» [5. С. 103]. Пытаясь ответить на вопрос о том, «каким образом Жуковский в итоге пришел к предложению освободить... Иерусалим и храм Гроба Господня», Т. Гузаиров рассуждает о противопоставлении поэтом «надвигающемуся хаосу христианской веры», об «общественно-политических событиях 1840-х годов», которые «разрушили границу между двумя планами: сон “о земле далекой” мог оказаться явью, предсказания и поэзия – историей». Таким образом, в этом проекте поэта-романтика Т. Гузаиров склонен видеть, скорее, его «бегство из реального в идеальный мир», к чему Жуковского подтолкнули «усиливающийся общественно-политический кризис в Европе, тревожные мысли о своем будущем» [5. С. 106–107].

К.И. Дубовенко рассматривает в качестве «почвы, подготовившей рождение Иерусалимского проекта», изучение поэтом основ религии еврейского народа иудаизма, «проникновение в самую ее суть», что доказывается характером его чтения немецкой духовно-назидательной литературы и отражением ее рецепции в автографах и маргиналиях на страницах прочитанных книг, а также в записных книжках писателя 1840-х гг. [6. С. 93].

Как видим, вопрос о природе и сути Иерусалимского проекта Жуковского активно обсуждается в современной науке. В предлагаемой статье обратимся под этим углом зрения к анализу поздней прозы писателя, к его политической публицистике и религиозно-философским статьям, и попытаемся выявить в них и соотнести с интерпретацией конкретных исторических событий те векторы авторского сознания Жуковского, его внутреннего коммуникативного намерения, которые породили не только его поздние художественные произведения в том или ином стиле и жанре, сегодня воспринимаемые как итог творчества, но и план действий (Иерусалимский проект), предлагаемый русскому царю тоже как некий итог социально-исторических, духовных, философских, религиозных поисков писателя, изложенный в письмах конца 1849 –

начала 1850 г. великим князьям Константину Николаевичу и Александру Николаевичу.

Уже переживший кризис, связанный с переосмыслением немецкой идеалистической философии, и руководствуясь, как и многие передовые люди 1830–1840-х гг., «поиском высокого реального дела», о чем писала Ф.З. Канунова в монографии «Нравственно-эстетические искания русского романтизма и религия» [7. С. 7], Жуковский задумывает проект, осуществлением которого, по его мнению, была бы решена задача «органического соединения реального, действительного и идеального», «мышления и бытия в великом синтезе», задача восстановления органической, изначальной целостности бытия на всех уровнях его воплощения: «Оставайся и Сирия и с нею вся Палестина во власти турков; но место, где совершилось спасение человечества, место, освященное земною жизнью и искупительною смертью Спасителя, не должно оставаться во власти врагов его. Если мы христиане в настоящем значении этого слова, то для нас гроб Спасителя не есть один исторический памятник: это высочайшая человеческая святыня, это видимый пункт на земле, где наша жизнь соединяется, посреди *временного*, с *небесным* и *вечным*. С этого пункта началось обновление человечества, падшего, но искупленного; здесь совершилось примирение с ним божества и отворилась ему дверь для вступления в обитель отца всевышнего (и это совершилось не для одних христиан, но и для всего человеческого рода). <...> Как же изъяснить то равнодушие, с каким Европа, вся христианская и столь могущественная своим общественным развитием, смотрит на осрамление ее святейшего сокровища? <...> сами христиане, поклонники святыни, оскорбляют ее враждою сект перед гробом, источником искупления и мира, чего бы, конечно, не было, когда бы этот гроб защищен был от постыдного поругания. <...> О! по всем сердцам ударит молния вдохновения и восторга, когда наш великий царь... скажет в совете царей: “отдадим Богу Божие; святой гроб Спасителя и святой град, его в себе заключающий, должны принадлежать не России, не Англии, не Франции и пр. с одной стороны, и не туркам с другой – они должны принадлежать Богу Спасителю”. Христианские державы должны благоговейно принять их под свою общую защиту; каждая из них должна на это уделить часть своих военных сил [не для завоевания, а для охранения града]. <...> А какие последствия могли бы быть для христианства, для соединения всех церквей (о котором мы безпрестанно молимся), когда бы около гроба Спасителя, около одного общего средоточия, все исповедания соединились на свободе с чувством одной, всех сближающей, все миротворящей веры» [3. Т. 6. С. 378–379].

Особенно важен предлагаемый проект, считает Жуковский, для современного исторического этапа, когда люди теряют веру в Бога, погружаются в мир материальных ценностей и проблем, когда «мы строим железные дороги, окидываем пространные области сетью электромагнетических телеграфов, употребляем величайшие усилия, тратим деньги, тратим пот и кровь людей на то, чтобы увеличить ничтожные, прзренные выгоды корыстолюбия, увеличить материальные удобства и чувственные наслаждения, а о святом, о том, на чем основана и жизнь души и твердый порядок общественный, мы забываем» [3. Т. 6. С. 378].

Обратимся к контекстам, в которых звучит данное предложение и обоснование его скорейшей реализации. Почти всеми исследователями в качестве таких контекстов называются лиро-эпические произведения позднего Жуковского (в первую очередь, конечно, поэма «Странствующий жид»), в которых очевидны параллели с его Иерусалимским проектом. Мы же остановимся на поздней прозе писателя, его статьях 1840-х гг., в которых можно заметить смысловую, сущностную эквивалентность рассматриваемому предложению, что позволит уточнить его генезис, содержание и пафос. Прежде всего следует обратить внимание на то, что Жуковский неоднократно рассуждает в своих поздних прозаических произведениях о сложнейшем и опаснейшем кризисе, переживаемом Европой, угрожающем ей гибелью, и о путях ее спасения. Так в статье «О происшествии 1848 года» читаем о современном положении дел в Европе: «Прежнее разрушено, ибо оно не могло устоять на согнивших ногах своих; но тверже ли стоит всё новое, вышедшее из ядовитой бездны, его породившей?» [8. Т. 10. С. 117]. И далее, характеризуя жизнь современной Европы как «всеобщее землетрясение», поэт столь же активно использует образы болезни, гниения, смерти: «Всё или потрясено или разрушено, всё, что было прежде истинною или правом, как будто ударом волшебного прута превратилось в ложь и неправду, и наоборот: из того, что прежде называлось народом... вышел какой-то уродливый труп, у которого обрублены голова и руки и остались только ноги для того, чтобы всё слепо топтать с необузданным бешенством. Всё бунтует – и бунтует не против злоупотребления власти, а против самой ее сущности, против узды, налагаемой ей на разврат воли, на безумие страстей, на безверие; хотят не изменения и не преобразования, а просто уничтожения всякой границы» [8. Т. 10. С. 119–120]. Как видим, признак кризиса современной европейской цивилизации и одновременно его причину Жуковский усматривает в той роли, которую в ней играют силы насильственного разрушения, отрицания всего существующего, всех общественных устоев и основ.

В статье «О стихотворении “Святая Русь”» констатируется еще одна черта упадка Европы, которую также можно квалифицировать и как обстоятельство, его порождающее: «Оглянувшись на запад теперешней Европы, что увидим?.. Дерзкое непризнание участия Всевышней власти в делах человеческих выражается во всем, что теперь происходит в собраниях народных. Эгоизм и мертвая материальность царствуют. Что тут ожидать живого?» [8. Т. 10. С. 123]. В статье «Энтузиазм и энтузиасты», рассуждая о причинах прихода «смутных времен», переживаемых Европой, «времен волнений гражданских и религиозных», поэт пишет о «несуществовании власти верховной, отвергающем двери буйству, или злоупотреблении верховной власти, возбуждающем силу противодействия». И ниже формулируется общая причина: «...нет целого, наша особенная нравственность, требующая исполнения долга, находится в противоречии с нравственностью общею, которую тревожит и наконец превращает в безнравственность нарушение долга злоупотреблением власти» [8. Т. 10. С. 137–138]. В статье с красноречивым названием «Что будет?» Жуковский

продолжает: «Одна революция кончилась, другая вступает в ее колеины <...>» [8. Т. 10. С. 138]. Примеры можно продолжать.

Итак, черты и одновременно причины упадка европейского общества Жуковский видит во власти материализма и эгоизма над отдельным человеком и обществом в целом, следствием чего являются притязания на насильственное перераспределение власти между классами, между европейскими государствами и даже между человеком и Богом. Не раз Жуковский говорит о забвении верховной властью своих обязанностей, благославленных церковью, о том, что во главе государства оказываются тираны, страдающие наполеонизмом. Характерный пример находим в статье «Русская и английская политика», где крупным планом дается портрет «злого гения нашего времени» Генри Джона Темпла Пальмерстона, государственного деятеля, руководившего внешней политикой Англии в 1840-е гг. По мнению Жуковского, «природа лорда Пальмерстона» не соответствует «высоте его назначения», его душа недоступна «божественному чувству любви к человечеству, соединенному с уважением Всевышней Воли», и потому управляемый им «корабль Британии» «обратился» во «всемирного корсара», провозглашающего «как последний результат христианской цивилизации право сильного» [8. Т. 11. С. 41]. Но абсолютным воплощением тирании в статьях Жуковского выступает Наполеон. Эта фигура вводится писателем в большой социально-политический и исторический контекст и выступает символом великого нарушения вечных законов бытия, за которое десятилетиями расплачиваются его потомки. С точки зрения Жуковского, именно первая французская революция и «завоевательный деспотизм Наполеона» пробудили «самоубийственный деспотизм народного самодержавия», узаконили «дух буйства» и поколебали самое «основание гражданского порядка» – религию, уважение власти, покорность долгу, публичную и частную правду («Иосиф Радовиц» [8. Т. 11. С. 48]). На этой же оппозиции христианства и наполеонизма, которая, как справедливо отмечает Ф.З. Канунова, становится центральной общественно-философской идеей творчества Жуковского 1840-х гг., строится его поэма «Странствующий жид» (см. об этом подробно: [9]). «Ставя вопросы оппозиции христианства и наполеонизма в центр «Агасфера», – пишет исследователь, – поэт акцентирует решающую в его творчестве идею нравственного восхождения человека и народа, идею жизнестроения. Чтобы поднять эту важнейшую для него идею на высокий онтологический уровень, Жуковский вводит образ Наполеона в произведение, основанное на религиозно-мифологическом сюжете» [9. С. 103] (см. также [1, 2]).

Самой главной характеристикой европейской цивилизации писатель называет безбожие, чем, по его мнению, и обусловлены все перечисленные выше болезненные, угрожающие жизни явления. Прогноз Жуковского однозначен – если не предпринять никаких действий, Европу ждут «всеобщая ненависть» и разрушение. Ее падение Жуковский предвидит и осмысливает в свете сложившейся у него к концу 1840-х гг. философии истории, отражающей основополагающие идеи христианской концепции исторического развития человечества. Ее логика развития объективна, поскольку задана волей Творца. В статье «Русская и английская политика»

читаем: «История в настоящем смысле своем есть беспрестанное оправдание Божия промысла: неправда сама себя губит, и никогда, напротив, правда не имела последствий губительных; эта историческая аксиома не терпит исключений, если только мы в истории будем останавливаться не на одной минуте настоящего, а на сцеплении всех веков ее» [8. Т. 11. С. 44]. В статье «История и историческая живопись» Жуковский, в соответствии со своим пониманием истории, выделяет три рода историков: «...один записывает то, что происходит в настоящую минуту», он назван «летописцем»; другой «обнимает горизонт обширный», «посреди толпы действующих замечает он только главных действующих» – он сам творит историю «из подробностей». Третий, с которым абсолютно солидарен автор, «видит причины» и «угадывает последствия» конкретных событий и хода истории в целом, поскольку «соединяет судьбу настоящего с намерениями Промысла; он изъясняет тайную власть неизменяемого Бога посреди изменяющегося потока событий; он пророчит суд Божий, еще сокрытый в тайне грядущего» [8. Т. 11. С. 28–29].

С Божьей волей, а не с созданием очередной «хартии, написанной рукою человеческою» писатель связывает и развитие самодержавия в России, в котором, по его мнению, заключается ее судьба. В душу русского народа «глубоко врезана... резцом судьбы его» вера, и потому самодержавие, считает поэт, «опираясь на Божию правду, вернее всех бумажных конституций приведет народ русский без всех потрясений, медлительным путем законности, к той цели, к которой все земные народы стремятся, к свободе». Результаты исторической деятельности человека, утверждает Жуковский, в конечном итоге всегда зависят от Божьей воли: «...то, что из буйного дела человеческого создаст Всемогуший Бог, никогда не перестающий действовать, – этого мы не знаем; мы знаем, однако, что этот Всевышний Действитель есть в то же время и верный союзник всех Ему покорных душ, которые каждая на месте, Им ей указанном в мире» («О происшествии 1848 года» [8. Т. 10. С. 102–103, 111, 117]). В статье «Что будет?» писатель вновь рассуждает о настоящих и призрачных целях и двигателях истории: «Какая цель теперешних реформаторов <...> Этого и сами они ясно не видят. Весьма вероятно, что многие из них сами себя обманывают и, идя вперед с знаменами, на которых сияют слова нашего века: *вперед, свобода, развитие, человечество*, сами уверены, что путь их ведет прямо в обетованную землю. И может быть суждено им, как и многим из их предшественников, содрогнуться на краю или на дне этой бездны, которая скоро под их ногами разверзнется» [8. Т. 10. С. 139].

Связывая главное содержание истории с верой в Бога, с постепенным подъемом отдельного человека и человечества к Его истине, Жуковский, однако, не считает, что этот подъем прямолинеен, что восхождение возможно без падения, нисхождения и что каждый новый исторический этап есть обновление души, мировоззрения индивидуального и общественного, всех государственных институтов: политики, культуры, искусства, образования, науки и т.д. В связи с этим отметим чрезвычайную концептуальную близость рассуждений Жуковского в прозаических статьях о современной Европе к художественной интерпретации падения Иерусалима в поэме «Странст-

вующий жид», о чем мы писали в специально посвященной этому вопросу статье [2]. Признаки, причинно-следственные связи падения Иерусалима и сам процесс его разрушения практически совпадают с описанными в статьях чертами, причинами и этапами разрушения Европы.

Примечательно то, какое большое место в прозаическом дискурсе Жуковского о Европе занимает вопрос о ее позиции в отношении России. «Мне надоело слушать нелепые толки о России» – так открывается статья «О происшествии 1848 года», в которой поэт разоблачает «слухи о завоевательных замыслах русского государя и о близкой войне, которую он будто угрожает Германии», и утверждает: «Вопреки всем политическим предрассудкам, Россия никогда не была завоевательным государством» [8. Т. 10. С. 106–107]. В статье «Русская и английская политика» читаем еще более острое высказывание: «... у них (имеются в виду европейские газеты. – И.А.) рука не подымается написать что-нибудь в пользу России; они так привыкли на нас клеветать и видеть в нас записных врагов европейской безопасности и гражданственности, что и теперь... все поют старую песню, все Россия для них есть противник всякого политического развития, представитель абсолютизма, деятельный сокрушитель их свободы, опасный разбойник, ждущий только удобного случая, чтобы напасть на них врасплох и ограбить их или уничтожить» [8. Т. 11. С. 39]. В статье «По поводу нападок немецкой прессы на Россию» Жуковский вновь опровергает создаваемый в Европе образ России-завоевательницы, «чудовищного привидения», готового «растерзать» европейские государства и привнести в них «восточное варварство» [8. Т. 11. С. 67].

В ответ на эти «нелепые толки» писатель из статьи в статью создает, сквозь призму своих религиозно-философских и нравственно-этических устремлений, особое видение России, формируя его как наложение европейского (внешнего) и национального русского (внутреннего) образов. Интерес Жуковского к образу России, менявшийся от периода к периоду его жизни и творчества, очевиден, однако специально целостным решением этой проблемы в творческом наследии писателя никто до сих пор не занимался. Не претендуем на это в своей статье и мы, останавливаясь подробнее только на сути постановки данного вопроса в поздней прозе Жуковского, на индивидуальной интерпретации распространенной в первой половине XIX в., весьма разнообразной и даже противоречивой семантики образа России родоначальником русского романтизма, прошедшим сложнейший путь внутреннего развития, соединявшего в себе такие противоположности, как просветительская идеология и религия.

Развивая мысли о существовании искаженного образа современной России в европейском общественном сознании, чему в немалой степени способствует европейская пресса, Жуковский стремится к созданию у читателя ощущения истинности создаваемого им образа. Во-первых, перерабатывая личные письма в статьи, он оставляет в публикациях акцентируемую в эпистолярии, естественную для эго-документального нарратива мысль о том, что передаваемые им знания о России почерпнуты из личных наблюдений, из личной практики проживания в России и в Европе. Во-вторых, писатель настаивает на объективности и даже абсолютности его

образа России, поскольку последний опирается на неопровержимые истины, каковыми выступают истины религиозные. Такая установка диктует принципы отбора материала для конструирования образа России, предполагающие ее восприятие сквозь призму личных ощущений, сформированных определенной идеологией и философией, и вечных христианских истин.

Выявим, например, самые частотные характеристики России в статье «О происшествии 1848 года»: миролюбивость внешней политики («Россия не начнет сама войны с Германиею – на что ей война?»), «завоевания ей не только не нужны, но и вредны») и вместе с тем готовность «отразить всякое нападение извне»; Россия на пороге новой эпохи, «богатой великим будущим»; Россия отрывается от «насильственного на нее влияния Европы, у которой она заняла богатство образованности»; Россия вступает на особенный путь, проложенный для нее ее историей и самим Промыслом; в России сохранилось «неприкосновенным» всё, что «произвольно» разрушено в Европе: «благословение перед святынею Божией правды и истории, и благословение перед святынею власти державной»; Россия не будет Европой или Азией, «ибо она – государство христианское, она будет Россия – самобытный, великий мир»; Россия вступает в стадию внутреннего развития (законность, «гражданское благоденствие» и личное благоденствие каждого, развитие самодержавия, его «очищение» во имя приближения к «своему божественному смыслу», который есть «слово евангельское: всякая власть исходит от Бога» [8. Т. 10. С. 106–109, 114].

В центре статьи «О стихотворении «Святая Русь» оказывается образ Святой Руси как некий идеал, просвечивающий в прошлом и настоящем России. Он трактуется как «ровесник христианской России», который «никогда не потеряет своего глубокого смысла», «без которого ни дышать, ни жить невозможно», он «принят всеми, для всех неотрицаем» и являет собой «всеобщую необходимую истину». Содержание этого образа определяется идеями Откровения, Верховной истины, «особенного союза с Богом», воплощением которых и называется Святая Русь [8. Т. 10. С. 121].

Не менее важна и интерпретация этого образа в связи с имиджем России не как государства, а как «семейства», объединенного одним языком, одной отчизной, «одинакими воспоминаниями и преданиями», одной верой, и как «наследственной собственности русского народа, упроченной ему Богом», судьбой которой «властвовали и властвуют» церковь и самодержавие [8. Т. 10. С. 122–123]. В связи с этим находится утверждение особой высокой миссии России как спасительницы Европы, способной, по воле Божьей, объединить и воссоздать целостность христианского мира. Эта идея чаще всего выражается поэтически (Россия не «страх, а страж породившейся с нею Европы» [8. Т. 10. С. 107]), имплицитно, она разлита по всему тексту, формируя «миссионерский» подтекст авторских рассуждений о гибнущей в революциях и войнах, безбожии и безнравственности Европе и о Святой Руси, чья «звезда... сияет высоко, сияет в стороне» [8. Т. 10. С. 121], о том, что «реформация не дерзнула коснуться» святыни православной церкви, о русском народе, у которого сохранилось уважение к монаршей власти и к власти церкви, в то время как «в образованной Европе вера в святое истратилась», и т.д., о чем шла речь выше. И далее следует красноречивое резюме: «...чтобы

предохранить цивилизацию Европы от ниспадения в варварство, надлежит возвратить ее к началам, ею утраченным» [8. Т. 10. С. 124]. В личном письме великому князю Константину Николаевичу об Иерусалимском проекте Жуковский высказывается по этому поводу весьма однозначно и открыто: «Мне кажется, что теперь настал час, в который Россия может приобрести славу, превышающую всякую другую, славу единственную, на все времена, славу, могущую иметь неисчислимые, благотворные последствия». И далее: «Такое великое дело должно принадлежать России! Она, она должна внести такое событие в летопись человечества; она – законная наследница первобытного христианства. И с совершением такого дела начнется новый период ее всемирного призвания. Это призвание есть восстановление церкви в ее первобытной чистоте и святости, восстановление не мечом, не притеснением, не ужасами нетерпимости, а великим примером чистой, самоотверженной, вселюбящей веры» [3. Т. 6. С. 379].

В этом же письме Жуковский настаивает на том, что никакое другое действие «не восстановит разрушенного»: «Материальная сила пушек следила с бунтом; но этот бунт есть только симптом, есть проявление той болезни, которую страждет политическое тело и которая должна, наконец, сделаться неисцелимой и смертельной. Пушки – один только паллятив. Оне могут восстановить на время порядок, но они его не установят. Для этого нужно радикальное лекарство нравственности и веры» [3. Т. 6. С. 379]. Поэту представляется тупиковым путь общественного развития, связываемый с установкой на максимальное удовлетворение материальных потребностей человека.

Всё это – основные мысли статей Жуковского 1840-х – начала 1850-х гг. Одним из главных вопросов этих сочинений, вокруг которого формируется комплекс других, взаимосвязанных проблем онтологического, гносеологического, этического характера, является, в частности, соотношение материи и духа, к осмыслению которого Жуковского приводит именно поиск «великой целостности нашей», в «презрении» к ней он видит суть материализма [10. С. 251]. В своих статьях писатель выстраивает четкую иерархию в рамках целого: тело – душа – дух и определяет душу как связующее дух и тело звено. В этом плане Жуковский входит в большую традицию представления о тройственной сущности человека, которая отражалась во многих верованиях и философиях (см.: [11–13]). Основой мироздания, «центром, который везде», который всё наполняет и всюду «самобытно» присутствует, Жуковский называет Бога. По его мнению, Бог – это «средоточие, из которого выходят все радиусы к этой окружности, нигде не существующей и представляющей относительно к Богу всеобъемлемость, а относительно к человеку границу» («Две сцены из «Фауста» [14. С. 352]). Писатель последовательно исходит из божественной изначальности мироздания, из идеи вечного его существования. «В начале было Слово» – для Жуковского это единственно верная мысль о происхождении мира и человека, духовность которых признается безоговорочно первичной. Образ круга, заключающего в себе и горизонтальное, и вертикальное строение мира в их взаимосвязи, круга как символа безграничности и бесконечности, целостности Вселенной, в центре которой Бог, будет переходить из статьи в статью. Именно через него Жуковский дает определе-

ние земной жизни человека, которая есть «стремление по определенной линии (от центра. – И.А.) к границе неопределенной» («Две сцены из «Фауста»; [14. С. 353]). Воплощая свое понимание языческого мира в статье «О меланхолии», Жуковский использует ряд пиршественных образов, и чтобы подчеркнуть заблуждение древних, он создает страшный образ скелета, наряженного в блестящие «покровы». Образ «покрова» на «скелете жизни» передает самую суть опасной ошибки человечества, принимающего мир материи, мир без Бога («скелет жизни») за достаточную, полную, целостную модель жизни. Мотив покрова дополняется далее мотивом разоблачения, снятия завесы и открытия людям истины – их высокой природы, их низкого падения и «права на утраченное совершенство» [14. С. 345]. В неопубликованной заметке «Самодержавие народа» Жуковский рассуждает о двух «школах», которые проходит человек в земной жизни одновременно, о «материальной школе» и о «школе Промысла». Они, по мнению Жуковского, дополняя друг друга, создают некое целое. В первой человека ждут «земной труд и испытания», другая школа придает «значение всему земному <...> и превращает земное, неизъяснимое и необходимое страдание <...> в вечное добро (1 слово нрзб.) души бессмертной» [15].

Логика размышлений Жуковского о революции неизменно приводит его и к вопросу о подлинной и мнимой свободе, который также связывается с подчинением духа материи. В рассматриваемых статьях он настойчиво отрицает революцию как мнимое освобождение. Так, в статье «О происшествии 1848 года» Жуковский развивает свою сокровенную мысль о том, что «мнимые освободители», «самовольные действователи, вмешавшиеся с такой самонадеянностью в дело Провидения», «для того провозглашают свободу, самодержавие народа <...> независимость мысли и слова», чтобы только «украсить мятеж» [8. Т. 10. С. 117]. В статье «Что будет?» автор восклицает: «Это всеобщее отвержение всякой святыни называется теперь свободой, движением вперед, торжеством человечества, освобождением разума» [8. Т. 10. С. 139]. Особенно опасна такая «свобода», считает он, для «низшего класса». Для «народа необразованного», где царствуют нужда, зависть, озлобление, такая «свобода» – настоящее искушение, разжигающее самые низкие страсти и желание насильем установить справедливость. За всем этим стоит неприятие Жуковским индивидуализма, разъединенности, раздробленности «целого», подмены истинных духовных ценностей материальными, что связано, по его убеждению, с губительным для человека торжеством рационализма, усиливающегося отходом от религии.

Освобождение от власти турецкого султана Гроба Господня потому представляется писателю важнейшим для всего христианского мира событием, что Иерусалим и его святыни для Жуковского, о чем нам уже приходилось писать, – это некий метафизический феномен, являющийся сам по себе ответом на самые болезненные вопросы многовековой истории. Его переход в границы христианского мира означает, по убеждению писателя, переход большого христианского «семейства» к бытию, которое и может быть названо единственно реальным, поскольку оно будет построено на абсолютных божественных истинах, на восстановлении утраченной изначальной целостности, побеждающей хаос современной жизни

отдельного человека и общества в целом. Практически во всех статьях писателя категории хаоса, которой характеризуется история и современность, взятые в многообразных аспектах, противопоставляется вера в Христа и его заветы. Рассуждает ли Жуковский о красоте художественного произведения, залогом которой являются гармония и целостность; о привидениях, явление которых способно привести человека в ужас, а вопрос о том, верить ли в них, приводит его сознание в состояние раздвоенности; о сути меланхолии и скорби, о смерти, о революционных событиях в Европе, о войне, политике, философии, свободе, несчастьи, воспитании, общем благе, общественном порядке, деспотизме, самодержавии, о внутренней христианской жизни, энтузиазме, смертной казни, Реформации и мн. др., во всех этих дискурсах писатель приходит к выводу о великой упорядочивающей, гармонизирующей, объединяющей силе религии и веры в Бога. С этим убеждением связано и важнейшее для позднего Жуковского представление о смирении как основе жизни христианина, которому должно понимать и принимать ограниченность своих возможностей в постижении мироустройства и тем более в попытках его перестройки по собственным законам; о спасительности познания своей греховности, покаяния и воскресения, возрождения к новой жизни по законам Бога, о божественной миссии монарха и руководимого им народа, о божественном предназначении искусства и творчества. Эти идеи и легли в основу концепции Иерусалимского проекта Жуковского, окруженного такими знаковыми для писателя сочинениями, как «Агасфер» и его поздняя проза.

Условием успеха своего Иерусалимского проекта Жуковский выдвигает его мирную реализацию, от чего не смогут отказаться ни турки, ни европейские страны, которые, как он считает, должны будут объединиться вокруг предлагаемой им идеи: «Осмелятся ли не покориться турки, когда наш царь, отказываясь от всякого личного удовлетворения, вызовет все державы Европы на освобождение от постыдного рабства нашего святилища? И осмелятся ли христианские державы не принять такого вызова? Это не будет вызов на несправедливое завоевание, на насильственное отнятие собственное, утвержденной давностью владения». И ниже: «...я не крестовую войну проповедую. Пролитие крови за Христа или в честь Христа есть святотатство» [3. Т. 6. С. 378].

Мысль о возможности мирного присоединения Иерусалима к христианскому миру как начала восстановления его целостности очень показательно оттеняется осмысливаемой Жуковским в статьях идеей создания всемирной монархии, принадлежащей, по мнению писателя, «исключительно Западу» [8. Т. 10. С. 107]. О «всемирном восстании» за мировое господство, на которое весьма скоро начнет претендовать одна из европейских стран, достигшая максимального экономического и военного расцвета, писатель рассуждает, например, в статье «Русская и английская политика». С полной уверенностью он утверждает, что это кончится явлением «нового Наполеона», жаждущего свергнуть нынешнего победителя и занять его место всемирного властителя. Жуковский моделирует, в частности, ситуацию притязаний благоденствующей Англии на место «языческого Рима» в христианском мире, описывая ее финал: «...она (Англия. – И.А.) должна

ожидать и судьбы Римской империи», поскольку «история в настоящем смысле своем есть беспрестанное оправдание Божия промысла. <...> И этот новый Рим... будет иметь своих кесарей, которые опозорят его своим унижительным тиранством; он будет иметь свое нашествие варварских народов» [8. Т. 11. С. 43]. Этот проект противоположен Иерусалимскому и представляется Жуковскому крайне опасным в силу разрушительного непредсказуемого характера его последствий, противоречащего божественным законам миропорядка. Идея всемирной монархии, подчеркивает Жуковский, уже была апробирована прошлым, в частности, ее суть раскрылась в истории Римской империи, ставшей для православных символом земного христианского царства, связанным с разрушением Иерусалима, о чем поэт примерно в это же время размышляет в поэме «Странствующий жид».

Тезис о мирном «христианском завоевании» Иерусалима коррелирует и с уверенностью Жуковского в мирном разрешении всех конфликтов, и с представлением о войне как крайней необходимости, оправдываемой только задачей освобождения своей отчизны от захватчиков, о чем говорилось выше. Но самое главное – этот тезис питается представлением писателя об Иерусалиме как пространстве, исходном и конечном для земной истории христианства и открывающем путь не только к осознанию духовной сути произошедших земных событий, но и, как следствие этого, к свершению христианских надежд на грядущую вечную жизнь в Новом Небесном Иерусалиме, в Царствии Божием.

Не случайно Жуковский столь активно не одобрял мысли великого князя Константина Николаевича о завоевании Константинополя как исторической миссии России. Осмысливая этот вопрос, исследователи решают его в аспекте прозорливости писателя как политика и историка (см.: [16, 17, 5]). Акцентируя мирный характер «преобразовательных» намерений Жуковского, Т. Гузаиров пишет: «Поэт предвидел, что конфликт с Портой из-за Стамбула / Царьграда неминуемо обострил бы вопрос о морских проливах, привел бы к крупномасштабным военным действиям с участием других заинтересованных государств (Англии, Франции, Австрии). Поэтому Жуковский, справедливо опасавшийся последствий такой войны для России, неизменно повторял мысль о внутреннем развитии и приумножении народного блага» [5. С. 106]. К этим толкованиям позиции Жуковского «Не брать и никому не давать Константинополя», сформулированной в письме великому князю Константину Николаевичу от 21 октября (2 ноября) 1845 г., мечтавшему о том, как «гордый Истанбул снова падет под ударами русских Перунов» (цит. по: [5. С. 106], думается, следует присоединить и еще одно, напрямую связанное с религиозно-философскими взглядами писателя. Его убеждение в том, что «Византия – роковой город. Ею решилось падение Рима. <...> Нет, избави Бог нас от превращения Русского Царства в Империю Византийскую» [18. Т. 6. С. 656], логично вытекает из концепции Иерусалима и Римской империи. Константинополь в представлении Жуковского – это прежде всего Новый Рим, устремления к которому могут увести Россию от ее истинной цели и миссии, каковой является Новый Иерусалим как символ Царства Божия.

Особое внимание в презентации своего проекта Жуковский уделяет

фигуре Николая I, называемого в рассматриваемом письме «мироносным Годофредом нашего века». Обобщенному образу русского монарха, конкретизируемому портретами русских царей, чаще всего Александра I и Николая I, посвящены многие страницы поздних прозаических произведений писателя. Собственно сквозь призму образа русского царя рассматривается многовековая история России и ее будущее. Наибольший интерес в этом отношении представляет статья «О стихотворении “Святая Русь”», в ней перед читателем выстраивается галерея портретов государей всея Руси, по воле Божьей определявших судьбу России и Европы. Все они, начиная с Ивана Великого, характеризуются как спасители своего народа, самодержцы, для которых Россия являлась «особенным достоянием», а Святая Русь – «преданием, совокупным сокровищем царя и народа» [8. Т. 10. С. 122].

Говоря о Николае I, писатель постоянно подчеркивал связь его принципов жизни и управления страной с традициями предшественников, особенно Александра I. В этом плане показательна сцена принятия присяги императором, описанная Жуковским в статье «О происшествии 1848 года» – в ней вновь акцентируется пафос царя-спасителя православной России и русского народа, определивший, по мнению автора, выбор государя «между самоотвержением и самодержавием», между «земным блистательным величием» [8. Т. 10. С. 110] и смиренным повиновением Промыслу в ситуации смерти Александра I и отречения от престола великого князя Константина Павловича. Через всю сцену проходит мысль о подкреплении этого решения «силою Бога»: «...он поднял к Богу свою руку с клятвою: не принимать этого величия иначе, как от Высшей воли <...>, и он ее произнес один, без свидетелей... наедине с Богом» [8. Т. 10. С. 110]. Этими же красками создан портрет Николая I в статье «Пожар Зимнего дворца», в которой, кроме того, особенно ярко проводится историческая параллель между ним и Петром Великим¹, в связи с чем Николай I представлен символом перемен, необходимого обновления России². Образ не очевидно идеализирован, воплощая идеал монарха, как его понимал Жуковский: отец, хранитель, спаситель, объединитель. Писатель активно и последовательно проводит в своей статье мысль о прогрессивности русского самодержавия, в которую, как известно, верили многие передовые мыслители России 1830–1840-х гг. Не менее активно практически во всех статьях проводится мысль о русских царях, и прежде всего Александре I и Николае I, как спасителях Европы. Если Александр I – это победитель Наполеона, освободитель России и Европы, то Николай I олицетворяет Россию, которая тушит пожар за пожаром, вспыхивавшие в Европе в 1840-е гг., покровительствует христианским подданным турецкого султана, занимается решением «восточного вопроса», связанного, в частности, с контролем над Святыми местами в Палестине.

¹ Своеобразную аналогию с Петром I проводит Жуковский, намечая и образ Александра I. Так, в связи с этим образом писатель вспоминает об известном наводнении, случившемся в Петербурге: «Из окон дворца своего смотрел он на разрушение, производимое волнами, и горько плакал, порываясь спасать погибающих и чувствуя всю ничтожность своей власти перед бездушным могуществом стихии» [8. Т. 10. С. 65]. В этой небольшой зарисовке целый комплекс сложных проблем философии истории, которые по-своему чуть раньше решал Пушкин в «Медном всаднике».

² Известно, что многие современники Жуковского поверили в прогрессивность намерений Николая I и сравнивали его действия с деятельностью Петра I. См. об этом: [19].

В заключение поставим вопрос об отношении самого Жуковского к своему проекту. В начале марта 1850 г. он вновь пишет письмо великому князю Константину Николаевичу, интересуясь его мнением о своем предложении, которое он сам называет «иерусалимскими мечтами», помещая свой вопрос в контекст размышлений о теории и практике, составивших впоследствии отдельную статью «Теория и практика»: «Я дефинирую *теорию* и *практику* так: Теория есть знание того, что *должно* делать *всегда* и чего *не должно* делать *никогда*; практика есть знание того, что должно сделать в *настоящую* минуту, или умение *вовремя* применять *знание к делу*» [3. Т. 6. С. 178]. Еще ранее, в начале января 1850 г., поэт спрашивает об отношении к его проекту великого князя Александра Николаевича. Ссылаясь на письмо к Константину Николаевичу, он по сути пересказывает свою идею, помещая ее, однако, в новый контекст: «Не знаю, имеет ли она какую-нибудь основательность в так называемом политическом отношении. Политика не ставит никогда в счет причин чисто религиозных, чисто нравственных; для нее мало значат требования верховной правды; *l'araisond'état* – вот ее единственный компас. Но мне кажется, что теперь нет спасения для порядка общественного ни в чем ином, как в очищении доктрин, управляющих действиями правительств; а другого к тому средства нет, как подчинение этих доктрин христианству и тем самым оживление христианства в народах <...>. В наше время был бы благотворным и животворным действием такой всеобщий, совокупный акт государей Европы, в котором бы выразилось их благоговение перед Спасителем, Подателем всех благ временных и вечных. Теперь и в мысли не приходит, чтобы султан мог отказаться исполнить требование *в с е х* государей Европы об освобождении Гроба Христова и Его Града, тем более что ни о д и н исключительно, а *в с е в м е с т е* европейские государи сделались бы только стражами этой святыни и что сборное войско, на то употребленное ими, могло бы быть в то же время и союзным султану. Вызов на такой святой союз принадлежит русскому царю, как представителю православия. Наше время требует такого побудительного всеобщего акта» [20. С. 338]. Этот пересказ продолжают размышления Жуковского о «демоне зла», разгуливавшем по свету «под маскою человеколюбца». В качестве примеров, подтверждающих это утверждение, Жуковский пишет о казни Маннингов, что впоследствии оформилось в знаменитую статью «О смертной казни» и о губительной политике верховной власти в Германии и Англии, чему также оказались посвящены отдельные статьи Жуковского.

Итак, писатель называет свои «иерусалимские предложения» «мечтами», «теорией», «словами», но «слова поэта», по выражению самого Жуковского – это «дела поэта». Иначе говоря, Иерусалимский проект и родился из комплекса поздних идей Жуковского о возможности возвращения идеала в земную жизнь, его соединения с действительностью, и сам питал этот комплекс. Идея гармонизации общественно-политической и духовной жизни отдельного человека и общества как их спасения оказывается глубинной основой проекта, долженствующего, по замыслу поэта, слово, идею превратить в событие особого рода, в «поэтическое дело», которое сведет «божественное на землю», а реальное возведет «от земного к божественному» и им дополнит «все земное, столь мало удовлетворительное

и столь неверное» [3. Т. 6. С. 377]. Однако сам по себе проект, описанный в общем виде, без какой бы то ни было конкретики, скорее, следует квалифицировать как речевой акт, воплощающий те же внутренние интенции и послылы авторского сознания, что и поэма «Странствующий жид», перевод «Одиссеи» и статьи, в которых попытка писателя решать политические вопросы неизменно уводила его в область религии, этики и эстетики. Думается, что синтез, взаимосвязь и взаимодействие этих сфер жизни человечества, манящий Жуковского и многих его современников в 1840-е гг., и был глубинным источником Иерусалимского проекта, органично вписывающегося в принципиальный интерес поэта к идее «единства во множестве»¹, «единой всеобщей основы»², которая активно проповедуется Жуковским в его религиозно-философской и публицистической прозе 1840-х – начала 1850-х гг. и за которой, как известно, было большое будущее и в русской литературе, и в русской религиозной философии. Не случайно первоначальное описание проекта предваряется в письме благодарностью за участие, проявленное великим князем Константином Николаевичем к его «крестнице» «Одиссее», которая задумывалась Жуковским, что сейчас общеизвестно, как знаковое для российско-европейского сообщества «лирическое событие», определяемое современным исследователем И.В. Силантьевым как *«качественное изменение состояния лирического субъекта, несущее экзистенциальный смысл для самого лирического субъекта и эстетический смысл для вовлеченного в лирический дискурс читателя»* [21. С. 29]. Это «высказывание должно было, по мысли Жуковского, внести в современную действительность столь необходимую для него «поэзию», идеал гармонии (об «Одиссее», смыкающей, как и Иерусалимский проект, разные динамические и целенаправленные ряды: творчество, философию, религию и реальную политическую историю, см.: [22]). Но, что тоже хорошо известно, этот замысел поэта остался не только без общественного резонанса, на который он рассчитывал, но даже и без ответа многих его современников, о чем он не раз с горечью писал в письмах конца 1840-х гг. Кроме того, описание Иерусалимского проекта в письме к великому князю подготавливается еще одним примечательным «предисловием»: Жуковский пишет цесаревичу о военных событиях, участником и руководителем которых ему, цесаревичу, довелось быть в последнее время во имя общественно-политической гармонии в Европе и России. Самое главное, что отмечает при этом Жуковский: военные победы не принесли искомого результата в полном объеме – мир остался непрочным, общественно-политическая ситуация нестабильной, идеал недостижимым. И ниже он описывает «событие другого рода», «сияющее» перед его воображением, имея в виду Иерусалимский проект, который должен был наконец объединить идеал и действительность, чего не удалось добиться ни словом, с помощью его перевода гомеровской

¹ Выражение А.С. Хомякова, употребленное им в связи с размышлениями о церковном Соборе, трактовалось и им самим, и его современниками и последователями более широко, с выходом за рамки его церковно-богословского значения.

² Понятие, предложенное В.С. Соловьевым в его «Философии искусства и литературной критики», являющее собой, как известно, развитие идеи «единства во множестве».

поэмы, ни делом – проведенными наследником престола блестящими военными операциями.

Литература

1. Айзикова И.А. Образ Палестины в творчестве В.А. Жуковского. Статья первая // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2015. № 5 (37). С. 108–123.
2. Айзикова И.А. Образ Палестины в творчестве В.А. Жуковского. Статья вторая // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2016. № 2 (40). С. 94–108.
3. Сочинения В.А. Жуковского: в 6 т. / под ред. П.А. Ефремова. 7-е изд. СПб., 1878.
4. Моторин А.В. Образ Иерусалима в русском романтизме // Христианство и русская литература. Сб. 2. СПб., 1996.
5. Гузаиров Т. Жуковский – историк и идеолог николаевского царствования. Тарту, 2007.
6. Дубовенко К.И. Немецкая духовно-назидательная литература в записных книжках В.А. Жуковского 1840–1850-х годов // Сибирский филологический журнал. 2015. № 3.
7. Канунова Ф.З., Айзикова И.А. Нравственно-эстетические искания русского романтизма и религия (1820–1840-е гг.). Новосибирск, 2001.
8. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений: в 12 т. / под ред. А.С. Архангельского. СПб., 1902.
9. Канунова Ф. З. Проблема взаимодействия онтологии и поэтики в поэтическом завещании В. А. Жуковского («Странствующий жид») // Проблемы литературных жанров: Материалы X Междунар. науч. конф. Ч. 1. Томск, 2002. С. 100–110.
10. Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895.
11. Котельников В.А. Православная аскетика и русская литература: (На пути к Оптиной). СПб., 1994. С. 11–15.
12. Вышеславцев Б.П. Значение сердца в религии // Путь. Кн. 1. М., 1992. С. 65–79.
13. Юркевич П.Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению Слова Божия. Философские произведения. М., 1990. С. 9–103.
14. Жуковский В.А. Эстетика и критика. М., 1985.
15. РНБ. Ф. 286. № 67. Л. 86–89 с об.
16. Витевский В.Н. В.А. Жуковский в своих письмах как человек и наставник в Бозе почившаго Императора Александра II (1783–1883). Казань, 1883.
17. Кирпичников А.И. Последние годы и дни Жуковского. СПб., 1902.
18. Сочинения В. Жуковского: в 6 ч. / под ред. К.С. Сербиновича. 6-е изд. СПб., 1869.
19. Соловьев П.К. «Другой Петр Великий?»: Культ Николая I в русской литературе второй половины 1820-х – середины 1830-х гг. // Актуальные вопросы истории. Вып. 1. Саратов, 1999. С. 4–5.
20. Русский архив. 1885. № 7. С. 337–343.
21. Силантьев И.В. Сюжетологические исследования. М., 2009.
22. Виноцкий И. Теодиссея Жуковского: гомеровский эпос и революция 1848–1849 годов // Новое литературное обозрение. 2003. № 60. С. 171–193.

TO THE PROBLEM OF THE CONTEXT OF V.A. ZHUKOVSKY'S JERUSALEM PROJECT (ON MATERIALS OF POLITICAL ESSAYS AND RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL PROSE OF THE 1840S)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 46. 95–112. DOI: 10.17223/19986645/46/8

Irina A. Ayzikova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: wand2004@list.ru

Keywords: V.A. Zhukovsky, prose of the 1840s, romanticism, Palestine, Jerusalem, the Jerusalem project of Zhukovsky.

On the material of V. A. Zhukovsky's political journalism and religious-philosophical prose of the 1840s, the underlying intent and basis of his proposal to free the Holy Sepulcher and Jerusalem from the power of the Turkish Sultan (the so-called Jerusalem project of the writer) are considered. Vectors of internal communicative intentions of the author that spawned not only Zhukovsky's later art works of, but also a specific action plan proposed by the poet to the Russian Tsar and described in

personal letters of the late 1849 – early 1850 to Grand Dukes Konstantin Nikolaevich and Alexander are identified and connected with the interpretation of specific historical events. The focus of the study is on the contexts in which these proposals are expressed.

After his crisis of the rethinking of German idealistic philosophy, guided, like many leading men of the 1830s–1840, by a “search for a high mission”, Zhukovsky conceives a project, the implementation of which, in his opinion, would have solved the task of restoring the original integrity of being at all levels of its representation. Almost all researchers refer to the lyric-epic works of late Zhukovsky (primarily, the poem “A Wandering Jew”) with obvious parallels with his Jerusalem project as to contexts of this project. In the article, the author dwells on the late prose of the writer that shows the essential equivalence of the proposal under consideration, which allows to clarify its genesis, content and pathos. First of all, attention is paid to Zhukovsky’s reasoning of the complex and dangerous crisis in Europe, threatening it with death, and of the ways to save it. The most important characteristic of the European civilization, according to the writer, is atheism that, in his opinion, causes all other painful life-threatening phenomena. Zhukovsky’s prediction clear: if not to take action, Europe will suffer from “universal hatred” and destruction. Zhukovsky anticipates the collapse of Europe and interprets it in the light of his late 1840s philosophy of history that reflects the fundamental ideas of the Christian concept of the historical development of the humankind. Zhukovsky’s prosaic discourse about Europe discusses the question of Russia and its role in saving Europe and Christendom. One of the frequent characteristics of Russia in Zhukovsky’s articles is the “integrity” in it of faith in God and the sanctity of autocracy already destroyed in Europe. Liberation, on the initiative of the Russian Tsar, of the Holy Sepulcher from the power of the Turkish Sultan seems to the writer to be the most important event as Jerusalem with its Holy sites, in Zhukovsky’s opinion, is a metaphysical phenomenon that itself is the answer to the vexed questions of history. Zhukovsky sees the success of his Jerusalem project in its peaceful implementation. The conclusion that the Jerusalem project originated from Zhukovsky’s late ideas about the possibility of the return of the ideal to the earthly life, its connection with reality, and nurtured these ideas.

References

1. Ayzikova, I.A. (2015) The image of Palestine in the works of V.A. Zhukovsky (Article I). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 5 (37). pp. 108–123. (In Russian)
2. Ayzikova, I.A. (2016) The image of Palestine in the works of V.A. Zhukovsky (Article II). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. (40). pp. 94–108. (In Russian)
3. Efremov, P.A. (ed.) (1878) *Sochineniya V.A. Zhukovskogo: V 6 t.* [Works of V.A. Zhukovsky: In 6 vols]. 7th ed. St. Petersburg.
4. Motorin, A.V. (1996) *Obraz Ierusalima v russkom romantizme* [The image of Jerusalem in Russian Romanticism]. In: *Khristianstvo i russkaya literatura* [Christianity and Russian literature]. Vol. 2. St. Petersburg: Nauka.
5. Guzairov, T. (2007) *Zhukovskiy – istorik i ideolog nikolaevskogo tsarstvovaniya* [Zhukovsky: a historian and ideologue of the reign of Nicholas]. Tartu: Tartu ulikooli kirjastus.
6. Dubovenko, K.I. (2015) The German ecclesiastical-protreptic literature in notebooks of V.A. Zhukovsky of the 1840–1850s. *Sibirskiy filologicheskii zhurnal – Siberian Journal of Philology*. 3. (In Russian)
7. Kanunova, F.Z. & Ayzikova, I.A. (2001) *Nravstvenno-esteticheskie iskaniya russkogo romantizma i religii (1820–1840-e gg.)* [Moral and aesthetic search for Russian Romanticism and religion (1820s–1840s)]. Novosibirsk: Sibirskiy khronograf.
8. Zhukovskiy, V.A. (1902) *Poln. sobr. soch.: V 12 t.* [Complete Works: in 12 vols]. St. Petersburg.
9. Kanunova, F.Z. (2002) [The problem of the interaction of ontology and poetics in the poetic testament of V.A. Zhukovsky (“A Wandering Jew”)]. *Problemy literaturnykh zhanrov* [Problems of literary genres]. Proceedings of the X International Conference. Vol. 1. Tomsk: Tomsk State University. pp. 100–110. (In Russian)
10. Zhukovsky, V.A. (1895) *Pis'ma V.A. Zhukovskogo k Aleksandru Ivanovichu Turgenevu* [V.A. Zhukovsky’s letters to Alexander Ivanovich Turgenev]. Moscow.
11. Kotelnikov, V.A. (1994) *Pravoslavnaya asketika i russkaya literatura: (Na puti k Optinoy)* [Orthodox asceticism and Russian literature: (On the way to Optina)]. St. Petersburg: Prizma-15.

12. Vysheslavtsev, B.P. (1992) *Znachenie serdtsa v religii* [The importance of the heart in religion]. In: Vysheslavtsev, B.P. *Put'* [Way]. Vol. 1. Moscow.
13. Yurkevich, P.D. (1990) Serdtse i ego znachenie v dukhovnoy zhizni cheloveka, po ucheniyu Slova Bozhiya [Heart and its significance in the spiritual life of man, according to the teaching of the Word of God]. In: Yurkevich, P.D. *Filosofskie proizvedeniya* [Philosophical works]. Moscow: Pravda.
14. Zhukovskiy, V.A. (1985) *Estetika i kritika* [Aesthetics and criticism]. Moscow: Iskusstvo.
15. Russian National Library. Fund 286. Item 67. Page 86–89 rev.
16. Vitevskiy, V.N. (1883) *V.A. Zhukovskiy v svoikh pis'makh kak chelovek i nastavnik v Boze pochivshago Imperatora Aleksandra II (1783–1883)* [V.A. Zhukovsky in his letters as a man and a mentor of Emperor Alexander II (1783–1883) falling asleep in the Lord]. Kazan.
17. Kirpichnikov, A.I. (1902) *Poslednie gody i dni Zhukovskogo* [The last years and days of Zhukovsky]. St. Petersburg.
18. Serbinovich, K.S. (ed.) (1869) *Sochineniya V. Zhukovskogo: V 6 ch.* [Works of V. Zhukovsky: in 6 parts]. 6th ed. St. Petersburg.
19. Solov'ev, P.K. (1999) “Drugoy Petr Velikiy?” Kul't Nikolaya I v russkoy literature vtoroy poloviny 1820-kh – serediny 1830-kh gg. [“Another Peter the Great?” The cult of Nicholas I in Russian literature of the second half of the 1820s – the middle of the 1830s]. *Aktual'nye voprosy istorii*. 1. pp. 4–5.
20. *Russkiy arkhiv*. (1885). 7. pp. 337–343.
21. Silant'ev, I.V. (2009) *Syuzhetologicheskie issledovaniya* [Plot studies research]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
22. Vinit'skiy, I. (2003) Teodissey Zhukovskogo: gomerovskiy epos i revolyutsiya 1848–1849 godov [Theodissey of Zhukovsky: Homer's epic and the revolution of 1848–1849]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 60. pp. 171–193.

УДК 801.73

DOI: 10.17223/19986645/46/9

А.А. Казаков, Д.А. Медведева

БОРЬБА СЕНТИМЕНТАЛЬНОЙ, РОМАНТИЧЕСКОЙ И «НАТУРАЛЬНОЙ» МОДЕЛЕЙ БЕЗУМИЯ И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

В статье рассмотрен один из этапов формирования художественной концепции безумия в произведениях Достоевского на фоне столкновения основных моделей этого феномена: в творчестве В.Ф. Одоевского реализован «высокий» романтический вариант, в котором преодоление границ разума приводит к духовному прозрению; в наследии В.Г. Белинского и натуральной школы воплощено «низкое» прочтение, в котором потеря разума – это деградация и разложение. Соединяя оба варианта, писатель изучает возможности третьего пути: сентиментальной концепции чудака.

Ключевые слова: безумие, чудака, Ф.М. Достоевский, В.Ф. Одоевский, В.Г. Белинский, реализм, сентиментализм, романтизм.

У меня есть прожект: сделаться сумасшедшим.

Ф.М. Достоевский [1. Т. 28. С. 51]

В художественной концепции безумия, которую можно увидеть в творческом мире Достоевского, соединяются практически все сложившиеся к этому времени варианты понимания этого феномена – именно соединяются в рамках единой асимметрично амбивалентной модели. Великий писатель не делает выбор из существующих несовпадающих или даже взаимоисключающих трактовок, а сопрягает их, стремясь передать нелинейную многомерность безумия в реальности.

Необходимо рассмотреть контекст интерпретации безумия, который непосредственно определял среду художественного самоопределения Достоевского в 1840-е гг. – специфическую полемику по поводу безумия между В.Г. Белинским и В.Ф. Одоевским, материалистическим аналитизмом натуральной школы и романтическим синтетизмом.

Влияние творчества В.Ф. Одоевского на Достоевского отмечено в работах Р.Г. Назирова [2], Л.А. Левиной [3], А.Н. Баталовой [4] и др. То, что писатель выбрал цитату из рассказа Одоевского «Живой мертвец» в качестве эпиграфа к своему первому произведению, отчасти иллюстрирует значимость философских идей Одоевского для Достоевского. Существует мнение, что даже сама личность Одоевского входит в художественный мир писателя, становясь одним из прототипов князя Мышкина (персонажа, который сам по себе связан с идеей безумия, что отбрасывает ответ и на образ Одоевского в сознании Достоевского).

Проблема безумия крайне важна для Одоевского, достаточно вспомнить, что изначально «Русские ночи» носили название «Дом сумасшедших». «Безумное» и «ночное» оказываются взаимозаменяемыми метафорами иррациональной сущности реальности. «Философско-мистическое настроение углуб-

ляет его интерес к "сумасшедшим" людям, и он тщательно зарисовывает различные их разновидности, имея в виду собрать их вместе и поселить их в одном "Доме сумасшедших"...» [5. С. 68].

Герои В.Ф. Одоевского, подобно идеологам Достоевского, стремятся познать смысл реальности, а проверкой их идей на подлинность выступают разные типы сумасшествия. Например, в «Ночи второй» Одоевский обозначает необходимость наличия некоего универсального языка, который мог бы служить способом познания: «Зачем мы живем?» – спрашиваете вы. Трудный и легкий вопрос. Может быть, на него можно отвечать одним словом; но этого слова вы не поймете, если оно само не выговорится в душе вашей... Вы хотите, чтобы вас научили истине? – Знаете ли великую тайну: истина не передается. Исследуйте прежде всего, что значит говорить?.. говорить есть не что иное, как возбуждать в слушателе его собственное внутренне слово: если его слово не в гармонии с вашим – он не поймет вас... Неоспоримо, что словом исправляется слово; но для того действующее слово должно быть чисто и откровенно, а кто вам поручится за полную чистоту своего слова?..» [6. С. 14–15]. В контексте художественного мира Одоевского отвергается механистическое научное знание с его неполнотой: «Все доказано, все – и та, и другая сторона, и ложь, и истина, и да, и нет, и просвещение, и невежество, и гармония мира, и хаос создания. Одна мысль разрослась, захватила огромное пространство, а другая стоит против нее, ей противоположная, столь же сильная, столь же доказанная, как власть против власти!.. Это ли совершенство, завещанное мудрыми? Это ли совершенство, предначертанное святыми?» [6. С. 22].

Именно Одоевский показывает гибельность желания «все знать, все видеть, все понимать». Полученная Киприяно от Сегелиеля способность рационалистического постижения мира, являющаяся не чем иным, как аналитикой, дроблением мира на части вместо собирания его воедино, превращает его не в провидца, а в шута, губя любую возможность дальнейшего постижения истины.

Вспомним известные размышления Достоевского о синтезе и анализе: «Человек по великому результату науки идёт от многообразия к Синтезу, от фактов к обобщению их и познанию. А натура Бога другая. Это полный синтез всего бытия, <у Достоевского вычеркнуто: вечно> саморассматривающий себя в многообразии, в Анализе» [1. Т. 20. С. 174]. Человеку из его дробного наличного бытия должно стремиться к синтезу, нам не дано изначальное синтетическое видение реальности, опираясь на которое мы можем опускаться на ступеньку ниже, к анализу (как это возможно для Бога). На этом фоне приземленно-реалистическая аналитика в духе, например, натуральной школы – это шаг вниз даже по отношению к человеческим возможностям, заведомое понижение уровня познания действительности.

В рассказе «Кто сумасшедшие?» Одоевский пытается изнутри своей модели безумия объяснить разницу между высоким и низким вариантом выхода за границы разума: «Говорят, сумасшествие есть болезнь: раздражится нерв, расстроится орган, и душа не действует! Так толкуют медики» [7. С. 265]. Такое истолкование сумасшествия не устраивает Одоевского: «...зачем смешивать ума лишенных с сумасшедшими?..» [7. С. 265].

Подлинное безумие имеет высокий смысл: «В сумасшедших все понятия, все чувства собираются в один фокус; у них частная сила одной какой-нибудь мысли втягивает в себя все, принадлежащее к этой мысли, изо всего мира; получает способность, так сказать, отрывать части от предметов, тесно соединенных между собою для здорового человека, и сосредоточивать их в какой-то символ» [7. С. 263]. То есть именно безумец способен в своем сознании соединять предметы не согласно общепринятым представлениям, а сообразно их истинной сущности. Исследователи видят такой подход и в творчестве Достоевского: «Если здоровый человек, воспринимая предметы или раздумывая над происходящими событиями, в первую очередь обращает внимание на общезначимые и, как правило, наиболее существенные их характеристики, то больные шизофренией могут выделять в воспринимаемых и осмысливаемых объектах аспекты, которые не улавливаются здоровыми, остаются для них скрытыми (латентными)» [8. С. 121].

В хрестоматийных словах Аглаи Епанчиной о самом знаменитом герое Достоевского, доминантой образа которого была душевная болезнь, об «идиоте» князе Мышкине, сказано: «хоть Вы и больны умом <...> но зато главный ум у Вас лучше, чем у них у всех <...> потому что есть два ума: главный и неглавный» [1. Т. 8. С. 356]. В пушкинском стихотворении «Бедный рыцарь», которое Аглая читает князю, есть строки:

Он имел одно виденье,
Непостижное уму.

Высокий аспект образа Мышкина как «идиота» связан с этим же плодотворным преодолением границ «ума». (Ещё раз обратим внимание на то, что одним из прототипов Мышкина предположительно был Одоевский).

Известна трактовка этого аспекта художественной антропологии Достоевского, представленная в критических работах, а потом и в творчестве Г. Гессе, который после перелома в середине 1910-х гг. ощущает себя своего рода продолжателем Федора Михайловича. Немецкий писатель видит в мире Достоевского «магическое» зрение, коим, по убеждению Г. Гессе, обладает безумец [9]. Впрочем, немецкий писатель отождествляет «идиота» у Достоевского с «глупцом» у Ницше и видит в этом преодолении границ рассудка погружение в хаос, по ту сторону добра и зла. Именно в таком виде это воплотится в «Степном волке» в фантазматическом образе магического театра, в который войти могут только сумасшедшие.

Если в романтизме безумие открывает в человеке способности к высшему видению, то для сторонников натуральной школы безумие есть не что иное, как болезнь сознания. В.Ф. Одоевскому полемически противостоит В.Г. Белинский. В письме В.П. Боткину от 17 февраля 1847 г. Белинский рассказывал: «Добрый Одоевский раз не шутя уверял меня, что нет черты, отделяющей сумасшествие от нормального состояния ума, и что ни в одном человеке нельзя быть уверенным, что он не сумасшедший» [10. С. 332]. Сам критик полемизировал с таким подходом к теме сумасшествия. Он выступал против «апофеозы сумасшествия» [10. С. 312]. Герой повести Одоевского, архитектор Пиранези, по мнению Белинского, «достоин жалости, как всякий сума-

спешший, но не внимания, как всякий замечательный человек» [10. С. 312]. В герое «Сильфиды», писал Белинский, Одоевский хотел «изобразить идеал одного из тех высоких безумцев, которых внутреннему созерцанию (будто бы) доступны сокровенные и первостепенные тайны жизни» [10. С. 314]. Как мы помним, сразу же после публикации «Двойника» Достоевского постигли похожие обвинения со стороны критика. Согласно программе натуральной школы даже гениальное сознание в своей переразвитости превращается в болезнь, мечтательство с потерей связи с плотью жизни – нездоровое искажение, даже чрезмерная рассудочность – путь к деградации.

Объективно-реалистическая модель безумия, в рамках которой этот феномен лишается мистического ореола, оставляет всё же возможность для его высокого понимания в общем контексте относительности правильного и нормативного в нашем несовершенном мире. Так, например, в 1839 г. в повести Полевого «Дурочка»: «...спросите у всех, и все вам скажут, что она дурочка», – говорит носитель общественного мнения. Но «дурочка» оказывается гораздо честнее и благороднее «здоровых» людей, что заставляет главного героя подвергнуть сомнению норму большинства: «Умный и дурак? Мы беспрестанно слышим эти слова, но многие из нас думали над их значением? Сколько раз дураками называли при мне таких людей, которые не имели только известных форм общественных... И где различие между умом и безумием, по которому едва на цыпочках пройдет мысль человеческая? И что такое наш ум? Неужели все освещено умом, что прыгало вчера вокруг бедной девушки?» [11. С. 564].

Если быть точным, описывая соотношение низкого и высокого в этой модели безумия, следует признать, что ценностный статус «дурочки» здесь низкий, в ней нет романтической тайны. Но этот статус оказывается относительным в контексте несовершенства самого оценивающего общества, и возможна переоценка, в ходе которой «дурочка» переместится с нижней точки на верхнюю. Реалистическая модель безумия здесь совмещена с карнавальной относительностью, заменяемостью позиций короля и шута, возможностью «иной» правды и структуры реальности.

Героиня Полевого является модификацией прошедших через века фигур шута и дурака в их изначальной функции отражения некой особой, критической, содержащей свою правду позиции в мире. Словами М.М. Бахтина, это «форма бытия человека – безучастного участника жизни, вечного согладателя и отражателя ее» [12. С. 311]. «Плут, шут и дурак, – писал Бахтин, – создают вокруг себя особые мирки, особые хронотопы. Им присуща своеобразная особенность и право – быть чужими в этом мире, ни с одним из существующих жизненных положений этого мира они не солидаризируются, ни одно их не устраивает, они видят изнанку и ложь каждого положения. Шут и дурак – «не от мира сего» и поэтому имеют особые права и привилегии» [12. С. 308].

Достоевский в заметке «От автора» в «Братьях Карамазовых» выстраивает апологию странности, родственную той, что мы видели у Полевого: «...не только чужак «не всегда» частность и обособление, а напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе сердцевину целого, а остальные люди его эпохи – все каким-то наплывным ветром, на время почему-то от него оторвались» [1. Т. 14. С. 5].

В литературе XIX в. часто появляются безумцы-чудаки, которые, подобно мениппейным мудрецам, разбивают (в том числе невольно) инерцию восприятия, не понимая существующих условностей и заставляя в них усомниться. В словаре русского языка Даля чудака определяется как «человек странный, своеобычный, делающий все не по-людски, а по-своему, вопреки общего мнения и обыка» [13. С. 612–613]. Существенной чертой образа «чудака» представляется его пограничное положение – на границе общества, на границе двух миров, на границе собственного сознания.

Образ чудака имеет свою традицию изображения в русской и зарубежной литературе, и его принято связывать, прежде всего, с произведениями Диккенса, чье творчество имело немалое влияние на русских писателей, в частности на Достоевского и Лескова. Именно Диккенс, создавая идеал человека, носителя истинной правды о мире, являет его в образах тех, кто не вписывается в нормальный мир, кого хочется назвать дураками и безумцами. Вспомним мистера Пиквика с его странной компанией: поэт Снодграсс, не написавший ни одного стихотворения, или спортсмен Уинкль, который не владеет ни одним видом спорта. Эти чудаки без конца попадают в дурацкие положения, они смешны, они не соответствуют миру. И вот здесь постепенно и вырисовывается истина – это мир не соответствует им, мир нелеп, а не эта компания. Они остаются чудаками до конца романа, но тем не менее никто иной, как чудака Пиквик, видится идеальным героем, именно его слова и поступки воспринимаются наиболее настоящими, правдивыми, истинными. Или вспомним мистера Дика – казалось бы, душевнобольной с общепринятой точки зрения, а по факту – человек с зорким сердцем, понимающий суть действительности куда лучше здоровых героев.

У Достоевского так же, как у Диккенса, проявляется пристрастие к категории «лиц справедливых, но уступающих, юродивых и забытых» [1. Т. 32. С. 37]. И положительными персонажами у Федора Михайловича, как и у английского писателя, часто выступают крайние чудаки. У Достоевского даже князь Мышкин, фигурирующий в черновиках под именем «Князь Христос», ближе к типу чудака, чем к типу византийского юродивого [14. С. 36], и связан, скорее, с чудаками Диккенса, в конечном итоге восходящими к Дон Кихоту. (Уместно напомнить, что сам великий русский писатель, выстраивая литературный контекст для своего образа «положительно прекрасного человека», в письмах упоминает именно Дон Кихота и Пиквика [1. Т. 9. С. 239]).

Очень значимо, что определение «чудаков», как правило, проясняется скорее от обратного – не такие, как все, странные люди. Однако странность и особенность являются свойствами и других типов героев. Вспомним одержимых вечной скорбью романтиков Байрона или «лишних людей» в творчестве русских классиков. В чём специфика чудака в этом ряду? Диккенс, а за ним и Достоевский, отходит от романтической традиции тем, что наполняет её социальным содержанием (делает значимым влияние общества), и тогда чуждость и сумасшествие может прилагаться к любому персонажу, что, в свою очередь, снимает критерий романтической исключительности. Бахтин указывал на сентиментальные аспекты образа чудака, на связь со слабым, трогательным, уязвимо-невинным [15. С. 416].

Достоевсковедами давно установлено, что традиции сентиментализма имеют важное значение в мире писателя, особенно в ранний период [16. С. 4]. Исследователи указывают, что сентиментальная модель человека сыграла определяющую роль во внутренней полемике молодого Достоевского с художественными методами натуральной школы, как их понимал Белинский. Механистичное, безличное видение человека оказывается лишь относительно противопоставлено романтизму. Механистическая модель среды, господствующая в натуральной школе, имеет именно романтическое происхождение (от Гофмана к Гоголю, а от последнего к натуральной школе) [17. С. 154–155, 158–159]. Иначе говоря, в упомянутой выше полемике о природе безумия Одоевский выбирал полюс исключительной личности, а Белинский делал акцент на безликой среде внутри той же корреляции. А молодой Достоевский предлагает находящийся за пределами этой парадигмы третий путь, восходящий к сентиментальной антропологии (см.: [18, 19, 20]).

В чём же суть этого третьего пути, если его перенести в контекст полемики о природе безумия? Сентиментальная модель, феноменология чудака лишает безумца возвышенной исключительности, мистического ореола. Чудак (как и принятый в сентиментализме образ человека) тяготеет к маленькому, а не возвышенному, обыкновенно-повседневному, а не мистическому. Он стоит внизу общественной пирамиды, но специфическая внутренняя правда, которой он обладает, может быть весомее всего остального, может показать ложность и несущественность самой этой пирамиды.

Сентиментально-чудаческое размещает проблему безумия в обыденно-реалистическом контексте, лишая её провиденциально-мистического содержания, но не растворяя в механистически-обезличенной среде в натуральном духе. Чудак в сугубо земном ключе заставляет задуматься о внутреннем, о возможности жизни на других основаниях и т.д. Запредельно-иррациональная модель безумия тоже не исчезнет из кругозора Достоевского, она займёт своё место в специфической энциклопедии безумия, которой является художественный мир великого писателя. Асентиментально-чудаческая версия этого феномена особенно важна как специфическое художественное решение в контексте спора реализма и романтизма, связанное с вопросами о природе самой реальности, о сущности человека и о принципах его художественного изображения.

Сверхъестественно-мистическое сложным образом представлено в самом слове «чудак». Даль указывает, что «чудак» в русском языке этимологически связан с «чудом», что значит «всякое явление, кое мы не умеем объяснить по известным нам законам природы» [13. С. 612–613]. Природа переосмысления чудесного в чуде пока остается за скобками данного исследования, но можно предварительно наметить, что здесь тоже идет речь о перемещении сверхъестественного в зону повседневно земного в духе общей модели сентиментально-чудаческого, которая предлагается в нашей работе (вспомним, как трактуется вера в чудо «чудака» Алёши Карамазова).

Неслучайным видится тот факт, что в это время другой писатель, тоже испытавший влияние Диккенса, выстраивает похожую антропологию чудачества: характерный пример – рассказ Н.С. Лескова «Дурачок». В лице Паньки, «безродного крепостного мальчика», для которого его «должность <...> что-

бы «всем помогать»» [21. Т. 9. С. 242] с самого детства стала ещё и потребностью сердца, Лесков рисует тип праведника, оказавшегося для окружающих, лишённых свойственных ему бескорыстия и деятельной любви к людям, дурачком, юродивым. Лесков показывает нам героя, отдавшего себя ежедневному служению людям, которые, в свою очередь, воспринимают поступки человека, живущего по-божьи, как юродство, дурость, шутовство. Лесков рассуждает: «Кого надо считать дураком? Кажется, будто это всякий знает, а если начать сверять, как кто это понимает, то и выйдет, что все понимают о дураке неодинаково. По академическому словарю, где каждое слово растолковано в его значении, изъяснено так, что «дурак» слабоумный человек, глупый, лишенный рассудка, безумный, шут...» <...> а между тем в жизни случается встречать таких дураков или дурачков, которым эта кличка дана, но они, между тем, не безумны, не глупы и ничего шутовского из себя не представляют» [21. Т. 11. С. 397]. О герое рассказа «Однодум» Н.С. Лескова говорится: «На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и «до Христа дочитался», с того резонных поступков строго спрашивать нельзя; но зато эти люди что юродивые, – они чудесят, а никому не вредны, и их не боятся» [21. Т. 6. С. 456].

«Антики» и «дурачки» Лескова, как и «чудаки», «идиоты», «юродивые» Достоевского, – носители авторского идеала, живущие по законам любви к людям в обществе, лишённом человечности. Писатели вкладывают в эти определения сходный смысл: их герои несут в себе «сердцевину целого», представляют собой «живой опыт» деятельной любви к людям, которая спасает мир. Оба писателя убеждены в благотворном воздействии на окружающих такого вдохновляющего примера. Алеша и Мышкин меняют окружающую действительность, в рассказе Лескова «Дурачок» также, пусть в финале, звучит голос народа: «он ведь, может быть, праведный» [21. Т. 9. С. 256]. Для автора это признание особенно важно, так как знаменует начало общего движения к возрождению. Например, «несмертельность» героя рассказа «Несмертельный Голован» придумана людской молвой. В повествовании писатель противопоставляет легенде об этом чуде объективные факты, срывает загадочные покровы с мифа о «несмертельности» героя, но все же предлагает читателю задуматься над загадкой возникновения этой веры, имеющей общечеловеческое значение. Концепция чуда, лишённого потусторонне-мистического измерения, но позволяющего увидеть возможность другой организации реальности, очень близка к тому, что выше говорилось о сентиментально-чудаческом аспекте этой темы у Достоевского (в творчестве Лескова принципы, так сказать, «сентиментального реализма» воцаряются, скорее всего, в силу определяющего влияния Диккенса). Здесь предполагается преодоление приземленно-реалистического объективистского взгляда на действительность, но нерационально-инаковое оказывается сугубо земным, без возникновения романтического двоемирия. (Следует напомнить, что в мире Достоевского сентиментальная модель безумия не является единственной.)

Примечательно, что среди разгромных отзывов на роман «Идиот» наименее категоричным было осуждение романа в напечатанном в январе 1869 г. анонимном обзоре «Вечерней газеты», принадлежащем, как установлено, Н.С. Лескову [22]. Он, как и большинство представителей современной Дос-

тоевскому критику, соглашался, что действующие лица романа «все, как на подбор, одержимы душевными болезнями», однако Лесков стремился все же понять исходную мысль, которой руководствовался автор «Идиота» в обрисовке характера центрального героя. «Главное действующее лицо романа, князь Мышкин, – идиот, как его называют многие, – писал Лесков, – человек крайне ненормально развитый духовно, человек с болезненно развитою рефлексиею, у которого две крайности, наивная непосредственность и глубокий психологический анализ, слиты вместе, не противореча друг другу; в этом и заключается причина того, что многие считают его за идиота, каким он, впрочем, и был в своем детстве» [23] (цит. по: [1. Т. 9. С. 415]).

Итак, сентиментальное понимание человека было методологической основой для внутренней полемики молодого Достоевского с принципами натуральной школы, как их понимал Белинский. Восходящее к сентиментальному чудаческое станет опорой и в переосмыслении модели героя-деятеля, «нового человека», выработанной идеологическими наследниками критика, шестидесятниками. И героем-деятелем, по версии Достоевского, становится именно чудак: «Дело в том, что это, пожалуй, и деятель, но деятель неопределенный, невыяснившийся. Впрочем, странно бы требовать в такое время, как наше, от людей ясности. Одно, пожалуй, довольно несомненно: это человек странный, даже чудак. Но странность и чудачество скорее вредят, чем дают право на внимание, особенно когда все стремятся к тому, чтобы объединить частности и найти хоть какой-нибудь общий толк во всеобщей бестолочи. Чудак же в большинстве случаев частность и обособление. Не так ли?» [1. Т. 14. С. 5]. И когда читатель соглашается с возможностью отклониться от тривиального понимания этой проблемы, Достоевский предлагает свой вариант осмысления этого феномена: «...не только чудак «не всегда» частность и обособление, а напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе сердцевину целого, а остальные люди его эпохи – все каким-то наплывным ветром, на время почему-то от него оторвались» [1. Т. 14. С. 5].

Достоевский сознает, что препятствием к осуществлению взаимной общечеловеческой любви и братства стала тенденция общества к обособлению и самоутверждению каждого, эгоистическая природа современного человека. Эта мысль отразилась в «Зимних заметках о летних впечатлениях», а особенно – в романе «Братья Карамазовы»: «Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства <...> Ибо все-то в наш век разделились на единицы, всякий уединяется в свою нору, всякий от другого отдаляется, прячется и, что имеет, прячет и кончает тем, что сам от людей отталкивается и сам людей от себя отталкивает <...> Повсеместно ныне ум человеческий начинает насмешливо не понимать, что истинное обеспечение лица состоит не в личном уединенном его усилии, а в людской общей целостности» [1. Т. 14. С. 275]. Если безумие Барнаби, как до этого комическое чудачество Пиквика и детская наивность Нэлл, – освобождение героя от пут окружающего мира, то чудачество героев Достоевского – собирание этого мира воедино, придание ему его истинного образа.

Так можно охарактеризовать истоки, историю формирования и развития альтернативной, «третьей» модели безумия в творчестве Достоевского. Концепция чудачества, восходящая к сентиментализму, позволяет великому писателю избежать ограниченности и крайностей романтической «высокой» и натуральной «низкой» модели безумия. В этом художественном решении адекватно отражаются сущностные вопросы мировоззрения и эстетики Достоевского: представления о сущности человека и его месте в мире, а также принципы художественного отображения действительности.

Литература

1. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
2. Назиров Р.Г. Владимир Одоевский и Достоевский // Назиров Р.Г. Русская классическая литература: сравнительно-исторический подход. Исследования разных лет. Уфа, 2005. С. 37–41.
3. Левина Л.А. Два князя (Владимир Федорович Одоевский как прототип Льва Николаевича Мышкина) // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 1997. Т. 14. С. 139–153.
4. Роман Ф.М. Достоевского «Идиот» в автобиографическом и реально-историческом контекстах // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2012. № 28 (282): Филология. Искусствоведение. Вып. 70. С. 21–25.
5. Сакулин П.Н. Из истории русского идеализма. Князь В.Ф.Одоевский: Мыслитель-писатель. Т. 1, ч. 2. М., 1913. 479 с.
6. Одоевский В.Ф. Русские ночи. Л.: Наука, 1975. 316 с.
7. Семиотика безумия: сб. ст. / сост. Нора Букс. Париж; Москва: Европа, 2005. С. 257–266.
8. Кузнецов О.Н., Лебедев В.И. Достоевский: над бездной безумия. М.: Когито-центр, 2003. 225 с.
9. Гессе Г. Размышления об «Идиоте» Достоевского. 1919 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.hesse.ru>
10. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. М., 1956. Т. 12. 415 с.
11. Полевой Н.А. Дурочка. Избр. произведения и письма. Л.: Худож. лит., 1986. 803 с.
12. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 500 с.
13. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. СПб.; М., 1882. Т. 4. С. 612–613.
14. Мелетинский Е.М. Заметки о творчестве Достоевского. М., 2001. 187 с.
15. Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Русские словари, 2000. Т. 2. 504 с.
16. Желякова Э.М. Традиции сентиментализма в творчестве раннего Достоевского (1844–1849). Томск: Изд-во Том. ун-та, 1989. 272 с.
17. Богданова О.А. Ф.М. Достоевский // «Натуральная школа» и ее роль в становлении русского реализма. М.: Наследие, 1997. 255 с.
18. Виноградов В.В. Школа сентиментального натурализма: (Роман Достоевского «Бедные люди» на фоне литературной эволюции 40-х годов) // Виноградов В.В. Поэтика русской литературы: избр. тр. М., 1976. С. 141–187.
19. Мани Ю.В. Утверждение критического реализма. Натуральная школа // Развитие реализма в русской литературе. М., 1972. Т. 1. С. 234–291.
20. Мани Ю.В. Философия и поэтика «натуральной школы» // Проблемы типологии русского реализма. М., 1969. С. 241–305.
21. Лесков Н.С. Собрание сочинений: в 11 т. М.: Худож. лит., 1956. Т. 9. 407 с.
22. Столярова И.В. Неизвестное литературное обозрение Н.С. Лескова // Учен. зап. Лeningr. ун-та. 1968. № 339. Сер. филол. наук. Вып. 72. С. 224–229.
23. Вечерняя газета. 1869. 1 янв. № 1.

CONFRONTATION OF SENTIMENTAL, ROMANTIC AND "NATURAL" MODELS OF MADNESS AND ITS REFLECTION IN THE LITERARY WORKS OF F.M. DOSTOEVSKY

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 46. 113–123. DOI: 10.17223/19986645/46/9

Alexey A. Kazakov, Diana A. Medvedeva, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation); Tomsk Polytechnic University. E-mail: akaz75@mail.ru / d.a.medvedeva@mail.ru

Keywords: madness, oddity, oddball, F.M. Dostoevsky, V.F. Odoevsky, V.G. Belinsky, realism, sentimentalism, romanticism.

The article deals with one of the formation stages of the artistic conception of madness in Dostoevsky's works: the writer connects all variants of understanding madness, trying to convey a non-linear multidimensionality of madness in reality. His appeal to this problem comes amid the controversy over insanity between V.G. Belinsky and V.F. Odoevsky, between materialistic analytism of the natural school and romantic synthetism. Reflecting on his work in both versions, the great novelist is exploring the possibility of a third way: the sentimental concept of oddity.

In the article, the authors reconstruct the specified madness modeling context in Dostoevsky's world and consistently analyze the romantic, "natural" and sentimental concepts of madness. As shown in the work, in V.F. Odoevsky's works and in I.G. Belinsky's critical heritage the phenomenon of madness is perceived as a representative marker of the artistic anthropology of romanticism and the natural school.

The problem of madness is extremely important for V.F. Odoevsky. It is enough to recall that the original "Russian Nights" was called "Madhouse". "Insane" and "Night" are interchangeable metaphors of irrational essence of reality. In the story "Who's Crazy?" V.F. Odoevsky tries to explain the difference between a high and a low option by going beyond the boundaries of mind from inside of his madness model. Being romantic, the writer believes that true madness has a high sense, because the oddball ("odd man" in Dostoevsky's novels) is able to combine items in his consciousness not according to conventional ideas, but according to their true nature.

If madness in romanticism opens abilities to the highest vision in a man, for the proponents of the natural school madness is nothing but a disease of consciousness, it is not ascension but degradation. In this case, the boundaries of the human are overcome in another direction. V.G. Belinsky is polemically opposed to V. F. Odoevsky. He opposed the "apotheosis of madness", which he sees in this romanticist's work. After the publication of "The Double" Dostoevsky suffered similar accusations from the criticism.

The sentimental model of a man played a decisive role in the internal polemics between young F.M. Dostoevsky and the artistic techniques of the natural school, as it was understood by V.G. Belinsky. The same principle applies in the context of the insanity problem. Dostoevsky draws a sentimental model of madness: the image of an odd man. He stands at the bottom of the social pyramid, but the specific internal truth which he possesses can be worth more than all the rest, can show the falsity and the inessentiality of this pyramid.

The article also examines the literary context of the sentimental madness model in Dostoevsky's works, the authors offer a comparison of the oddball concept in F.M. Dostoevsky's, N. S. Leskov's and Ch. Dickens' works, whose creativity can be considered the main source of the image of the oddball for these Russian writers.

References

1. Dostoevsky, F.M. (1972–1990) *Polnoe sobranie sochineniy: V 30 t.* [Complete Works: in 30 vols]. Leningrad: Nauka.
2. Nazirov, R.G. (2005) Vladimir Odoevskiy i Dostoevskiy [Vladimir Odoevsky and Dostoevsky]. In: Nazirov, R.G. *Russkaya klassicheskaya literatura: sravnitel'no-istoricheskiy podkhod. Issledovaniya raznykh let* [Russian classical literature: a comparative-historical approach. Studies of different years]. Ufa: Bashkir State University.
3. Levina, L.A. (1997) Dva knyazya (Vladimir Fedorovich Odoevskiy kak prototip L'va Nikolaevicha Myshkina) [Two princes (Vladimir Fedorovich Odoevsky as a prototype of Lev Nikolayevich Myshkin)]. In: Budanova, N.F. & Yakubovich, I.D. (eds) *Dostoevskiy. Materialy i issledovaniya* [Dostoevsky. Materials and research]. Vol. 14. St. Petersburg: Nauka.

4. Battalova, A.N. (2012) Roman F.M. Dostoevskogo "Idiot" v avtobiograficheskom i real'no-istoricheskom kontekstakh [F.M. Dostoevsky's Idiot in autobiographical and real-historical contexts]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta – CSU Bulletin*. 28(282):70. pp. 21–25.
5. Sakulin, P.N. (1913) *Iz istorii russkogo idealizma. Knyaz' V.F. Odoevskiy. Myslitel'-pisatel'* [From the history of Russian idealism. Prince V.F. Odoevsky. The thinker and writer]. Vol. 1. Part 2. Moscow.
6. Odoevsky, V.F. (1975) *Russkie nochi* [Russian nights]. Leningrad: Nauka.
7. Books, N. (2005) *Semiotika bezumiya. Sb. statey* [The semiotics of insanity. Articles]. Paris; Moscow: Evropa.
8. Kuznetsov, O.N. & Lebedev, V.I. (2003) *Dostoevskiy: nad bezdnoy bezumiya* [Dostoevsky: above the abyss of insanity]. Moscow: Kogito-tsentr.
9. Hesse, H. (1919) *Razmyshleniya ob "Idiote" Dostoevskogo* [Reflections on the Idiot by Dostoevsky]. Translated from German. [Online] Available from: <http://www.hesse.ru>.
10. Belinskiy, V.G. (1956) *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete Works]. Vol. 12. Moscow: USSR AS.
11. Polevoy, N.A. (1986) Durochka [A fool girl]. In: Polevoy, N.A. *Izbrannye proizvedeniya i pis'ma* [Selected works and letters]. Leningrad: Khudozhestvennaya literatura.
12. Bakhtin, M.M. (1975) *Voprosy literatury i estetiki* [Questions of literature and aesthetics]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
13. Dahl, V. (1882) *Tolkovyy slovar' zhivago velikorusskogo yazyka. V 4 tt.* [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language. In 4 vols]. Vol. 4. St. Petersburg; Moscow: .
14. Meletinskiy, E.M. (2001) *Zametki o tvorchestve Dostoevskogo* [Notes on the works of Dostoevsky]. Moscow: RSUH.
15. Bakhtin, S.M. (200) *Sobr. soch.: V 6-ti t.* [Works: in 6 vols]. Vol. 2. Moscow: Russkie slovari.
16. Zhilyakova, E.M. (1989) *Traditsii sentimentalizma v tvorchestve rannego Dostoevskogo (1844–1849)* [The traditions of sentimentalism in the works of the early Dostoevsky (1844–1849)]. Tomsk: Tomsk * SU.
17. Bogdanova, O.A. (1997) F.M. Dostoevsky. In: Bogdanova, O.A. *"Natural'naya shkola" i ee rol' v stanovlenii russkogo realizma* [The "Natural School" and its role in the formation of Russian realism]. Moscow: Nasledie.
18. Vinogradov, V.V. (1976) Shkola sentimental'nogo naturalizma (Roman Dostoevskogo "Bednye lyudi" na fone literaturnoy evolyutsii 40-kh godov) [The school of sentimental naturalism (Dostoevsky's novel Poor People in the literary evolution of the '40s)]. In: Vinogradov, V.V. *Poetika russkoy literatury: Izbrannye trudy* [Poetics of Russian Literature: Selected Works]. Moscow: Nauka.
19. Mann, Yu.V. (1972) Utverzhdenie kriticheskogo realizma. Natural'naya shkola [Adoption of critical realism. The Natural School]. In: Lomunov, K.N. et. al. (eds) *Razvitie realizma v russkoy literature* [Development of Realism in Russian Literature]. Vol. 1. Moscow: Nauka.
20. Mann, Yu.V. (1969) Filosofiya i poetika "natural'noy shkoly" [Philosophy and poetics of the "Natural School"]. In: Stepanova, N.L. (ed.) *Problemy tipologii russkogo realizma* [Problems typology of Russian realism]. Moscow: Nauka.
21. Leskov, N.S. (1956) *Sobranie sochineniy: V 11 t.* [Collected works: In 11 vols]. Vol. 9. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
22. Stolyarova, I.V. (1968) Neizvestnoe literaturnoe obozrenie N.S. Leskova [Unknown literature review of N.S. Leskov]. *Uchen. zap. Leningr. Un-ta*. 339:72. pp. 224–229.
23. *Vechernyaya gazeta*. (1869). 1 January. 1.

УДК 821.161.1.0

DOI: 10.17223/19986645/46/10

О.Б. Лебедева, **А.С. Янушкевич**

**В.А. ЖУКОВСКИЙ И А.В. НИКИТЕНКО О СИКСТИНСКОЙ
МАДОННЕ РАФАЭЛЯ: ТИПОЛОГИЯ ЭКФРАСИСА
КАК РЕПРЕЗЕНТАНТ ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ**

В статье на материале эссе В.А. Жуковского «Рафаэлева мадонна» и малоизвестной статьи А.В. Никитенко «Рафаэлева Сикстинская мадонна» рассмотрена эволюция живописного экфрасиса и эстетической мысли в русской словесности 1820–1850-х гг. и реконструированы биографический контекст и творческая история эссе Жуковского. Вышедшая из глубин житнетворческой лирики Жуковского экфрастическая мифологема «Рафаэлевой Мадонны» – «Гения чистой красоты» не только бросила на русскую лирику ассоциативный отсвет живописного полотна: именно в лирике она сохранила всю полноту своего эмоционального комплекса. В русской эстетике судьба экфрасиса Жуковского оказалась иной: на долгое время определив априорные представления о картине Рафаэля и частично сохранив свою актуальность, он в конце концов был опровергнут неромантическим типом сознания и мировосприятия. Индикатором этой трансформации стала посвященная «Сикстинской мадонне» статья А.В. Никитенко, написанная с позиций исторической критики и истории искусства. Экфрасис Никитенко – типичная искусствоведческая конструкция, в которой главный герой – интеллект современного критика.

Ключевые слова: В.А. Жуковский, А.В. Никитенко, Рафаэль, «Сикстинская мадонна», литературный экфрасис, романтическая эстетика, история искусства, историческая критика.

История европейской эстетической мысли на рубеже XVIII и XIX вв. прихотлива и полисемантична. С одной стороны, в ней еще сильна классицистическая и просветительская традиция, породившая феномен неоклассицизма, открытия Шиллера и Гете, философию Sturm und Drang. С другой стороны, набирают разбег идеи сенсуализма и сентименталистской калокагатии, эстетика дескриптивной поэзии. И в этом философско-эстетическом пространстве, неразрывно связанном с идеями Великой французской революции и новой концепцией историзма, рождаются ранние романтические веяния.

Проблема соотношения вещественного и духовного, связи миров и их трансцендентального смысла расширяет сферу эстетической рефлексии, выводя ее не только за пределы нормативности «поэтического искусства», но и формируя концепцию синестезийности как идею синтеза искусств. Идет поиск нового языка искусства для пересоздания в слове таинств духовного мира, загадок творческого сознания. «Весь мир в мою теснился грудь», «душа распространяется», «посол души, внимаемый душой», «невыразимое подвластно ль выраженью» – эти поэтические максимы первого русского романтика В.А. Жуковского родились в атмосфере эстетической экзальтации переходной эпохи и приобрели масштаб манифестов русского романтизма.

На пути к новому языку поэзии особое значение приобретал феномен экфрасиса. В последние десятилетия исследователи обратили свой взор к этому

экзотичному явлению, имеющему многовековую историю в эстетическом сознании. Но программный эстетический смысл это явление получает именно в эпоху предромантических веяний. Заглавие своего трактата «Лаокоон...» (1766) Лессинг дополняет подзаголовком: «...или о границах живописи и поэзии». Уже в самом начале предисловия к трактату он пишет:

Первый, кто сравнил живопись и поэзию между собою, был человеком тонкого чутья, заметившим на себе сходное влияние обоих искусств <...>;

Второй попытался глубже вникнуть во внутренние причины этого удовольствия <...>;

Третий стал размышлять о значении и применении этих общих правил <...> [1. С. 65–66].

Излагая точки зрения «любителя искусств», философа и критика, Лессинг констатирует назревшую потребность в новом подходе к выявлению взаимоотношений живописи и поэзии. Его сравнение шедевров греческой скульптуры с трагедиями Софокла и поэмами Гомера было прорывом в эстетику синтеза искусств, но время живописного экфрасиса еще не пришло, поскольку просветительское эстетическое сознание, ориентируясь на вечные образцы красоты, видело их прежде всего в скульптуре. Напротив, романтический тип сознания увидел их в живописи.

И дело в том, что экфрасис воссоздает не только процесс синтеза вербального и визуального начал в искусстве. Романтический экфрасис – это оригинальное миромоделирование, органично включающее концепцию творческого вдохновения и образ самого творца. Через тридцать лет после Лессинга В.-Г. Вакенродер в «Сердечных излияниях отшельника – любителя искусств» (не исключено, что в номинации личности автора – «любитель искусства», *kunstliebender*, заложен полемический подтекст по отношению к «любителю искусств» Лессинга) в предисловии к статье «Два описания картин» замечает:

Все же мне пришло на ум описать несколько картин так, как сейчас я покажу тебе, читатель, – не потому, что я нахожу эти описания очень удавшимися, но лишь для того, чтобы познакомить тебя с той *методой*, какую я для этого употребляю [2. С. 53].

В отличие от своего великого предшественника молодой «любитель искусств» и «отшельник» не просто констатирует близость живописи и поэзии, но и пытается найти ту «методу», которая бы позволила дать «описание картин». Однако предлагая две стихотворные картины на сюжеты «Святая дева с младенцем Иисусом и младенцем Иоанном» и «Поклонение волхвов», он создает свои фантазии об искусстве, когда «наше воображение отлетает от доски и само по себе витает в воздухе» [2. С. 53]. Стихотворные экфрасисы Вакенродера – это не простое переложение визуального искусства вербальными средствами. Это сотворение «своего» из «чужого», перевод с одного языка на другой. В своих «Фантазиях об искусстве» Вакенродер создает экфрасисы «Изображение Рафаэля», «Страшный суд» Микеланджело, «Собор

святого Петра», «Картины Ватто», говорит о «языке красок», соотносит его с «языком музыкальных звуков», но за этими, казалось бы, искусствоведческими эссе открывается пространство духовной жизни творца-художника, своеобразный экфрасис духовного ландшафта:

Там, где покоится твоя благословенная рука, возникает новый мир, неизведанная, полная тайн красота;

<...> залы, украшенные духом Рафаэля;

Таково же свойство творения Буонарроти. <...> Весь мир, прошлое и будущее, стеснился здесь в нечеловечески смелой поэзии;

<...> его картина – это предел всякой поэзии, всех религиозных картин, это конец времен;

Как много человеческих судеб говорит из всякого твоего камня;

Он весь ушел в свой мир красок;

<...> кто до глубины души чувствует высокое в искусстве и очищается духом возвышенного [2. С. 134–136, 140, 144].

Во всех этих высказываниях определяющей становятся идеи сотворения нового мира, духа и души творца, мотив очищения и возвышения души. Поэтика экфрасиса у Вакенродера очеловечена; живопись, музыка (во втором разделе «Фантазий об искусстве...» в цикле «статей Иозефа Берглингера о музыке» Вакенродер дает оригинальные опыты вербализации музыкальных произведений) и поэзия во взаимодействии раскрывают процесс распространения души и жизнотворческий потенциал искусства. Но может быть особенно важно, что экфрасис в эстетике Вакенродера и других романтиков открывает «таинственную силу» языка искусства. В статье с характерным заглавием «О двух удивительных языках и их таинственной силе» Вакенродер, говоря о языках природы и искусства, подчеркивает что последнему

<...> присуща чудесная власть над человеческим сердцем <...> *Искусство* <...> раскрывает нам сокровища человеческого духа, направляет наш взор внутрь себя и в человеческом образе показывает нам незримое – я имею в виду все благородное, великое и божественное [2. С. 68] (курсив автора. Здесь и далее оговариваются курсивы авторов цитируемых текстов. Все неоговоренные курсивы в цитатах принадлежат нам. – О.Л., А.Я.).

Высшим проявлением этих тенденций в искусстве для Вакенродера становится Рафаэль. Именно в нем и его творениях он увидел высшее выражение человеческого гения и его способность возвышать душу. Отвергая упреки в злоупотреблении его именем, в потере «чувства меры» в его оценке, Вакенродер решительно заявляет:

Я не ищу его [Рафаэля] имени, оно само приходит мне на ум <...>; он служит мне твердым мерилом всего великого и прекрасного, через его облик я постигаю искусство [2. С. 146].

В этом контексте эстетической рефлексии автора «Сердечных излияний...» и «Фантазий об искусстве» далеко не случайным стало появление

«Видения Рафаэля». Как убедительно показал А.В. Михайлов, *«Легенда, созданная Вакенродером, дает несчетные рефлекс в романтической литературе и живописи»* [3. С. 663] (курсив автора). Анализируя эти рефлекс, связанные с именами Гердера, Каруса, Зольгера, А.-В. Шлегеля, назарейцев, исследователь прежде всего подчеркивает, что Вакенродеру «<...> удастся сразу же сделать большой шаг в романтическом мифотворчестве» [3. С. 662]. Воссоздание «ситуации религиозно-художественного наития», конструирование религии как «эстетического мироздания», распространение «романтического мифа о творящем по божественному наитию художнике», попытка «*овеществить* рафаэлевскую “идею”», сотворение особого пространства творческого видения – все эти выделенные А.В. Михайловым особенности романтического экфрасиса автора «Видения Рафаэля» позволили ввести экфрасис в сферу эстетического сознания. Обратившись к Сикстинской мадонне Рафаэля, Вакенродер не пытается вербальными средствами передать содержание картины. Сикстинская мадонна для него вообще не картина как некая материальная субстанция. Это видение, которое «навсегда четко запечатлелось в его [Рафаэля] душе», обращение, по цитируемым словам самого Рафаэля, «к некоему образу, представляемому мною и нисходящему ко мне в душу» [2. С. 31].

Легенда о Рафаэле как образец романтического мифотворчества и разновидность житетворческого экфрасиса не могла не взволновать русскую эстетическую мысль 1820–1830-х гг. Как убедительно показал Р.Ю. Данилевский, рефлекс этой легенды связаны и с последующими эпохами русской словесной культуры [4. С. 281–298].

В центре предлагаемой статьи два эпизода многолетней истории русской рецепции легенды о Рафаэле. Один связан с именем В.А. Жуковского, с его статьей «Рафаэлева мадонна». И несмотря на то, что это эссе постоянно находится в поле зрения научно-исследовательской рефлексии, нам хотелось бы отчетливее выявить ее эстетический потенциал как образца житетворческого экфрасиса. Другой эпизод – уже из эпохи 1850-х гг.: это малоизвестная статья А.В. Никитенко «Рафаэлева Сикстинская мадонна». Тридцатилетие, разделяющее два памятника русской эстетической мысли, обращенной к одному объекту рефлексии, позволяет наглядно увидеть и дух времени при обращении к вечным темам, и формы времени, связанные с историческим развитием эстетической мысли. Несмотря на духовную близость великого русского поэта и замечательного цензора, издателя, критика, между их статьями «дистанция огромного размера», обусловленная историей русской словесной культуры, но одновременно и глубинная духовная связь, заложенная в генах этой культуры.

Р.Ю. Данилевский, посвятивший специальную работу истории восприятия в России легенды о Рафаэле, созданной В.-Г. Вакенродером, заметил: «Своей посмертной славой Рафаэль был в определенной степени обязан литературе, во всяком случае, это относится к России и к Германии. <...> Когда было удачно определено взаимодействие искусств как их “взаимное освещение” [5]. Действительно, легенда о Рафаэле помогла (и помогает) воспринимать его мадонн. Со своей стороны, дрезденская мадонна побудила немец-

ких и русских романтиков к размышлению о тайнах творчества и сущности вдохновения» [6. С. 298].

Не останавливаясь подробно на немецкой грани этого сюжета, послужившего безусловным побудительным мотивом русского литературного мифотворчества на фоне мистифицированного Вакенродером предания о видении Рафаэля, сосредоточимся на том безусловном отправном пункте становления русской экфрастической мифологемы Сикстинской мадонны («Гений чистой красоты»), которым стало для русской литературы и эстетики эссе В.А. Жуковского «Рафаэлева Мадонна (Из письма о Дрезденской галерее)» (1821, первая публикация: «Полярная звезда на 1824 год»): до появления эссе Жуковского Сикстинская мадонна была хорошо известна русским путешественникам, но никаких особенных переживаний, которые вылились бы в развернутый опыт экфрастического описания и тем более в экфрастическую мифологему, картина у них не вызывала [7. С. 10–11].

Эссе Жуковского давно и справедливо оценено как один из самых значительных эстетических манифестов русского романтизма, но несмотря на многочисленные обращения к этому тексту, в том числе и в специально посвященных проблемам живописного экфрасиса исследованиях [8. С. 61–62], типология и специфика этой нарративной формы в исполнении Жуковского никогда не была предметом литературоведческого внимания. Между тем экфрасис Жуковского представляет собой не только типичный образец «диалогического экфрасиса» [9]¹, но и типичный пример того, как жизнестроительный и литературный вербально-образный смысл, а priori уже существующий в сознании созерцателя «Рафаэлевой мадонны», проецируется на живописное полотно и приписывается ему в качестве его собственного смысла: в данном случае не столько вербальный текст приобретает свойства изобразительности (хотя и этот эффект несомненно имеет место), сколько изображению сообщается вербальный смысл, который затем надолго упрочивается в национальном эстетическом сознании как имманентно свойственный самому изображению.

Полагаем, что это стало возможным только потому, что встрече русского поэта, продекларировавшего единство Жизни и Поэзии в своей знаменитой жизнестроительной формуле «Жизнь и Поэзия – одно»², с полотном Рафаэля предшествовала цепь биографических и творческих фактов, ни одно звено которой не является случайным в генезисе основных концептов его эстетического эссе: каждое из этих биографических обстоятельств оставило свои реконструируемые следы в текстах поэта, а эти тексты, хорошо известные его современникам, создали тот ассоциативный смысловой фон, на котором русское эстетическое мышление восприняло и усвоило его эстетический манифест.

¹ Генетически статья Жуковского является отрывком из письма великой княгине Александре Федоровне от 23 июня (5 июля) 1821 г. Таким образом, по типу нарратива, который предполагает наличие собеседника, эпистолярный жанр является диалогичным – и хотя признаков диалога в тексте самого эссе, за исключением риторически-вопросительной интонации, нет, подзаголовок статьи «Из письма о Дрезденской галерее» указывает на этот диалогический потенциал и даже усиливает его: частное письмо Жуковского обращено к одной собеседнице, адресатом же печатного письма-статьи становятся все ее читатели.

² Цитата из стихотворения «Я Музу юную, бывало...» (конец 1823 г.), в котором варьируются основные образно-лексические мотивы стихотворения «Лалла Рук».

Если говорить о фактах биографических, необходимо заметить, что рубеж 1810–1820-х гг. был освящен для Жуковского неотступно присутствовавшими в его сознании и чувствах образами трех любимых им женщин – эти чувства были очень разными, но каждое из них было романтически возвышенным. В 1817 г. поэт расстался с надеждами на счастье с Марией Андреевной Протасовой, замужеству которой он сам способствовал, – но он не расстался с воспоминаниями о счастливых временах своей любви; 1820–1821 гг. стали кульминацией тайной романтической влюбленности поэта в его высокогородную ученицу – великую княгиню Александру Федоровну: свое первое заграничное путешествие, во время которого поэт впервые увидел в оригинале картину Рафаэля в Дрезденской галерее, он совершил в ее свите; наконец, в течение всего 1821 г. Жуковского не оставляли мысли о судьбе его второй племянницы, Александры Андреевны Воейковой (Протасовой), которая в этот период переживала апогей влюбленности в лучшего друга Жуковского, А.И. Тургенева, – и это чувство было взаимным. Поэт узнал об этом в самом начале января 1821 г., и письма Жуковского к Тургеневу 1821 г., впервые опубликованные М.Л. Гофманом [10], неоспоримо свидетельствует о том, что Жуковский и Тургенев были друг для друга конфиденциями этих несказуемых тайных чувств. И Маша, и Саша, и Александра Федоровна были для Жуковского высшим воплощением физически и морально прекрасной женственности: неизменный эпитет, сопутствующий их образам в текстах поэта, – «ангел». Эти три женских образа, существующие в сознании поэта, и сильные чувства, ими вызванные, повлияли на ту интерпретацию Сикстинской мадонны Рафаэля, которую предлагает его эстетическое эссе, и это становится ясно, если обратиться к произведениям Жуковского, которые предшествовали статье «Рафаэлева Мадонна» и повлияли на ее образность и смыслы.

Если говорить о творческой истории прозаического эстетического манифеста Жуковского, то она очевидно восходит к истории создания одного из самых ярких стихотворных эстетических манифестов поэта, стихотворению «Лалла Рук». О том, что для самого Жуковского его видение картины Рафаэля было тесно связано с комплексом эстетических, образно-эмоциональных и биографических смыслов этого стихотворения, свидетельствует его фрагментарная первопубликация именно в составе текста эссе (три заключительных четверостишия из девяти; впервые полностью стихотворение было опубликовано только в 1827 г. [11. С. 3–5]):

Час, который провел я перед этою Мадонною, принадлежит к счастливым часам жизни, если счастьем должно почитать наслаждение самим собою. Я был один; вокруг меня все было тихо; сперва с некоторым усилием вошел в самого себя; потом ясно начал чувствовать, что душа распространяется; какое-то трогательное чувство величия в нее входило; неизобразимое было для нее изображено, и она была там, где только в лучшие минуты жизни быть может. *Гений чистой красоты* был с нею:

Он лишь в чистые мгновенья
Бытия слетает к нам
И приносит откровенья,

Благодатные сердцам.
Чтоб о небе сердце знало
В темной области земной,
Нам туда сквозь покрывало
Он дает взглянуть порой:
А когда нас покидает,
В дар любви, у нас в виду,
В нашем небе зажигает
Он прощальную звезду (курсив Жуковского) [12. Т. 12. С. 343].

Что же касается творческой истории стихотворения «Лалла Рук», то оно стало своего рода кульминацией и духовным фокусом, в котором за фрагментарными впечатлениями каждого отдельного дня-мгновения жизни и за каждым отдельным стихотворением-фрагментом поэтической книги жизни и стихотворчества Жуковского на мгновение открылся единый биографический и эмоционально-эстетический субстрат – универсум всей его жизни и всей поэзии. Этот момент «откровения» и «видения», как называл его сам поэт, – хорошо известный и неоднократно описанный берлинский придворный праздник в честь русской великокняжеской четы на сюжет поэмы Т. Мура «Лалла Рук» [13. С. 356–575]. Великая княгиня в живых картинах исполняла роль индийской принцессы Лалла Рук; и именно жанр «живых картин», в котором осуществилась визуальная трансформация поэтического литературного сюжета, вероятно, изначально создал в сознании Жуковского ассоциативную связку «поэзия» – «видение» – «картина». Через несколько месяцев, в момент встречи поэта с полотном Рафаэля, эта ассоциативная связка трансформировалась в обратном направлении: «картина» – «видение» – «поэзия».

Если просто выписать подряд все упоминания о берлинском празднике в дневниках Жуковского, даже не имея в виду того, что в его поэзии сюжет «Лалла Рук» неоднократно откликнется не только произведениями 1821 г. («Пери и Ангел», «Лалла Рук», «Явление поэзии в виде Лалла Рук» будут продолжены стихотворениями рубежа 1820–1830-х гг. «Пери», «Песнь бедуинки», «Мечта» – их источники и связь с берлинским праздником впервые атрибутированы Д. Герхардтом [14. С. 10–16, 34, 48], а также посвящением к переложению индийского эпоса «Наль и Дамаянти» в 1843 г.), сразу станет ясно, какое место в поэтической жизни Жуковского заняло это мимолетное видение смысла жизни и сути творчества, которое он склонен был отождествлять с самим понятием «поэзия».

13 (25) января 1821 г. появляется запись в дневнике: «Репетиция Пери. Вечер дома; читал Lalla Rookh». 14 (26) января: «Поутру репетиция. <...> Lalla Rookh» – и под этой датой записаны 32 стиха Т. Мура в оригинале. 15 (27) января состоялся «Несравненный праздник», 30 января (11 февраля) – его «повторение»¹. Этот праздник подробно описан в письме Жуковского А.И. Тургеневу от 7 (19) февраля 1821 г.:

¹ Тексты дневниковых записей цитируются с указанием даты без отсылки к соответствующему тому и странице издания.

Здесь был несравненный праздник, который оставил во мне глубокое впечатление. Ты знаешь Мурову поэму *Лалла Рук*. Дочь Ауренгзеба едет к своему жениху в Бухарию; он встречает ее в долине Кашемира. Дорогою молодой поэт, чтобы не скучно было Принцессе, поет ей исторические песни; поэт нравится Принцессе, и она приближается с чувством грусти к тому месту, т.е. к Кашемиру, где должна встретить своего жениха, но на поверку выходит, что жених и поэт одно лицо. Берлинский праздник был не иное что как праздник, который молодая Лалла Рук дала будто в Кашемирской долине своему супругу и своему отцу Ауренгзебу, и в воспоминание *тех минут*, которые она так приятно провела дорогою, слушая песни своего мужа, она велит представить в *картинах* то, что он описывал ей в своих песнях. Эти *картины*, которые были сочинены живописцем Ш<инкелем>, были несравненны <...> Но всему давала очарование великая княгиня; ее пронесли на паланкине – в процессии – *она точно провела надо мною как Гений, как сон*; этот костюм, эта корона, которые только прибавляли какой-то блеск, какое-то *преображение* к ежедневному, знакомому <...> и *картины*, которые появлялись и пропадали как *привидения*, живо трогали <...> наконец <...> все пошло назад, и то же *милое прелестное лицо появилось на высоте* и пропало в дали – все это вместе имело что-то магическое! *не чувство, не воображение, но душа наслаждалась* <...>» [10. С. 154–155].

Под датой 4 (16) февраля записано посвященное великой княгине Александре Федоровне стихотворение «Теснятся все к тебе во храм» и рассуждение о прекрасном «Руссо говорит...», варьирующее в своем прозаическом тексте ключевые мотивы стихотворения и тоже включающее автоцитату – последнее четверостишие стихотворения «Лалла Рук»:

Руссо говорит: *il n'y a de beau que ce qui n'est pas!*¹ Прекрасно только то, чего нет! Это не значит: *только то, что не существует* (курсив Жуковского). Прекрасное существует, но его нет, ибо *оно, так сказать, нам является* единственно для того, чтобы нам сказаться, оживить, *возвысить душу*, но его ни удержать, ни разглядеть, ни *постигнуть* мы не можем; *ему нет ни имени, ни образа*; оно ощутительно и непонятно. Оно посещает нас *в лучшие минуты жизни* <...>. И весьма понятно, почему почти всегда соединяется с ним грусть, но грусть, не лишающая бодрости, а животворная и сладкая, какое-то смутное стремление – это происходит от его скоротечности, от его *невыразимости*, от его *необъятности*!²

В своем более распространенном варианте, находящемся в письме А.И. Тургеневу от 7 (19) февраля 1821 г., это рассуждение заканчивается словами, свидетельствующими о том, что этот комплекс идей прочно владел мыслями и вдохновением поэта: «Voilà la philosophie de Lalla Rookh» [10. С. 155–156].

¹ На источник этого высказывания, роман Руссо «Новая Элоиза» [15], впервые указал немецкий славист, авторитетный исследователь творчества Жуковского Д. Герхардт: [14. С. 49, примеч. 52].

² Рассуждение Жуковского пользовалось в русских литературных кругах известностью, опередившей публикацию эссе «Рафаэлева Мадонна»: об этом свидетельствует его сокращенная копия, выполненная А.С. Пушкиным приблизительно в 1821–1822 гг. [16. С. 490–492].

Далее, 5 (17) марта в покоях прусских принцев поэт наблюдал «Живые картины. <...> Лалла Рук»; 7 (19) марта запись гласит: «У великой княгини. Альбом и Лалла Рук»; 6 (18) апреля он записывает: «Чтобы кончить нынешний день лучше, и я перечитал в моей Лалла Рук то, что написано великою княгиней, и написал кое-что свое»¹.

8 сентября 1821 г., уже путешествуя по Швейцарии, после посещения дома швейцарского поэта Сигизмунда-Людвига Лербера, Жуковский запишет в дневнике: «<...> где было счастье, там случайно путешественник. Лалла Рук», после чего мотив «Лалла Рук» окончательно переходит в дневниках на уровень поэтической ассоциации. 31 октября 1821 г. на возвратном пути из Швейцарии в Берлин поэт посмотрит в Лейпцигском театре постановку драмы Кальдерона, и это отразится в его дневнике записью: «В театре. *Das Leben ein Traum (Stern)*», в которой встречаются ведущие образы-символы стихотворения «Лалла Рук»: «Он поспешен, как мечтанье, // Как воздушный утра сон <...>»; «В нашем небе зажигает // Он прощальную звезду». И тот же образ сна-мечтания, неразлучного с воспоминанием-творчеством и жизнью души, подводит итог швейцарскому путешествию в большом письме-дневнике, адресованном Александре Федоровне, которое, как и «Рафаэлева мадонна» и «Путешествие по Саксонской Швейцарии», стало эстетическим манифестом русского романтизма и под названием «Отрывки из письма о Швейцарии» было опубликовано в «Полярной звезде» на 1825 год. «Я видел прекрасный сон, но воспоминание бережет прошедшее», – резюмирует поэт. И тот же образ через два года возникнет в письме к А.П. Зонтаг от 11 января 1823 г.: «<...> все это оставило на душе то волнение, какое оставляет быстрый сон, исчезающий в минуту удовлетворения» [18. С. 94–96].

После 1821 г. зафиксированные в тексте дневников воспоминания о празднике Лалла Рук надолго исчезают со страниц дневника, но, как свидетельствуют поэзия и переписка, не из сознания Жуковского. На рубеже 1820–1830-х гг. он создает стихотворения «Пери», «Песнь бедуинки», «Мечта», а 24 июня 1838 г. пишет великой княжне Марии Николаевне: «<...> воспоминания о прошлом Берлине я не могу отделить от воспоминания о празднике Лалла Рук, <...> который был для меня каким-то очарованием» [19. С. 332]. И наконец, в 1840 г., накануне женитьбы на Елизавете фон Рейтерн, эти воспоминания и образы воскресают с новой силой в памяти поэта: 24 апреля (6 мая) 1840 г. Жуковский в Дармштадте слушает оперу Спонтини «Нурмагал», написанную на сюжет одной из вставных поэм «Лалла Рук» – «Свет гарема», и записывает под этой датой в дневнике:

В театре. Нурмагал. Марш *Лалла Рук*. Ария Нурмагала. Скольких я вспомнил: Фосс. Элиза. Семейство Радзивилл. Брюль. Гребен. Герман. Все отношения с семьею Клейст. Гуфланд. *Саша. Маша. Молодость*.

¹ Речь идет о рукописном журнале «Лалла Рук», который Жуковский издавал в 1821 г.: беловая рукопись IV–V актов перевода «Орлеанской девы» Шиллера, законченного в Берлине, оформлена им в виде отдельной книжечки с надписью на титульном листе: «Лалла Рук № 2» [12. Т. 7. С. 590, 594]. Это единственный сохранившийся выпуск; на существование других указывает цитированная выше запись и фраза из письма Александре Федоровне: «Предвижу, что будет еще несколько № Лалла Рук и Для немногих» [17. С. 355].

Именно это последнее «явление поэзии в виде Лалла Рук» в дневниках Жуковского ретроспективно проливает новый мгновенный свет не только на хорошо известные биографический факт жизни и эстетический сюжет творчества поэта. Дневниковая запись от 24 апреля (16 мая) 1840 г. со всей определенностью указывает на то, что именно было причиной силы и стойкости впечатления Жуковского и от поэмы Т. Мура, и от берлинского праздника 1821 г., излившегося в стихотворении «Лалла Рук», – впечатления, во многом непонятного современникам и, в восприятии тех, кто знал только текст поэмы Мура и стихи Жуковского, впечатления совершенно неадекватного художественным достоинствам исходного произведения. Пушкин, в частности, по этому поводу заметил: «Жуковский меня бесит – что ему понравилось в этом Муре? чопорном подражателе безобразному восточному воображению? Вся Лалла Рук не стоит десяти строчек Тристрама Шанди...» [20. Т. 13. С. 34].

Запись от 24 апреля (5 мая) 1840 г., которая заканчивается именами сестер Протасовых, Саши и Маши, возвращает нас к истории несчастной любви Жуковского, отразившейся в письмах-дневниках 1814–1815 гг. Поразительно, но факт: образ долины Кашемира, тот скорее символический, нежели географический локус, к которому приурочено действие поэмы Т. Мура, является сквозным и лейтмотивным в «синеньких тетрадках» – дерптской дневниковой переписке Жуковского с Машей Протасовой. В сентябре 1814 г. М.А. Протасова пишет Жуковскому: «<...> il faut monter la montagne pour voir le royaume de Cachemire» [Нужно подняться на гору, чтобы увидеть царство Кашемира. – фр.] [21. С. 178]. 15 сентября 1814 г. Жуковский откликается этим же образом-символом: «<...> il me semble déjà voir le royaume de Cachemire. <...> Oui! montons la montagne!» [Кажется, я уже вижу царство Кашемира. <...> Да! Поднимемся на гору! – фр.]; 12 апреля 1815 г. в дерптском дневнике поэта появляется запись: «Всякое исполнение должности отдельно есть дорога по утесам, но кончи ее – небо над головою, а Кашемир перед глазами» [10. С. 116.]. Наконец, в письме А.А. Воейковой от середины января 1821 г., в ответ на ее сообщение о глубоком взаимном чувстве, которое связало ее с А.И. Тургеневым, Жуковский вновь вспомнит этот образ: «Et vous aussi vous avez monté la montagne de Cachemire» [И вы тоже поднялись на гору Кашемира. – фр.] [10. С. 164] – и вспомнит еще до того, как прочитает поэму Мура.

Источник этого образа для 1814–1815 гг. не совсем ясен, поскольку поэма Т. Мура, увидевшая свет в 1817 г., еще не написана, а Жуковский познакомится с ней, по-видимому, не ранее чем в 1821 г. [13. С. 658]. Но безусловно ясно другое: каким бы ни был этот источник, долина Кашемира, место обетованного счастья суженых, индийской принцессы Лалла Рук и бухарского принца-поэта Алириса, стало в дерптских письмах-дневниках Жуковского символом все более слабеющей надежды на будущее «счастливое вместе» с Машей.

В этом контексте дополнительный смысл обретает запись, появившаяся в дневнике поэта ровно за неделю до праздника Лалла Рук, 8 (20) января 1821 г., когда у Жуковского от надежд на счастье с Машей остались только воспоминания: «<...> вместо того, чтобы сколько возможно заменить утра-

ченное, я только горюю об утрате и стою на развалинах. <...> Надобно отказаться от потерянного и сказать себе, что *настоящее* и *будущее* мое» (курсив Жуковского). В этом состоянии воспоминания он и читает впервые 13 (25) января поэму Т. Мура, а 15 (27) января присутствует на «несравненном празднике», и перед ним воочию проносится видение обетованной, но для него недостижимой земли счастья: «Мнил я зреть благоуханный // Безмятежный Кашемир» («Лалла Рук», 1821): воспоминания о чувстве, которое осталось в прошлом, но не прошло, соединились с сиюминутным чувством, и этот резонанс многократно усилил оба.

Совершенно очевидно, что именно собственные поэтические ассоциации и воспоминания, не известные никому, кроме самого Жуковского, дали его поэзии этот сильный, мгновенный и стойкий биографический импульс, который в контексте его дневников и творчества выявляет связь времен: прошлого – утраченной долины Кашемира дневников 1814–1815 гг., настоящего – цикла произведений 1821 г., в том числе и эссе «Рафаэлева Мадонна», связанных с сюжетом Мура и образом великой княгини, и будущего – всех тех ассоциаций и воспоминаний, которые в последний раз отольются в поэзии Жуковского тем же самым образом сна, видения и откровения: в 1843 г., в тексте посвящения к поэме «Наль и Дамаянти»¹ вновь возникает образ долины Кашемира, сопровождаемый основными лексическими мотивами стихотворения «Лалла Рук» и всех связанных с ним текстов:

*Я видел сон: казалось, будто я
Цветущею долиной Кашемира
Иду один <...> [12. Т. 5. С. 96].*

Образ императрицы Александры Федоровны – Лалла Рук, высокого вдохновения Жуковского – присутствует в открытом тексте Посвящения:

*Там, в высоте, над радостно шумящим
Народом, паланкин; как привиденье,
Он мне блеснул в глаза; и в паланкине
Увидел я царевну молодую,
Невесту севера; и на меня
Она глаза склонила мимоходом <...> [12. Т. 5. С. 97],*

а в его ассоциативном подтексте возникают образы сестер Протасовых, Маши и Саши: воспоминание о «двух родных, земной судьбиной // Разрозненных могилах...» [12. Т. 5. С. 98]. И здесь необходимо заметить, что еще в 1821 г., в тот период, когда было создано стихотворение «Лалла Рук», а в сознании Жуковского формировался тот комплекс идей, который он назвал «философией Лалла Рук», образ индийской принцессы, роль которой играла на празднике великая княгиня Александра Федоровна, соотносится в воображении поэта не только с ней. В письме Жуковского А.И. Тургеневу от 9 (21) февра-

¹ Поэма посвящена великой княжне Александре Николаевне, дочери императрицы Александры Федоровны; свою дочь, родившуюся 30 октября (11 ноября) 1842 г., Жуковский назвал Александрой – именем императрицы Александры Федоровны, ее дочери – великой княжны Александры Николаевны, и своей племянницы, Александры Андреевны Воейковой-Протасовой.

ля 1821 г., следующем за тем, в котором он описал берлинский праздник и отправил Тургеневу и Саше стихотворение «Лалла Рук», есть строки, свидетельствующие о том, что образ Лалла Рук был неразрывно сопряжен в сознании Жуковского и с образами сестер Протасовых:

Лалла Рук – синоним Саши. В первый раз, когда я был у Гуфланда, был между нами разговор о религии. <...> Он мне сказал: «Все, что религия представляет святого, *троицей* заключено для меня в одном немецком L: *Leben, Liebe, Licht!* [Жизнь, Любовь, Свет – нем.]. <...> Эти три L нашлись сами собой и в имени *Lalla Rookh* [22. Т. 1. С. 384; 23. Л. 103–104 об.].

Такой обширный экскурс в творческую историю стихотворения «Лалла Рук» и в окружающий это стихотворение биографический ассоциативно-образный ореол понадобился для того, чтобы прояснить состояние души и Жуковского, и владеющий его умом и воображением комплекс мыслей и глубоко скрытых переживаний, явившихся тем биографическим и эстетическим субстратом, на фоне которого произошла его встреча с Сикстинской мадонной Рафаэля и который определил его восприятие картины.

И этому предположению, возможно, найдется еще одно, визуальное доказательство. В иконографии Жуковского существует один загадочный портрет Александры Воейковой (Протасовой), известный в искусствоведческой традиции под названием «А.А. Воейкова – “Светлана”»: его фототипическая репродукция помещена на фронтисписе первого тома биографии А.А. Воейковой [24] (см. ил. 1). Все, что о нем известно, – это подпись к репродукции. Но совершенно независимо от того, кто был автором этого портрета и когда он был написан, он является, на наш взгляд, несомненной мотивно-композиционной реминисценцией и стихотворения «Лалла Рук» («Светлый завес покрывала // Отенял ее черты <...>»), и центральной фигуры картины Рафаэля «Сикстинская мадонна» (см. ил. 2).

В эссе «Рафаэлева мадонна» нашли свое воплощение и развитие абсолютно все словесно-образные лейтмотивы, присутствующие в основном тексте стихотворения «Лалла Рук» и в комплексе связанных с ним текстов: мотивы сна и видения, чистых (или лучших) мгновений жизни, небесного откровения, покрывала, отделяющего небесный мир от земного, и неопишуемой (невыразимой) небесной красоты, воплощенной в женском образе:

Милый сон, души пленитель <...>
Он поспешен, как мечтанье,
Как воздушный утра сон; <...>
Он лишь в чистые мгновенья
Бытия бывает к нам
И приносит откровенья,
Благотворные сердцам;
Чтоб о небе сердце знало
В темной области земной,
Нам туда сквозь покрывало
Он дает взглянуть порой; <...>
И блистая и пленяя –
Словно ангел неземной –

Непорочность молодая
 Появилась предо мной;
Светлый завес покрывала
 Отенял ее черты <...>;
 И *величие* лица,
 И в чертах *глубокость чувства*
 С безмятежной *тишиной* –
 Все в ней было *без искусства*
Неописанной красой! [12. Т. 2. С. 222–224].

Ср.:

<...> это не картина, а *видение*: чем долее глядишь, тем живее уверяешься, что перед тобою что-то неестественное происходит <...>;

<...> один раз душе человеческой было подобное *откровение*; дважды случиться оно не может <...>;

И точно приходит на мысль, что эта картина родилась в *минуту чуда*: занавес раздернулся, и *тайна неба* открылась глазам человека <...>

Здесь *душа* живописца *без всяких хитростей искусства* <...>;

Рафаэль как будто хотел изобразить для глаз верховное назначение *души* человеческой <...>;

Он писал не для глаз, все обнимающих во мгновение и на мгновение, но для *души*, которая, чем более ищет, тем более находит <...>;

<...> состояние *души*, уже покинувшей землю и достойной неба, есть *глубокое, постоянное чувство, возвышенное* и просвещенное мыслями, постигнувшею тайны неба, *безмолвное, неизъяснимое* счастье <...>;

Час, который провел я перед этою Мадонною, принадлежит к *счастливым часам жизни* <...>;

На лице ее ничто не выражено <...> но в нем находишь в каком-то таинственном соединении все: *спокойствие, чистоту, величие и даже чувство* <...> взор, никуда особенно не устремленный, но как будто видящий *необъятное*;

Вот то, что думал я в те *счастливые минуты*, которые провел перед Мадонною Рафаэля. Какую *душу* надлежало иметь, чтобы произвести подобное!

Это самоотождествление духовного мира поэта, смотрящего на картину Рафаэля, не столько с тем, что на ней изображено, сколько с тем, что он в ней видит – а видит он в ней, как в зеркале, отражение собственного внутреннего мира – происходит незаметно, но неотвратимо – и симптоматично, что в эстетическом дискурсе Жуковского описание эмоционального состояния созерцателя предшествует интерпретации изображения:

Я был один; вокруг меня все было тихо; *сперва с некоторым усилием вошел в самого себя*; потом ясно начал *чувствовать, что душа распространяется*; какое-то трогательное чувство величия в нее входило; *неизобразимое* было для нее изображено, и она была там, где только в *лучшие минуты жизни* быть может. *Гений чистой красоты* (курсив Жуковского) был с нею. <...>

Не понимаю, как могла *ограниченная живопись* произвести *необъятное*; пред глазами полотно, на нем лица, обведенные чертами, и *все стеснено в*

малом пространстве, и, несмотря на то, все необъятно, все неограниченно! [12. Т. 12. С. 342–345].

И вовсе не случайно начальная и конечная фразы, обрамляющие текст экфрасиса Жуковского, замыкают в смысловое и композиционное кольцо все содержание его эстетического манифеста: начавшись с констатации духовного усилия, которое нужно сделать для того, чтобы прочувствовать полотно Рафаэля: «*Я смотрел на нее несколько раз; но видел ее только однажды так, как мне было надобно*» [12. Т. 12. С. 342], и которое концентрирует внимание читателя именно на духовном мире поэта, эссе завершается выводом, относящимся к минуте высокого вдохновения Рафаэля: «*<...> один раз душе человеческой было подобное откровение; дважды случиться оно не может*» [12. Т. 12. С. 345]. Но этот вывод с равным успехом может относиться и к видению Рафаэля, и к экстазу, лишь единожды пережитому Жуковским перед великим произведением изобразительного искусства.

Эмоциональный экстаз Жуковского перед полотном Рафаэля имеет сложную, комбинированную природу: по ассоциации с текстом стихотворения «Лалла Рук», к которому восходит автоцитата «*Гений чистой красоты*», он является эстетическим, но само чувство (по своей глубинной природе эротическое), внушившее Жуковскому это стихотворение, поэт склонен был уподоблять религиозному экстазу:

Тебе не нужно мне объяснять того чувства, которое произвели эти стихи. Оно не любовь, но родное ей чувство, высокое и чистое. Я много бы потерял, если б это было иначе. Зачем сводить Бога с алтаря, чтобы, обняв Его, лишиться через то Божественности, то есть именно того, что влечет к Его алтарю. Мое чувство к в<еликой> к<нягине> имеет характер этого чистого богочитания, нужного душе, чтобы сохранять в ней жизнь и ее благодарствовать. Она милое, небесное, возвышенное творение <...> –

писал Жуковский в уже неоднократно цитировавшемся письме А.И. Тургеневу от 7 (19) февраля 1821 г., в котором он переслал Тургеневу и Саше текст стихотворения «Лалла Рук» и в которое включил свое рассуждение «Руссо говорит...». И это далеко не случайная филиация идей. Чем дальше, тем очевиднее в творчестве Жуковского будет нарастать ощущение божественности творческого дара, которое отольется в поздних эстетических манифестах русского поэта афористической формулой «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли!» [12. Т. 7. С. 454]; возникнув в драматической поэме «Камознс» (1839), она перейдет автоцитатой в статью «О поэте и современном его значении» (1848), в которую Жуковский включит и рассуждение 1821 г. «Руссо говорит...», заканчивающееся автоцитатой последнего четверостишия стихотворения «Лалла Рук» [12. Т. 12. С. 374–375, 383].

Последнее, что нужно сказать об источниках жизнетворческого экфрасиса эссе «Рафаэлева Мадонна», – это непосредственно предшествовавшие встрече с полотном Рафаэля впечатления и знакомства Жуковского. В Дрездене русский поэт познакомился с художником-романтиком Каспаром Давидом Фридрихом, живопись которого он знал, любил и высоко ценил еще до

этого знакомства. Очевидно, не без влияния и участия Жуковского Фридрих стал одним из любимых художников императрицы Александры Федоровны [25. С. 325–355]. Своего рода словесный портрет Фридриха – экфрасис несуществующего живописного портрета художника – Жуковский создал в том же письме великой княгине Александре Федоровне от 23 июня (5 июля) – 29 июня (10 июля) 1821 г., из которого позже выделился экфрастический фрагмент, посвященный Сикстинской Мадонне и опубликованный в «Полярной звезде на 1824 год» под названием «Рафаэлева Мадонна (Из письма о Дрезденской галерее)».

В этом фрагменте письма русский поэт, со слов Фридриха, воссоздает то, что для него самого всегда было тайное тайных, святая святых: творческий процесс, поразительно напоминающий его собственный: «Мне надобно *быть совершенно одному* и знать, что я один, *чтобы видеть и чувствовать* природу вполне!» Мотив одиночества и самопогружения дополняется мотивом экстатического состояния творящей души и визионерской концепцией природы вдохновения, разительно сходными с экстазом воспоминания и видениями-снами-откровениями в поэзии и дневниках Жуковского: «Он еще сам не знает, что напишет. Он ждет *минуты вдохновения*, и это вдохновение <...> *часто приходит к нему во сне*. Иногда, говорит он, думаю, и ничто не приходит в голову, но случается заснуть, и вдруг как будто что-то разбудит: вскочу, отворю глаза, и что *душе* надобно, стоит перед глазами как *привидение* – тогда скорее за карандаш и рисуй; все главное сделано!» [12. Т. 13. С. 182].

Неоднократные совместные посещения Дрезденской галереи («Я несколько раз был с ним вместе в галерее») и суждения Фридриха о картинах, безусловно, наложили отпечаток личности немецкого художника на ту концепцию романтического искусства-откровения и художника-визионера, которая обрела свое законченное воплощение в «Рафаэлевой мадонне». В попытке осмыслить природу творчества Жуковский, как обычно, опирается на два рода источников, поэтический вымысел и жизненный опыт: в статье «Рафаэлева мадонна» он свободно излагает легенду Вакенродера о видении Рафаэля [2. С. 28–31]¹. И это изложение буквально совпадает и с тем, что самому Жуковскому довелось пережить в Берлине («Милый сон, души пленитель, // Гость прекрасный с *вышины*», праздник Лалла Рук побудил русского поэта к совершенно невероятно интенсивному творчеству), и с тем, что рассказывал ему в Дрездене о своих видениях Фридрих:

Сказывают, что Рафаэль, натянув полотно свое для этой картины, долго не знал, что на нем будет: *вдохновение не приходило*. Однажды он *заснул с мыслию о мадонне*, и, верно, какой-нибудь *ангел* разбудил его. Он вскочил: она здесь, закричал он, указав на полотно, и *начертил первый рисунок*» [12. Т. 12. С. 342–343].

¹ В библиотеке Жуковского сохранился русский перевод книги Вакенродера: «Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного, изданные Л. Тиком». М., 1826 [28. № 34], но немецкий оригинал в составе библиотеки поэта отсутствует. Неизвестно, был ли Жуковский с ним знаком к 1821 г. (скорее всего, был). Характерно, однако, что изложение легенды Вакенродера Жуковский предваряет отсылкой не к печатному источнику, а к устному преданию: «сказывают», подчеркивая тем самым мифотворческий потенциал этого сюжета, опирающегося в его интерпретации не на документ, как у Вакенродера (пусть даже мистифицированный), а на устное предание.

Невероятно, но факт: эстетическое эссе Жуковского, очевидно предлагающее читателю не столько экфрасис живописного полотна, сколько экфрасис духовного ландшафта, было воспринято современниками поэта именно как достоверный и точный экфрасис живописного полотна: об этом свидетельствуют некоторые отзывы, появившиеся в частной переписке близких поэту людей. Например, Е.Е. Комаровский в письме И.И. Козлову от 25 декабря 1823 г. писал: «Я думаю, что ни одно письмо Дюпати не было лучше Рафаэлевой Мадонны. Мысль дать ей значение видения очень гениальна» [26. Т. 1. С. 315]. Эту же мысль, оценивая статью Жуковского, подчеркнул в своем отзыве П.А. Вяземский, демонстративно противопоставив словесную живопись Жуковского визуальной репродукции картины и отдав экфрасису предпочтение перед гравюрой: «Нет сомнения, что список, хотя не буквальный, передает творение Рафаэля вернее эстампа Миллерова» [27. Т. 1. С. 260–261]. И далее – с редкой проницательностью – Вяземский отождествляет текст Жуковского с тем видением картины Рафаэля, которое представлено в экфрасисе поэта:

Отрывок из письма о Дрезденской галерее, в котором Жуковский дает отчет о чувствах своих при созерцании Рафаэлевой «Мадонны», исполнен красоты необычайной. Это не живопись и не поэзия, а что-то выше самой поэзии. О нем можно сказать то, что Жуковский сказал о самой «Мадонне». Это не картина, а видение... Жуковский постиг чувством душу Рафаэля и посвящает нас в ее таинство [27. Т. 1. С. 269].

Результатом этого невероятно интенсивного духовного процесса и креативного всплеска, подобного которому Жуковскому, пожалуй, не довелось больше пережить в таком целостном единстве житнетворческого и поэтического вдохновения, стал один стих из стихотворения «Лалла Рук»: «Гений чистой красоты», выделенный в эссе Жуковского авторским курсивом. Этот стих не мог быть воспринят русским эстетическим сознанием как автоцитата: к тому времени текст стихотворения «Лалла Рук» еще не был опубликован полностью. По неотменной ассоциации с контекстом, в котором стих впервые увидел свет и стал знаком русскому читателю, формула «Гений чистой красоты» спроецировалась на Сикстинскую мадонну Рафаэля и надолго вошла в русскую эстетику как словесный эквивалент живописного полотна.

Любопытно, однако, что в стихотворном и прозаическом эстетических манифестах стих этот имеет на первый взгляд незначительное разночтение в грамматической форме эпитета: в стихотворении «Лалла Рук» стих читается «Гений *чистый* красоты» [12. Т. 2. С. 223] и, следовательно, относится к слову «Гений» (ср. «чистый Гений» в стихотворении «Я Музу юную, бывало...», восходящем в своей образности к стихотворению «Лалла Рук» [12. Т. 2. С. 235]); а в эссе «Рафаэлева Мадонна» – «Гений *чистой* красоты», и в этой грамматической форме по нормам старой орфографии (в XIX в. именительный падеж прилагательного с окончанием на «-ый» имел форму, совпадающую с формой родительного падежа: «-ой») эпитет «чистой» имеет двойное согласование, относясь в равной мере к обоим существительным: Гений и красота.

Именно в этой огласовке формула была воспринята Пушкиным: вскоре вслед за публикацией эссе Жуковского в альманахе «Полярная звезда» Пушкин напишет свое знаменитое посвящение А.П. Керн «Я помню чудное мгновенье...», в которое формула Жуковского войдет именно в этом текстовом варианте: «Как мимолетное виденье, // Как гений чистой красоты» [20. Т. 2. С. 406]. И до какой степени в сознании Пушкина – вероятно, самого чуткого читателя Жуковского – были нераздельны концепты любви к женщине, эстетического вдохновения-откровения и почти религиозного, молитвенного экстаза в равной мере перед красотой женщины, красотой произведения искусства и божественно-совершенной красотой образа Мадонны, слитые в формуле Жуковского в единый ассоциативный контекст, свидетельствует еще одно, более позднее стихотворное посвящение Пушкина любимой женщине: «<...> Творец // Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, // Чистейшей прелести чистейший образец» («Мадонна», 1830 [20. Т. 3. С. 224]).

Насколько точно Пушкин уловил эмоционально-смысловой потенциал образа Жуковского, может подтвердить сам Жуковский: в июне 1839 г. поэт увидел свет Рафаэлевой живописи, блеснувший ему однажды в Дрезденской галерее с живописного полотна, в дочери своего друга, своей будущей жене Елизавете фон Рейтерн, любуясь ею «<...> как образом *Рафаэлевой мадонны*, от которой после нескольких минут счастья удаляешься с тихим воспоминанием...» [29. С. 418].

Таким образом, вышедшая из глубин поэтической души Жуковского и его жизнетворческой лирики экфрасическая мифологема «Рафаэлевой Мадонны» – «Гения чистой красоты» не только бросила на русскую лирику ассоциативный отсвет живописного полотна: именно в лирике она сохранила всю полноту своего эмоционального комплекса. Что же касается русской эстетики, то в ней судьба экфрасиса Жуковского оказалась несколько иной: на долгое время определив априорные представления русских о картине Рафаэля и частично сохранив свою актуальность, он в конце концов был опровергнут неромантическим типом сознания и мировосприятия.

Так, В.Г. Белинский, посетивший в 1847 г. Дрезденскую галерею и видевший «Сикстинскую мадонну», писал:

Кто не помнит статьи Жуковского об этом дивном произведении, кто с молодых лет не составил себе о нем понятия по этой статье? Кто, стало быть, не был уверен, как в несомненной истине, что это произведение по превосходству романтическое, что лицо мадонны – высочайший идеал той неземной красоты, которой таинство открывается только внутреннему созерцанию, и то в редкие мгновения чистого восторженного вдохновения?.. Автор предлагаемой статьи недавно видел эту картину¹. <...> Статьи Жуковского он не читал уже давно, может быть, больше десяти лет, но как до того времени он читал и перечитывал ее со всем страстным увлечением, со всею верою молодости и знал ее почти наизусть, – то и подошел к знаменитой картине с ожиданием уже известного впечатления. <...>. Но чем дольше и пристальнее всмат-

¹ И написал о ней следующий отзыв в письме В.П. Боткину от 7/19 июля 1847 г. из Дрездена: «Что за чепуху писали о ней [Сикстинской мадонне] романтики, особенно Жуковский <...>» [30. Т. 12. С. 384].

ривался он в эту картину, чем больше думал тогда и после, тем более убеждался, что мадонна Рафаэля и мадонна, описанная Жуковским под именем Рафаэлевой, – две совершенно различные картины, не имеющие между собою ничего общего, ничего сходного [30. Т. 10. С. 308].

Это суждение великого критика особенно ценно тем, что оно, во-первых, свидетельствует о силе впечатления, произведенного статьей Жуковского на русское эстетическое сознание, а во-вторых, своей способностью подтвердить ту несомненную истину, что картина Рафаэля для русской эстетики стала не столько самостоятельным объективно существующим произведением искусства, сколько зеркалом души ее реципиента; правда, Белинский, создавая свой вариант экфрасиса знаменитого полотна, не догадывался о том, что он тоже создаст не столько его словесную репродукцию, сколько портрет своей души, принадлежащей уже следующему поколению, по определению неромантическому, полагающему, что оно видит внешний мир таким, каков он есть, а не таким, каким оно его видит...

Статья «Рафаэлева Сикстинская мадонна» с подписью: «А. Никитенко. Дрезден. 27 мая 1857 г.» появилась через 33 года после статьи «Рафаэлева мадонна» Жуковского тоже на страницах периодической печати [31. С. 586–597]. И несмотря на многочисленные рефлексы легенды о Рафаэле в русской поэзии, прозе и критике, две эти публикации имели «лица необщее выражение» и были генетически связаны между собой: во-первых, как специальные статьи-эссе, посвященные картине итальянского художника, во-вторых, как знак памяти известного цензора, критика, издателя о великом русском поэте.

Тема «Жуковский и Никитенко» многоаспектна и, к сожалению, пока еще мало изучена. Опубликованы письма Жуковского к Никитенко, воссоздающие в основном историю их встреч и общения в 1837–1841 гг. по поводу издания посмертных сочинений Пушкина и освобождения из крепостной неволи матери и брата Никитенко [32. С. 82–92]; имя Жуковского упомянуто более двадцати раз в известных «Дневниках» Никитенко, зафиксировавших историю прижизненных встреч двух деятелей русской культуры, деятельности Никитенко в комитете по изданию посмертных сочинений поэта, его оценок личности и творчества первого русского романтика [33. Т. 3. С. 510. Указ. имен]. Наконец, исследователи неоднократно обращались к статье Никитенко «В.А. Жуковский со стороны его поэтического характера и деятельности» [34. С. 1–36], одному из первых опытов посмертного осмысления масштаба творческой деятельности великого русского поэта.

Но все эти фрагменты темы «Жуковский и Никитенко» еще не сложились в общую картину, не получили системного осмысления. В этой картине пока остается немало и белых пятен. Так, из дневников Никитенко известно о том, что у него было «готово предисловие к дополнительному изданию сочинений Жуковского», и Д.Н. Блудов как председатель комитета даже «назначил время, чтобы прочесть его вместе» [33. Т. 1. С. 439], но текст этого сочинения до сих пор не обнаружен. Думается, и статья «Рафаэлева Сикстинская мадонна» практически выпала из поля зрения исследователей и как оригинальное сочи-

нение ее автора, и как продолжение и развитие «рафаэлева сюжета», и как звено истории экфрасиса полотна Рафаэля в русской словесности.

А между тем связь «Рафаэлевой мадонны» Жуковского и «Рафаэлевой Сикстинской мадонны» Никитенко очевидна и заслуживает специального разговора. Впервые Никитенко упоминает картину Рафаэля во время своего заграничного путешествия в мае 1860 г., и в дневнике (запись от 22 мая) свое впечатление от нее передает так: «На днях ходили в галерею, где я снова наслаждался созерцанием Сикстинской мадонны» [33. Т. 2. С. 123]. Во время следующего посещения Дрездена в июле 1862 г. он развивает свое впечатление от Сикстинской мадонны: 19 июля он оставил в дневнике следующую запись:

Вот опять божественная Мадонна Рафаэля. Нынешний раз она мне показалась еще совершеннее. Я около часу смотрел на нее, разбирая каждую черту картины отдельно и потом снова соединяя их. Нет! ничего подобного еще не производило искусство, да вряд ли в состоянии произвести еще когда-нибудь. Для создания такого лика нужна детская беззаветная вера, время для которой навсегда миновало. Я было встал, чтобы идти смотреть на другие картины. И опять вернулся к Мадонне, да так и просидел перед ней все время, что пробыл в галерее [33. Т. 2. С. 285].

На немецкой земле, где ровно 10 лет тому назад нашел свой последний приют Жуковский, Никитенко словно идет по следам своего кумира, точнее, оказывается в пространстве его мыслей. В его записи – очевидные отзвуки мелодий «Рафаэлевой мадонны»: «И такова сила <...> в этом божественном создании», «Я <...> просидел целый час, смотря на нее», «будь младенцем, будь ангелом на земле, чтобы иметь доступ к тайне небесной», «неизъяснимое счастье, которое все заключается в двух словах: *чувствую* и *знаю!*», «один раз душе человеческой было подобное откровение: дважды случиться оно не может» [12. Т. 12. С. 342–345].

К сожалению, дневники Никитенко за май – сентябрь 1857 г., когда он совершал свое первое заграничное путешествие, неизвестны. Но статья «Рафаэлева Сикстинская мадонна», написанная в конце мая в Дрездене, как это явствует из подписи при ее публикации, стала итогом рефлексии Никитенко об этом «божественном творении» и возможным диалогом с автором «Рафаэлевой мадонны».

Для Никитенко вся деятельность Жуковского неразрывно связана с концепцией художественного идеализма, выражением идеи чистой красоты. В статье «Василий Андреевич Жуковский, со стороны его поэтического характера и деятельности», написанной сразу же после смерти поэта и появившейся сначала на страницах журнала «Отечественные записки» [34. С. 1–6 второй пагинации], а затем отдельной брошюрой, Никитенко последовательно развивает эти мысли. Уже в самом начале своей статьи автор решительно говорит о том, что с именем Жуковского связан переворот в русском художественном сознании, что именно он положил «краеугольный камень в этом новом здании литературы» [35. С. 4]. И затем критик последовательно прово-

дит это методологическое положение через систему почти афористических характеристик. Вот лишь некоторые из них:

Он [Жуковский] первый из наших писателей *идею чистой красоты* сделал господствующею в своих творениях, первый был поэтом в прямом художественном смысле этого слова, понял глубоко эстетическое значение литературы и возбудил к ней всеобщее сочувствие [35. С. 4].

На этой точке умственной высоты, где вещи, с их богатою, но изменчивою и темною положительностью, озаряются светом лучшего и совершеннейшего бытия, образовалось его воззрение на мир и жизнь, и в примирительном союзе земного с небесным ему стал доступен *чистый идеал красоты* [35. С. 6].

Жуковский поэт идеальной действительности; в нем синтезис преобладает над анализом. Он не мог отклониться даже на время от созерцания высших и *чистых образов красоты* <...> [35. С. 11].

Другое важное качество идеализации Жуковского – *нравственная чистота*. <...> Идеальное направление Жуковского было явлением новым и благотворным для русской литературы. Оно утвердило в ней силу высших стремлений, открыло мысленным воззрениям горизонт обширный, сообщило ей характер чистоты и глубокости, дотолке ей чуждый [35. С. 14].

Идеализм Жуковского был потребностью литературы, которая чрез него сопряглась с основным, высшим началом искусства; подобною же потребностью в свое время вызван *идеализированный реализм Пушкина* и писателей его эпохи [35. С. 19].

И как благотворно действует на сердца *чистая красота* его художественных образов! <...> Творения Жуковского были такою школою вкуса, в которой, вместе с *чистыми понятиями о прекрасном*, мы все, в лучшую, плодотворнейшую пору жизни, почерпали светлые идеи о достоинстве и назначении жизни [35. С. 36].

Как нетрудно убедиться, Никитенко в своей рефлексии о поэтическом характере Жуковского опирается на его базовые эстетические понятия, так зримо выраженные в статье поэта о Рафаэлевой мадонне. Нигде не упоминая эту статью, автор словно создает свой «критический экфрасис» с жизнетворческого экфрасиса Жуковского. Настойчивое варьирование понятий «чистая красота», «чистый идеал красоты», «чистые образы красоты» корреспондирует с поэтическим концептом *Гения чистой красоты*. Показательно, что Никитенко, говоря о природе идеализма Жуковского и его жизнетворческом концепте, постоянно соотносит эти эстетические открытия поэта с именем и творчеством Пушкина. Уже эпиграф к статье – знаменитая надпись Пушкина «К портрету Жуковского»: «Его стихов пленительная сладость...» – вербализует нерасторжимую связь «побежденного учителя» и «победителя-ученика». И на протяжении всей статьи Никитенко говорит об «идеализированном реализме» Пушкина в соотношении с открытиями Жуковского, но рассматривает его как новый этап художественного развития.

Наконец, нельзя не отметить постоянное сравнение открытий Жуковского, его новаций в области поэтического языка, переводческого мастерства с

искусством художника, законами живописи, образной поэтикой картины. Вот лишь несколько красноречивых примеров:

Он обладал ему одному свойственным способом исполнения: ему достаточно было *взглянуть на картину в мастерской великого художника* – и не было надобности всматриваться в ее подробности или в приемы ее производства: она без этого вся сполна повторялась под его кистью, и это повторение *было та же самая картина* по художественному достоинству и вместе другая, потому что была действительно другая. <...> Что это, копии, переводы? Как это назвать? *Копии по сюжету, и произведения великого мастера по всему*. Каким-то удивительным образом он умел в переводчике сохранить достоинство творца и заставить нас вспомнить о подлинниках не для сравнения и проверки, а разве для удовлетворения нашего ученого и критического любопытства [35. С. 9].

Жуковский одинаково превосходен и тогда, когда изображает поэтическое настроение сердца, и тогда, когда живописует. *Живопись его отличается полнотою и верностью рисунка*; он не довольствуется тем, чтобы несколькими чертами намекнуть о предмете; он ставит его весь перед вашими глазами с той стороны, какая нужна для возбуждения предполагаемого впечатления. <...> *Картина Жуковского есть не покушение, а создание*, она полна и окончена, как полно и окончено творение, вышедшее из рук природы [35. С. 20].

Может быть, от этого на вас более действует *общий тон его картин*, чем ярко и рельефно выдвинутые части. В колорите их чувствуешь что-то мягкое, южное, весеннее; он свеж, как румянец только что распустившейся розы, и тепл, живителен, как воздух лучшей поры жизни [35. С. 21].

Никитенко открывает в поэтическом характере Жуковского черты художника. Говоря о его *кисти, живописи, картинах, их колорите, общем тоне, рисунке*, автор статьи, уже, вероятно, знавший и о профессиональном интересе поэта к живописи, его занятиях гравированием, многочисленных рисунках, страсти коллекционера, акцентирует то, что можно обозначить как эстетику жизнетворческого экфрасиса. И в переводческой деятельности, и в оригинальном творчестве, и в языковых экспериментах критик словно ориентируется на экфрасис Рафаэлевой мадонны как объект мифопоэтической рефлексии Жуковского. Еще до встречи с Сикстинской мадонной в Дрезденской галерее и создания ее экфрасиса Никитенко в своем сознании формирует «идею чистой красоты» через эстетику Жуковского и определяет направление ее исторического развития. Между появлением «Рафаэлевой мадонны» Жуковского и рождением «Рафаэлевой Сикстинской мадонны» Никитенко прошло более тридцати лет, а это несколько эпох в русском эстетическом сознании.

Уже в заглавии своей статьи уточняющим определением «Сикстинская» Никитенко придает своим размышлениям более конкретный, исторический характер. Жизнетворческий экфрасис Жуковского, ориентированный на идею романтического визионерства и мифологему *Гения чистой красоты*, в сис-

теме «аналитической критики» Никитенко¹ максимально редуцирован. Идеи христианской цивилизации, связанные с деятельностью Сикста, с общей эволюцией человеческой морали внесли существенные коррективы в эстетические принципы романтизма.

С одной стороны, в своей статье Никитенко вслед за Жуковским говорит о магической силе Рафаэлевой мадонны, о «живой, самосушей» красоте, связанной с нею. Он, как и поэт-романтик, видит в ней высший смысл искусства. Вот лишь несколько примеров:

Впечатление, ею возбужденное, столь могущественно и неотразимо, что вы на несколько времени лишаетесь способности думать и говорить о чем-нибудь, кроме нее [36. С. 586].

<...> надобно быть только человеком, знакомым сколько-нибудь с жизнью мысли и духа, чтобы испытать подобное впечатление. Знакомство его состоит именно в господстве внутреннего ее смысла, ее выражения над всеми принадлежностями и средствами техники [36. С. 586].

Рассуждение о том, как меркнут все достоинства живописного искусства перед событием, которому «подобного не было от создания мира» [36. С. 587].

<...> стать глашатаями великих истин и предъявителями живой, самосушей красоты [36. С. 588].

Но как человек нового времени Никитенко уже более трезво относится к эстетике идеализма. В дневниковой записи от 19 октября 1855 г., анализируя развитие умственной деятельности от Карамзина до Гоголя, он так оценивает личности и деятельность Карамзина и Жуковского:

Души восприимчивые, благородные, нежно настроенные ощутили над собой могущество великих верований человечества и радостно, беззаветно отдались первым впечатлениям этого отрадного знакомства. Таковы Карамзин и Жуковский. Но в этом *прекраснодушии* еще узкий взгляд на вещи. Это состояние юношеской неопытности, которая не ведает зла. Это, если можно так выразиться, слатолубивое отношение к истине и красоте, а не деятельность мужей, для которых жизнь есть не игра в прекрасные чувства, а подвиг и победа. Но лучшие умы постепенно отрезвляются и перестают смотреть на мир сквозь близорукие очки собственного сердца, которое видит лишь только то, что хочет видеть, то есть чем может наслаждаться и с чем может мириться. Они уже глубже всматриваются в вещи и находят, что тут не до сибаритской роскоши чувств. <...> Переходным звеном здесь является Пушкин: он уже недоволен, тревожен. Язвитель, хотя и в личном еще смысле. За ним идет Лермонтов, а там вдруг вырастает Гоголь <...> [33. Т. 1. С. 360–361].

¹ В «Речи о критике, произнесенной в торжественном собрании Императорского Санкт-Петербургского университета марта 25-го дня 1842 года...» доктор философии А. Никитенко называет «аналитическим» одно из направлений современной критики. В отзыве-статье об этой речи В.Г. Белинский, опираясь на терминологию французской и немецкой эстетической мысли, называет ее исторической и добавляет: «Каждое произведение искусства должно рассматриваться в отношении к эпохе, к исторической современности, и в отношении художника к обществу <...>» [30. Т. 6. С. 284].

В тексте самой статьи Никитенко более сдержанно говорит о «прочтении» Рафаэлевой мадонны идеалистами-романтиками. Более того, он даже вскользь упоминает об образах «невещественной» красоты и отдает дань «ясновидению Рафаэлева гения» [36. С. 589]. Но знаменательно, что имя автора «Рафаэлевой мадонны» исчезает в «Рафаэлевой Сикстинской мадонне». Статья Жуковского, ставшая в это время уже классикой русской эстетической мысли, не упоминается вообще. Автор статьи о Жуковском «со стороны его поэтического характера и деятельности» как будто забывает его «Письмо о Дрезденской галерее», его мифологему Рафаэлевой мадонны. И это нельзя рассматривать иначе как тактический шаг критика. Память о поэте, его концепции визионерства и *Гении чистой красоты* живет в подтексте статьи критика 1850-х гг., боготворящего рыцаря романтизма, но живущего в другом времени и мыслящего категориями «исторической критики».

Только один раз, в единственном примечании Никитенко не может скрыть и своего чувства, и своей позиции. Рассказывая о встречах с Карлом Брюлловым во время работы художника над большим историческим полотном «Осада Пскова», воссоздавая сложный процесс изменения первоначального замысла, муки творчества, Никитенко создает палимпсест-экфрасис. Он незаметно «стирает» с картины великого русского художника идеи визионерства, таинственные романтические мифы о творчестве-озарении во сне и переносит это экстатическое состояние в свою душу:

Я стоял долго перед картиною, как старый рыцарь в балладе Жуковского, в невыразимый сон душою погруженный. Только это не был сон, а какое-то чудное видение из священных преданий народной истории (курсив Никитенко) [36. С. 588].

И в конце примечания, рассказывая о том, как Брюллов впоследствии все переделал и замазал, Никитенко передает слова художника: «Картины нет еще и не скоро будет» [36. С. 589; 37. С. 103–115]. Обратившись к балладе Жуковского «Старый рыцарь» для комментария к драматической истории создания так и не законченной картины Брюллова, Никитенко косвенно напоминает о творце «Рафаэлевой мадонны», который тоже долго («целый час») стоял перед творением Рафаэля и убедился, что «это не картина, а видение», что «эта картина родилась в минуту чуда». Однако выделенная курсивом цитата из баллады и последующее решительное заявление: «Только это не был сон...» разрушает вакенродеровскую легенду о сне Рафаэля и ее отзвуки в статье Жуковского. На протяжении всей статьи Никитенко так и не вспомнит об этом.

Еще в статье Белинского, посвященной речи Никитенко о критике, были сформулированы методологические установки для понимания исторической роли христианства в новом понимании красоты как «красоты нравственного мира». Критик писал:

Христианство нанесло решительный удар безусловному обожанию красоты как красоты. Красота мадонны есть красота нравственного мира, красота девственной чистоты и материнской любви; ее могла выразить только жи-

вопись, но уж никаким образом не могла выразить бедная скульптура [30. Т. 6. С. 277].

Эту концепцию исторического развития представлений о красоте Никитенко пытается последовательно соотнести с идеями христианства, а творца Сикстинской мадонны сделать одним «из величайших изъяснителей христианства». И если для Жуковского главное выражение гения Рафаэля – его великая душа, а в его картине – стремление «изобразить для глаз верховное назначение души человеческой», то для Никитенко не менее важно место Рафаэля и его творения для умственной жизни, для истории общественной жизни и идей христианства. Вот несколько характерных эстетических положений, представленных в статье:

Оттого картина его, вместе с высоким художественным характером, включает в себе такой многозначительный интеллектуальный смысл. На нее нельзя только смотреть; ее читаешь, как книгу, исполненную великой мысли, в коей почивают, вместе с благовестием божественных истин, драгоценнейшие интересы человечества. <...> Из всего этого произошел удивительный случай: зрелище, если можно так выразиться, изумительной красоты и одно из поучительнейших творений ума человеческого, воодушевляющее вас, как поэма, и назидательное, как урок [36. С. 590].

Наш ум столько же возбужден здесь, как и сердце, потому что в изображениях, нами созерцаемых, выражено столько же понимания духа христианских истин, как и живой веры в них и любви к ним. <...> Рафаэль должен быть поставлен в числе величайших изъяснителей христианства [36. С. 591].

Творения Рафаэля принадлежат к тем всечеловеческим созданиям, которые подготавливаемы бывают успехами не специальных деятелей, а успехами и ходом всего нашего образования и истории; они составляют как бы логический вывод целого периода событий, с его разнообразными и важнейшими интересами, ищущего сосредоточиться в одном великом избранном уме. Для обыкновенного таланта всегда время; для Данта, Шекспира, Рафаэля бывают исторические моменты, вызовы, которые можно назвать их благоприятными обстоятельствами: ибо без благоприятных обстоятельств своего рода нет ни гения, ни гениального дела. Потому-то творения этих первенствующих умов имеют такое высокое всемирное значение. История по праву может назвать их своими: она сама вполноту трудилась над их созданием. Это дела по превосходству, на коих почивает уважение веков, дела серьезные, искупающие человечество от стыда бесконечных пошлостей, которые под разными громкими именами вторгаются в историю к утехе педантов и школьников [36. С. 593].

И хотя Никитенко в отличие от Николая Чернышевского, который называл себя его учеником¹, не превращал искусство в «учебник жизни» и не проповедовал материалистический взгляд на прекрасное, в статье о Сикстинской

¹ В личной библиотеке А.В. Никитенко (собрание Научной библиотеки Томского университета; № 22249) сохранился экземпляр книги Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (СПб., 1855). На обороте форзаца перед титульным листом имеется дарственная надпись чернилами: «Александр Васильевичу Никитенко, в знак глубокого уважения от его ученика».

мадонне он последовательно проводит мысль о связи красоты с историей человечества, с «ходом всего нашего образования». Объект неистовой критики Чернышевского – «искусство для искусства», «чистое искусство» – нередко возводили к идеям романтизма, к его эстетической теории. И в этом контексте мифологема Жуковского *Гений чистой красоты* не могла быть востребована и Никитенко. В своей статье он даже не упоминает этот концепт «Рафаэлевой мадонны» Жуковского и ядро житетворческого экфрасиса автора статьи.

Сам экфрасис Сикстинской мадонны у Никитенко – это скорее попытка вербального описания сюжета и образов творения Рафаэля. Если Жуковский, воспринимая Рафаэлевую мадонну как видение и откровение, говорит о картине (замечая при этом: «если слово *картина* здесь у места»; курсив Жуковского. – О.Л., А.Я.) как о чуде, неподвластном выражению, то Никитенко, усердно члени картину на образы, ищет в каждом из них идею христианства, пытается прозреть в них «обыкновенные и естественные формы». Вот лишь два примера:

Но обратите взор ваш на лицо Св. Девы: в нем решена одна из важнейших задач христианского искусства. Это сочетание совершенств полной женственной красоты с величием чистейшего небесного идеала [36. С. 594].

Достоинство создания Рафаэля состоит не в том, что он возвысил или украсил обыкновенные предметы, но в том, что предметы глубоко интеллектуальные и духовные, предметы божественные, он сделал нам доступными в обыкновенных и естественных формах [36. С. 597].

Жуковский, внедряя в текст эссе фрагмент из своего стихотворения, формировал именно житетворческий экфрасис, где пересекаются и соотносятся тайны поэзии и живописи, где «Жизнь и Поэзия одно», и локусом этой встречи искусств и жизни были не картина художника и не слово поэта, но душа человека со всем его жизненным опытом и творческим потенциалом, замораживающего в экстазе перед вечным идеалом эстетически и морально прекрасного, находящего вербальное выражение для этого экстаза и проецирующего это выражение на произведение пластического искусства. Никитенко в своей статье остался историческим критиком и историком искусства. Его экфрасис – не больше чем искусствоведческая конструкция. В нем душа не распространяется; в нем главный герой – интеллект современного критика...

Литература

1. Лессинг Г.-Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии / пер. Е.Н. Эдельсона. М., 1957.
2. Вакенродер В.-Г. Фантазии об искусстве / пер. С.С. Белокриницкой. М., 1977.
3. Михайлов А.В. Вильгельм Генрих Вакенродер и романтический культ Рафаэля. Языки культуры. М., 1997.
4. Данилевский Р.Ю. Легенда о Рафаэле // Русская литература и зарубежное искусство: сб. исследований и материалов. Л., 1986.
5. Walzel O. Wechselsetige Erhellung der Künste. Berlin, 1917.
6. Данилевский Р.Ю. Заметки о темах западноевропейской живописи в русской литературе // Русская литература и зарубежное искусство. Л., 1986.
7. Данилова И.Е. Русские писатели и художники XIX века о Дрезденской галерее // Алпатов М.В., Данилова И.Е. Старые мастера в Дрезденской галерее. М., 1959.

8. Меднис Н.Е. «Религиозный экфрасис» в русской литературе // Критика и семиотика. Вып. 10. Новосибирск, 2006. С. 61–62.
9. Брагинская Н.В. Экфрасис как тип текста: (К проблеме структурной классификации. URL: <http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=85126>, режим доступа: свободный.
10. Гофман М.Л. Пушкинский музей А.Ф. Онегина в Париже: Общий обзор, описание и извлечения из рукописного собрания. Париж, 1926 Hoffmann Modeste. Le Musée Pouchkine d' Alexandre Onéguine a Paris: Notice, catalogue, extraits de quelques manuscrits. Paris, 1926.
11. Московский телеграф. 1827. Ч. 14, № 5.
12. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Языки славянских культур, 1999–2015. Т. 1–14.
13. Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи: XVIII век – первая половина XIX века // Литературное наследство. М., 1981. Т. 91.
14. Gerhardt D. Vergangene Gegenwärtigkeiten. Göttingen, 1966.
15. Rousseau J.J. La Nouvelle Héloïse. Paris, 1925. Т. 4, Р. 5. Lettre 8.
16. Рукою Пушкина. М., 1935.
17. Русская старина. 1902. № 5.
18. Уткинский сборник: Письма В.А. Жуковского, М.А. Мойер и Е.А. Протасовой / под ред. А.Е. Грузинского. М., 1904.
19. Русский архив. 1885. № 3.
20. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 17 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952.
21. Памяти В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя. СПб., 1907–1909. Вып. 1.
22. Жуковский В.А. Стихотворения: В 2 т. / вступ. статья, ред. и примеч. Ц. Вольпе. Л.: Сов. писатель, 1939–1940 (Библиотека поэта. Большая серия).
23. ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом). ОР. Онегинский архив. № 27810.
24. Соловьев Н.В. История одной жизни: А.А. Воейкова – «Светлана». Пг., 1916. Т. 1–2.
25. Ребеккини Д. Эстетические вкусы императора Николая I: итальянская и немецкая живопись // Образы Италии в русской словесности XVIII–XX вв., 2009.
26. Русский архив, 1866.
27. Вяземский П.А. Полное собрание сочинений: в 12 т. СПб., 1878–1896.
28. Библиотека В.А. Жуковского: Описание / сост. В.В. Лобанов. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1981.
29. Веселовский А.Н. В.А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». СПб., 1904.
30. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: в 13 т. М., 1953–1959.
31. Русский вестник. 1857. Т. 11.
32. Жилыкова Э.М. Письма В.А. Жуковского к А.В. Никитенко // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2011. № 4.
33. Никитенко А.В. Дневник: в 3 т. / подгот. текста и примеч. И.Я. Айзенштока. М., 1955–1956.
34. Отечественные записки. 1853. Т. 86, № 1, отд. 2.
35. Никитенко А.В. Василий Андреевич Жуковский, со стороны его поэтического характера и деятельности. СПб., 1853.
36. Русский вестник. 1857. Т. 11.
37. Корнилова А.В. Карл Брюллов в Петербурге. Л.: Лениздат, 1976.

V.A. ZHUKOVSKY AND A.V. NIKITENKO ON RAPHAEL'S SISTINE MADONNA: THE TYPOLOGY OF EKPHRASIS AS A REPRESENTATIVE OF AESTHETIC CONSCIOUSNESS

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 46. 124–151. DOI: 10.17223/19986645/46/10

Olga B. Lebedeva, Aleksandr S. Yanushkevich, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: obl25@yandex.ru / asyanush50@yandex.ru

Keywords: V.A. Zhukovsky, A.V. Nikitenko, Rafael, Sistine Madonna, literary ekphrasis, romantic aesthetics, art history, historical criticism.

The paper studies A.S. Pushkin's "The Undertaker", created in the Boldino Autumn of 1830 and included in *The Belkin Tales*. Turning to the creative history of the work, analyzing its content and the

image of the central character, considering the problem of its reception, the authors of the paper come to a conclusion that the concept of the little house as the life-creating and miraculous component of its semiosphere is of special importance for its study. The representative meaning of this concept is inextricably linked with the history of its functioning in the creative consciousness of the poet. The special place and meaning in the dictionary of Pushkin's language of the symbolic spaces of "my penates", house and little house allows one to see the evolution of these words-concepts on the way to the concept of a little house that in the early 1830s acquired a special scale in the spiritual life of Pushkin. The mastering of this concept in the lyrics (the poems "Domovoy" [House Spirit], "Gorodok" [Little Town], "Poslanie k Yudinu" [The Epistle to Yudin], "Novosel'e" [Housewarming], "Vnov' ya posetil..." [Again I Visited...]) is inextricably linked with the problems of the poet's spiritual life, the formation of his philosophy of self-reliance. Entering the world of poetic novels ("The Lodge in Kolomna", "The Bronze Horseman") and prose (*The Belkin Tales*, *Dubrovsky*) sharpens interest in the substantial problems of life, matters of life and death. The world of the Russian province, the issues of daily existence, the image of a small man reveal the philosophical undertones of the concept of the little house. In this respect, the story "The Undertaker" in the context of Pushkin's work of the Boldino Autumn becomes a representative of this process. The story of the awakening of the Pushkin hero to life and the discovery of a new little house expands the spiritual space of Pushkin's prose.

In the polemic around the story, the philosophical potential of Pushkin's concept of the little house and of the story "The Undertaker" is more clearly indicated. Appearing in the atmosphere of the birth of a new Russian prose, of reflections on the genre of the novel as a "form of time", *The Belkin Tales* revealed the historiosophical potential of Pushkin's prose. Simple matters of provincial life acquired an existential character, and the image of the "little man" was included in the process of national self-consciousness. An original response to Pushkin's quest was "Poteryannaya dlya sveta povest'" [A Story Lost for the Society] by O.I. Senkovsky, who disappeared under the name of A. Belkin. Its parodic meaning is obvious; it developed in other stories of the same author ("Turetskaya tsygaanka" [A Turkish Gypsy], "Dzhulio" [Giulio]), also signed by this pseudonym. The editor of *Biblioteka dlya chyeniya* parodies the insignificance of the content of *The Belkin Tales*, he tries to show the lack of characters in their characters.

The article first analyzes the story "Domik na Nikitskoy" [A Little House in Nikitskaya Street] which appeared in the journal *Teleskop* under the cryptonym Z and, as the authors claim, is written by M.P. Pogodin. Its content is not only related to Pushkin's "The Undertaker", but also reveals the philosophical implication of the concept of the little house and the existential meaning of the character – the undertaker Adrian Prokhorov.

References

1. Lessing, G.-E. (1957) *Laokoon, ili o granitsakh zhivopisi i poezii* [Laocoon, or about the boundaries of painting and poetry]. Translated from German by E.N. Edel'son. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
2. Vakenroder, V.-G. (1977) *Fantazii ob iskusstve* [Fancies about art]. Translated from German by S.S. Belokrinitskaya. Moscow: Iskusstvo.
3. Mikhaylov, A.V. (1997) Vil'gel'm Genrikh Vakenroder i romanticheskiy kul't Rafaelya [Wilhelm Heinrich Wackenroder and the romantic cult of Raphael]. In: Mikhaylov, A.V. *Yazyki kul'tury* [Languages of culture]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
4. Danilevskiy, R.Yu. (1986) Legenda o Rafaele [The legend of Raphael]. In: Alekseev, M.P. (ed.) *Russkaya literatura i zarubezhnoe iskusstvo: Sbornik issledovaniy i materialov* [Russian literature and foreign art: collection of studies and materials]. Leningrad: Nauka.
5. Walzel, O. (1917) *Wechselseitige Erhellung der Künste* [Changing illumination of the arts]. Berlin.
6. Danilevskiy, R.Yu. (1986) Zametki o temakh zapadnoevropeyskoy zhivopisi v russkoy literature [Notes on the themes of Western European painting in Russian literature]. In: Alekseev, M.P. (ed.) *Russkaya literatura i zarubezhnoe iskusstvo* [Russian literature and foreign art]. Leningrad: Nauka.
7. Danilova, I.E. (1959) Russkie pisateli i khudozhniki XIX veka o Drezdenskoy galeree [Russian writers and artists of the 19th century about the Dresden Gallery]. In: Alpatov, M.V. & Danilova, I.E. *Starye mastera v Drezdenskoy galeree* [Old masters in the Dresden Gallery]. Moscow: Iskusstvo.
8. Mednis, N.E. (2006) "Religioznyy ekfrasis" v russkoy literature ["Religious ekphrasis" in Russian literature]. *Kritika i semiotika*. 10. pp. 61–62.

9. Braginskaya, N.V. (1977) *Ekphrasis kak tip teksta (K probleme strukturnoy klassifikatsii)* [Ekphrasis as a type of text (To the problem of structural classification)]. [Online] Available from: http://ivgi.rsuh.ru/binary/85126_8.1258568006.7876.pdf.
10. Gofman, M.L. (1926) *Pushkinskiy muzey A.F. Onegina v Parizhe: Obshchiy obzor, opisaniye i izvlecheniya iz rukopisnogo sobraniya* [Pushkin Museum of A.F. Onegin in Paris: A general overview, description and extractions from the hand-written collection]. Paris.
11. *Moskovskiy telegraf*. (1827). 14:5.
12. Zhukovskiy, V.A. (1999–2015) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 20 t.* [Complete works and letters: In 20 vols]. Vols 1–14. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur.
13. Alekseev, M.P. (1981) Russko-angliyskie literaturnye svyazi: XVIII vek – pervaya polovina XIX veka [Russian-English literary connections: the 18th – the first half of the 19th centuries]. In: Shcherbina, V.R. (ed.) *Literaturnoe nasledstvo* [Literary heritage]. Vol. 91. Moscow: Nauka.
14. Gerhardt, D. (1966) *Vergangene Gegenwartigkeiten* [Past Presentities]. Göttingen.
15. Rousseau, J.J. (1925) *La Nouvelle Héloïse* [The New Heloise]. Vol. 4. . Part 5. Letter 8. Paris.
16. Zegner, T.G. et al. (eds) (1935) *Rukoyu Pushkina* [With the hand of Pushkin]. Moscow; Leningrad: Academia.
17. *Russkaya starina*. (1902). 5.
18. Gruzinskiy, A.E. (ed.) (1904) *Utkinskiy sbornik: Pis'ma V.A. Zhukovskogo, M.A. Moyer i E.A. Protasovoy* [The Utkin collection: Letters of V.A. Zhukovsky, M.A. Moyer and E.A. Protasova]. Moscow.
19. *Russkiy Arkhiv*. (1885). 3.
20. Pushkin, A.S. (1937–1952) *Polnoe sobranie sochineniy: V 17 t.* [Complete Works: in 17 vols]. Moscow; Leningrad: USSR AS.
21. Georgievskiy, G.I. (ed.) (1907–1909) *Pamyati V.A. Zhukovskogo i N.V. Gogolya* [In memory of V.A. Zhukovsky and N.V. Gogol]. Vol. 1. St. Petersburg.
22. Zhukovskiy, V.A. (1939–1940) *Stikhotvoreniya: V 2 t.* [Poems: in 2 vols]. Leningrad: Sovetskiy pisatel'.
23. Institute of Russian Literature, RAS (Pushkin House) (IRLI RAN (Pushkinskiy Dom)). Manuscript Department. *Oneginskiy arkhiv* [Onegin archive]. Item 27810.
24. Solov'ev, N.V. (1916) *Istoriya odnoy zhizni: A.A. Voeykova – "Svetlana"* [The story of one life: A.A. Voeykova: a Svetlana]. Vols 1–2. Petrograd.
25. Rebecchini, D. (2009) Esteticheskie vkusy imperatora Nikolaya I: ital'yanskaya i nemetskaya zhivopis' [Aesthetic tastes of Emperor Nicholas I: Italian and German painting]. In: Lebedeva, O.B. & Mednis, N.E. (eds) *Obrazy Italii v russkoy slovesnosti XVIII-XX vv.* [Images of Italy in Russian literature of the 18th–20th centuries]. Tomsk: Tomsk State University.
26. *Russkiy Arkhiv*. (1866).
27. Vyazemskiy, P.A. (1878–1896) *Polnoe sobranie sochineniy: V 12 t.* [Complete works: In 12 vols]. St. Petersburg.
28. Lobanov, V.V. (1981) *Biblioteka V.A. Zhukovskogo: Opisaniye* [Library of V.A. Zhukovsky: a description]. Tomsk: Tomsk State University.
29. Veselovskiy, A.N. (1904) *V.A. Zhukovskiy. Poeziya chuvstva i "serdechnogo voobrazheniya"* [V.A. Zhukovsky. Poetry of feeling and "heart imagination"]. St. Petersburg.
30. Belinskiy, V.G. (1953–1959) *Polnoe sobranie sochineniy: V 13 t.* [Complete Works: In 13 vols]. Moscow: USSR AS.
31. *Russkiy vestnik*. (1857). XI.
32. Zhilyakova, E.M. (2011) V.A. Zhukovsky's letters to A. Nikitenko. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 4. pp. 82–92. (In Russian)
33. Nikitenko, A.V. (1955–1956) *Dnevnik: V 3 t.* [Diary: In 3 vols]. Moscow: Goslitizdat.
34. *Otechestvennye zapiski*. (1853). 86□:1:2.
35. Nikitenko, A.V. (1853) *Vasilii Andreevich Zhukovskiy, so storony ego poeticheskogo kharaktera i deyatel'nosti* [Vasily Andreevich Zhukovsky: on his poetic nature and activity]. St. Petersburg.
36. *Russkiy vestnik*. (1857). XI.
37. Kornilova, A.V. (1976) *Karl Bryullov v Peterburge* [Karl Bryullov in Petersburg]. Leningrad: Lenizdat.

УДК 82.0

DOI: 10.17223/19986645/46/11

С.И. Монахов

О ВЕРТИКАЛЬНОМ РИТМЕ ТРЕХСЛОЖНИКОВ Н.А. НЕКРАСОВА

Цель статьи — проанализировать вертикальный (строфический) ритм трехстопных трехсложников Н.А. Некрасова. Исследовательская проблема формулируется следующим образом: существуют ли отчетливые закономерности в расположении ударений и словоразделов на различных позициях некрасовского катрена и если да, то каким образом они соотносятся с аналогичными внутристиховыми закономерностями? Материалом исследования послужили все произведения Некрасова, написанные трехстопными трехсложниками. Сравнение данных по горизонтальному и вертикальному распределению ударений и словоразделов разных типов позволило установить их прямую корреляцию, обнаружив таким образом изоморфность ритма стиха и строфы. Полученные данные особенно интересны тем, что выявляют предпочтительное использование разными трехсложными размерами разных ритмических моделей катренов.

Ключевые слова: трехстопные трехсложники, вертикальный ритм, строфический ритм, Некрасов, словоразделы, ритмическая модель.

Ритм русских трехсложных размеров в целом и в творчестве Н.А. Некрасова в частности становился объектом исследования неоднократно [1–5]. По общему мнению российских стиховедов, специфика трехсложников заключается в том, что их ритм создается не столько пропусками схемных ударений (как в двусложных размерах), сколько игрой сверхсхемных ударений и – особенно – словоразделов. До сей поры исследование закономерностей расположения словоразделов проводилось исключительно в пределах стихотворной строки, без учета возможной корреляции разных словораздельных вариаций, захватывающих соседние стихи. При этом сама проблема вертикального (строфического) ритма русского стиха не является для отечественного стиховедения новой: впервые она была затронута еще Г.А. Шенгели, который обращался к понятию строфы как ритмического целого в «Трактате о русском стихе» [6. С. 109–121] и в «Технике стиха» [7. С. 174–186]. Однако и в работах самого Шенгели, и в последовавших за ними трудах М.Л. Гаспарова [8. С. 455–471], М.И. Шапира [9. С. 85–144] и др. [10. С. 25–36] вопрос этот изучался только на материале двусложных размеров. Наша задача заключалась в том, чтобы установить, существуют ли отчетливые закономерности в расположении ударений и словоразделов на различных позициях некрасовского катрена, и если да, то каким образом они соотносятся с выявленными ранее [5. С. 3–18] внутристиховыми закономерностями. Материалом для нашего исследования послужили все стихотворения и поэмы Некрасова, написанные трехстопными трехсложниками (различные части полиметрических композиций учитывались как самостоятельные единицы). Было проанализировано 22 произведения дактиля (1585 стихов), 52 произведения

анapestа (4023 стиха) и 13 произведений амфибрахия (885 стихов) – всего 6493 строки.

Строфический и астрофический стих Некрасова

По наблюдениям К.Д. Вишневого, некрасовский стих в целом явно предпочитает строфическую форму (56 % произведений). Довольно редко встречается парная рифмовка (4 %), практически отсутствуют нерифмованные стихи (3 %), велико количество произведений вольной рифмовки (19 %). Любопытно, что строфический стих Некрасова содержит все многообразие метрических и жанровых форм, без каких-либо предпочтений, тогда как стихи парной рифмовки написаны в основном 6- и 4-стопным ямбом, а стихи вольной рифмовки – 4- и 5-стопным ямбом (встречаются чаще всего в поэмах и лирике медитативного и элегического характера) [11. С. 242–254]. В.С. Баевский утверждал, что у Некрасова абсолютно преобладают три типа строфической организации: а) строго строфический с графическими интервалами; б) строго строфический без интервалов; в) астрофический [12. С. 106–109].

В нашем материале по лирике Некрасова к первому типу из числа выделенных Баевским, относится 31 произведение, ко второму – 6, к третьему – 14. Из 37 строфических произведений 35 написано катренами с перекрестной рифмовкой: 20 ЖМЖМ, 6 МЖМЖ, 5 ДМДМ, 2 ЖЖЖЖ, 2 ДДДД. Два оставшихся стихотворения представляют собой более сложный тип строфической организации. В стихотворении «Вино» 3 катрена ММММ с перекрестной рифмовкой, повторяющихся рефреном в начале каждой строфы, и 6 графически неразделенных катренов ММММ, также с перекрестной рифмовкой. Стихотворение «Пробил час!.. Не скажу, чтоб с охотой...» состоит из 3 строф по 2 катрена ЖЖЖЖ с перекрестной рифмовкой и одного двустипшия ММ в конце каждой строфы.

К строфическим стихотворениям мы безусловно причисляем и те, в которых происходит оправданное художественным заданием изменение схемы рифмовки, расположения клаузул или количества стихов в строфе. Вот несколько примеров. В стихотворении «Тройка», написанном катренами ЖМЖМ, последний катрен, подчеркивающий завершение истории, имеет схему рифмовки ЖЖММ. В стихотворении «Секрет», состоящем из трех частей, при смене повествователя во второй части происходит и смена расположения клаузул – с ЖМЖМ на ДМДМ, причем при возвращении авторской точки зрения в третьей части прежнее расположение клаузул восстанавливается. В стихотворении «Где твое личико смуглое?..» в первом катрене ДМДМ повествование ведется в настоящем времени, а в остальных трех катренах ЖМЖМ – в прошедшем. В стихотворении «Ночь. Успели мы всем насладиться...» первый катрен ЖМЖМ графически отделен от трех остальных, таким образом подчеркивается смена лирического пафоса автора на гражданский. В стихотворении «Смолкли честные, доблестно павшие...» в третьем катрене происходит удвоение последнего стиха, оправданное большой эмоциональной напряженностью концовки.

Из 14 астрофических стихотворений Некрасова 11 написано анапестом, причем 5 из них – это большие сатиры («Убогая и нарядная», цикл «О пого-

де», «Газетная», «Балет», «Недавнее время»). Баевский замечал по этому поводу, что в 1855–1862 гг. (время создания сатир) Некрасов, поглощенный общественной работой, уходит от вопросов формы и «допускает наибольшую свободу строфической организации своих стихотворений» [12. С. 106]. Далее в той же статье сказано: «Именно астрофический тир в наибольшей мере представляет новаторский “суровый, неуклюжий” стих Некрасова» [12. С. 107]. Однако, говоря об относительной свободе строфической организации некрасовских трехсложников этого периода, необходимо отметить своеобразную строфическую – и именно катренную – «инерцию» всех этих, по Баевскому, астрофических стихотворений¹. В качестве иллюстрации мы взяли самую большую сатиру Некрасова «Недавнее время», объемом в 765 стихов. В ней, основываясь прежде всего на их синтаксической обособленности, можно четко выделить 148 катренов рифмовки ЖМЖМ (592 строки, т.е. 77,4 % от общего числа), 8 катренов МЖМЖ и 3 катрена ДМДМ. Цифры более чем убедительные. Любопытен и сам механизм смены системы рифмовки, возникновения перебоев в строфической организации текста. Дело в том, что катрены ЖМЖМ служат своего рода строфическим каркасом всего произведения. Когда Некрасов, практически безукоризненно соблюдавший правило альтернанса², время от времени просто удваивает следующий за очередным четверостишием стих (зачастую это бывает вызвано стремлением к экспрессивности, подчеркнуто каламбурной рифмой: «Наши Фоксы и Роберты Пили / Здесь за благо отечества пили...» [13. Т. 3. С. 76]), то в большинстве случаев возникает самостоятельное двустишие ЖЖ. Дальше, для того чтобы снова вернуться к исходному построению ЖМЖМ, используется, как правило, одна из следующих трех возможностей: за этим двустишием, подготавливая восстановление строфического каркаса, следует либо двустишие ММ, либо четверостишие рифмовки ДМДМ или МЖЖМ. Последний вариант, совпадающий по схеме с одической строфой, является наиболее употребительным³: «Раздражаясь из каждой безделки, / Порицают неловкость слуги / И от жадности вместо тарелки / На салфетку валят пироги; / Шевелясь, как осенние мухи, / Льют, роняют — беспамятны, глухи; / Взор их медлен, бесцветен и туп. / Скушав суп, старина засыпает / И, проснувшись, слугу вопрошает: / “Человек! подавал ты мне суп?..”» [13. Т. 3. С. 77]⁴.

¹ Речь не идет о «гетерострофический» (в терминологии Б. Ярхо) организации текстов, иными словами, о строфоидах: большая часть всех сатир Некрасова написана графически неразделенными четверостишиями одинаковой системы рифмовки; случаи изменения структуры строфы встречаются довольно редко.

² На все «Недавнее время» приходится только три пары незарифмованных стихов однородного окончания, причем в каждом случае две строки разделяет сильная смысловая или композиционная граница: «Это сцена из Дантова “Ада”... / Рядом юноша стройный, красивый...», «Мы ко всей обратимся стране... / Благодатное время надежд...», «От которых герои родятся?.. / Клубу нашему тоже на долю...».

³ Явление, которое М.Л. Гаспаров назвал интегрированием двустишия и четверостишия: «К началу XIX века процент интегрированности строфоидов понижается, затем, к концу XIX века, вновь повышается <...> Для исходной стадии развития характерным является <...> стих Дмитриева: более ¾ его текста (77 %) состоит из 4-стиший **abab** и 6-стиший **aabccb** <...> нестрофический ямб Дмитриева складывается из обломков одических строф. Иногда среди этих обломков попадаются и цельные строфы...» [14. Т. 3. С. 350–351].

⁴ Вообще использование Некрасовым одической строфы в сатирических стихотворениях — характерный прием. Ср., например, «Нравственный человек»: «Имел я дочь; в учителя влюбилась / И с

Распределение сверхсхемных ударений в некрасовском катрене

Посмотрим на распределение строк трехстопного анапеста с первым сверхсхемным ударением в пределах четверостишия. Нами учитывались все катрены, содержащие хотя бы одну строку с внеметрическим ударением на первом слоге, независимо от типа рифмовки, в том числе и те, которые входят в состав «астрофических» стихотворений, но обладают известной смысловой и синтаксической самостоятельностью. Всего таких четверостиший в нашем материале 613, причем на них приходится подавляющее большинство всех строк со сверхсхемным ударением на первом слоге – 1169. Следовательно, первый вывод напрашивается уже сам собой: постановка внеметрических ударений напрямую связана с катренным строением некрасовского анапеста.

Распределение ударений по строкам четверостишия отражено в табл. 1. Различия довольно незначительны, но общая тенденция – уменьшение частоты встречаемости сверхсхемных ударений на первом слоге от начального стиха катрена к последнему – налицо¹.

Таблица 1. Распределение строк со сверхсхемным ударением в четверостишии трехстопного анапеста Н.А. Некрасова

№ строки катрена	Количество строк со сверхсхемным ударением	Процент таких строк от общего числа
1	353	30,2
2	291	24,9
3	277	23,7
4	248	21,2
<i>Всего</i>	1,169	100

Таблица 2. Количество строк с первым сверхсхемным ударением в четверостишии трехстопного анапеста Н.А. Некрасова

Количество строк с ударным первым слогом в четверостишии	Количество катренов с такими строками	Процент таких строк от общего числа
1	198	32,3
2	294	47,9
3	101	16,5
4	20	3,3
<i>Всего</i>	613	100

ним бежать хотела сгорая. / Я погрозил проклятьем ей: смирилась / И вышла за седого богача. / Их дом блестящ и полон был, как чаша; / Но стала вдруг бледнеть и гаснуть Маша / И через год в чахотке умерла, / Сразив весь дом глубокою печалью... / Живя согласно с строгою моралью, / Я никому не сделал в жизни зла...» [13. Т. 1. С. 59].

¹ М.Л. Гаспаров писал: «...расположение сверхсхемных ударений в метрической строке обнаруживает ясную тенденцию к отяжелению начала стиха и облегчению конца стиха. Точно таким же образом расположение строк со сверхсхемными ударениями в четверостишии обнаруживает аналогичную тенденцию к отяжелению начала строфы и облегчению конца строфы: одно и то же движение идет и по горизонтали, и по вертикали» [15. С. 186]. Ср. там же и подсчеты Гаспарова по расположению стихов со сверхсхемными ударениями на анакрузе в четверостишии трехстопного амфибрахия и анапеста Некрасова:

Размер	I	II	III	IV
Амф3 (154 катрена)	12	5	5	3
Ан3 (164 катрена)	58	41	33	32

Анализ количества строк с ударным первым слогом на четверостишие в некрасовском анапесте (табл. 2) показывает, что самыми популярными оказываются катрены, в которых сверхсхемное ударение на первом слоге несут две какие-либо строки.

Имеем соответственно шесть возможных вариантов построения подобного четверостишия: 1–2, 3–4, 1–3, 2–4, 1–4, 2–3 (табл. 3).

Таблица 3. Варианты построения четверостиший трехстопного анапеста Н.А. Некрасова с двумя сверхсхемными ударениями

Варианты комбинаций из двух строк с первым ударным слогом	Количество катренов с такими комбинациями
1–2	69
3–4	37
1–3	68
2–4	37
1–4	44
2–3	39
<i>Всего</i>	294

Очевидно, что на выборе тех или иных комбинаций тоже сказывается общий закон уменьшения числа внеметрических ударений от начала к концу катрена, однако обращает на себя внимание и одинаковая частота встречаемости четверостиший 1–2 / 1–3 и 2–4 / 3–4 / 2–3. Вызвано это тем, что третья строка катрена, начинающая двустишие, стремится нести ударение на первом слоге, которое бы маркировало начало нового периода¹. Вот пример четверостишия трехстопного анапеста, построенного на чередовании 4- и 3-ударных строк и синтаксически разбитого на два периода: «Давка, говор... (о чем голоса? / Всё о деньгах, о нужде, о хлебе.) / || Смерд и копоть. Глядишь в небеса, / Но отрады не встретишь и в небе» [13. Т. 2. С. 185].

Все вышесказанное в равной мере справедливо и для амфибрахия, хотя небольшое количество сверхсхемных ударений не дает возможности говорить здесь об особом приеме ритмизации. Ср. примеры диподийного строения стиха при наличии сверхсхемного ударения на анакрузе: «Выл ветер | и дождик мочил...» [13. Т. 1. С. 159]; «Хлеб выпечен, | вкусен квасок...» [13. Т. 4. С. 81]; «День светел, | крепчает мороз...» [13. Т. 4. С. 102].

В связи со сделанными наблюдениями совсем по-иному можно расценить хорошо известные стиховедам частые пропуски метрических ударений на первой стопе дактиля. Здесь, хотя и не настолько часто, как в анапесте, но все же встречаются примеры распада строки на 2 равноударные и синтаксически параллельные части при пропуске первого схемного ударения: «И засвистал, | засвистал...» [13. Т. 2. С. 150]; «Залотошила, | завывала...» [13. Т. 4.

¹ Эти данные любопытно сравнить с подсчетами М.Л. Гаспарова по строфическому ритму в четырехстопном ямбе и хорее. Как известно, исследователь пришел к выводу, что если для поэтов XIX в. характерны «закругленные» строфы (стихи 1, 2 – максимальная ударность; 3, 4 – минимальная), то в XX в. формируется «дважды заостренный» ритм четверостишия (стих 1 – максимальная ударность; 2 – спад; 3 – подъем; 4 – минимальная ударность) [14. Т. 3. С. 181–195]. Можно предположить, что, как и в случае со сверхсхемными ударениями на первом слоге анапеста, здесь определяющую роль играет не «изоморфизм эволюции ритма строки и строфы», а синтаксическое строение катрена.

С. 99]; «И Петербург, | и Читу...» [13. Т. 4. С. 122]. Есть и характерные случаи построения четверостиший на основе чередования 3- и 2-ударных строк, например: «Пел он о славном походе / И о великой борьбе; / Пел о свободном народе / И о народе-рабе...» [13. Т. 4. С. 120].

Всего в нашем материале 191 четверостишие дактиля, в состав которых входят строки с трибрахией на первой стопе, их общее число – 244. Катренов с одним пропуском метрического ударения – 142, с двумя – 45, с тремя – 4. Четверостишия, в которых все строки начинались бы с безударных слогов, не представлены. Распределение строк с первым трибрахией в пределах четверостишия отражено в табл. 4.

Таблица 4. Распределение строк с трибрахией на первой стопе в четверостишии трехстопного дактиля Некрасова

№ строки катрена	Количество строк с трибрахией на первой стопе	Процент таких строк от общего числа
1	56	22,9
2	56	22,9
3	62	25,4
4	70	28,8
<i>Всего</i>	244	100

Картина ослабления ударности во многом совпадает с той, что мы наблюдали на примере трехстопного анапеста: если там число сверхсхемных ударений на первом слоге строки уменьшалось от начала катрена к его концу, то в дактиле количество пропусков первого метрического ударения хоть и совсем незначительно, но равномерно возрастает от первого стиха к последнему. При этом из катренов, содержащих две строки с трибрахией на первой стопе, наиболее популярными являются не 2–4 (5), как можно было бы предполагать по аналогии с анапестом (нечетные стихи несут на одно ударение больше, чем четные), а 3–4 (16). Следовательно, третий стих здесь оказывается захвачен общей волной ослабления ударного зачина строки и реже маркирует начало второго двустипия. Основываясь на этом, правомерно судить о большей, сравнительно с анапестом, монолитности катрена в некрасовском дактиле, о нераспадаемости его на обособленные периоды¹: «Выслушав эти нелепости, / Я от него убежал / И по мосткам против крепости / Обыкновенно гулял» [13. Т. 2. С. 147].

Можно сказать, что из всех потенциально возможных ритмических вариаций трехсложников предпочтительно отбираются те, которые, во-первых, наиболее удобны с точки зрения языковой системы, а во-вторых, наименее агрессивны по отношению к метрической схеме трехсложных размеров. Этим и объясняется то, что сверхсхемные ударения появляются преимущественно

¹ Так Б.В. Томашевский, проанализировав ритмический строй «Пиковой Дамы», пришел к выводу, что «...предложение, отделенное от предшествующей речи более или менее глубокой паузой, начинается у Пушкина обычно с ударяемых слогов. Наоборот, интонационный колон, связанный с предыдущим, изобилует в начале цепью неударных слогов» [16. С. 291]. Та же закономерность, по данным исследователя, свойственна и стиху «Евгения Онегина», в котором строки с пропуском первого схемного ударения в начале строфы – после очень сильной паузы – встречаются почти вдвое реже, нежели в ее конце, где пауза после 13-го стиха – явление исключительное.

на первом слоге анапеста, отдаленном от метрического ударения, а трибрахия – на первой стопе дактиля, где пропуск образует наименьшее скопление безударных слогов.

Некрасов, используя таким образом возможности каждого из размеров, добивается чередования в пределах четверостишия строк с разным количеством ударений: в анапесте – 4- и 3-ударных; в дактиле – 3- и 2-ударных.

В невыигрышном положении оказывается трехстопный амфибрахий, где постановка сверхсхемного ударения на анакрузе столкнет два ударения, а трибрахий на первой стопе приведет к возникновению четырехсложного безударного начала строки. Возможно, именно поэтому данный размер встречается у Некрасова значительно реже, чем дактиль или анапест, и именно поэтому, в отличие от других трехсложных размеров, стихов урегулированного разностопного амфибрахия, в котором чередование строк с разным числом ударений предопределено самой метрической схемой, в творчестве Некрасова больше, чем нейтральных, трехстопных (1811, ср.: дактиль – 593¹, анапест – не представлен).

Распределение словоразделов в некрасовском катрене

Обратимся к принципам расположения словоразделов в некрасовском четверостишии. Как уже отмечалось [5. С. 3–18], для ритма трехстопных трехсложников Некрасова характерны некоторые закономерности в употреблении разных типов словоразделов на уровне стихотворной строки. Эти закономерности могут быть кратко охарактеризованы следующим образом.

1. В трехсложных размерах отчетливо чувствуется деление строки на стопы, стремление к стопораздельному строению стиха. Эта тенденция настолько сильна, что внутристиховые синтаксические границы, как правило, совпадают с границами стоп, в результате чего строка разбивается на равные такты: вторая и третья стопы стремятся уподобиться первой. Соответственно в каждом размере преобладают, сравнительно с другими размерами, те словоразделы и клаузулы, которые обеспечивают его стопочленимость. При этом необычайно важным оказывается соотношение «восходящих» и «нисходящих» стоп: женский и дактилический словоразделы, сохраняющие заударную часть стопы, ощущаются поэтами как однородные вариации основного тона и противопоставлены мужскому словоразделу, как бы обрывающему ритмическое движение стиха. Поэтому в анапесте, по сравнению с амфибрахией и дактилем, выдвигаются мужские словоразделы и клаузулы, а в амфибрахиях и дактиле, по сравнению с анапестом, – женские или дактилические.

2. Стопочленимость обрекает трехсложники на монотонность и однообразие ритма, придает им напевность, которая еще в XVIII в. предопределила связь трехсложных размеров с жанрами, имеющими отношение к музыкальному исполнению. Эту тенденцию можно было бы, по аналогии с двусложниками, назвать «первичным» ритмом трехсложных размеров, однако важен

¹ Если сравнить частоту пропусков первого схемного ударения в урегулированном разностопном дактиле схемы 4343 и дактиле трехстопном, то соотношение выйдет такое: 11,63 и 26,43 % соответственно. Очевидно, что при заданном метрическом чередовании разноударных строк число трибрахий на первой стопе значительно уменьшается.

тот факт, что она не прекратила своего существования и когда на ее преодолении начал формироваться, условно говоря, «вторичный» ритм амфибрахия, анапеста и дактиля. Резкое отличие его заключается в расподоблении первого и второго словоразделов – по принципу «восходящего» и «нисходящего» движения. При этом первый словораздел задает начало строки (анапест – мужской, дактиль и амфибрахий – женский/дактилический), а второй ему противопоставлен (анапест – женский/дактилический, дактиль и амфибрахий – мужской) и стремится уподобиться клаузуле. Таким образом, строка как бы разламывается надвое, возникает характерный «двускатный» ритм.

3. Ритмическая эволюция каждого из трехсложных размеров шла разными путями. Амфибрахий. XVIII в. – симметричное стопораздельное строение. Время В.А. Жуковского и М.Ю. Лермонтова – разведение двух ритмических вариантов размера: «лирической», продолжающей традицию XVIII в., и «балладной», основанной на расподоблении словоразделов, традиций. Время Некрасова и А.А. Фета – продолжение двух предыдущих линий развития и появление новой, «гейневской» разновидности с сильно выделенным первым мужским словоразделом. Время А.А. Блока и Б.Л. Пастернака – постепенное вытеснение «симметричной» ритмической структуры «асимметричным» вариантом. Анапест. Активное освоение только в 1840–1880-е гг. Разведение «симметричной» и «асимметричной» разновидностей в творчестве Некрасова и Фета, с последующим окончательным закреплением в поэзии современников некрасовского ритмического варианта, основанного на расподоблении словоразделов. 1910–1930-е гг. – ритмическое сближение амфибрахия и анапеста на основе заполнения стиха дактилическими и мужскими словоразделами, в ходе которого анапест усваивает несродную ему исторически экспрессивность мужского словесного окончания. Дактиль. XVIII в. – симметричное стопораздельное строение размера. 1840–1880-е гг. – сохранение «симметричной» разновидности в идиллических стихотворениях Некрасова и освоение дисгармоничного варианта в его публицистических текстах. В творчестве современников Некрасова и в поэзии первой четверти XX в. – закрепление и канонизация ритмической структуры, основанной на расподоблении словоразделов.

Для того чтобы ответить на вопрос, существует ли некоторая закономерность в расположении комбинаций словоразделов в разных строках четверостишия, мы посчитали частоту встречаемости простейших – парных комбинаций словоразделов (по аналогии со структурой строки) отдельно на I и II сильном месте во всех возможных конфигурациях строк (всего шесть – три контактные и три дистантные). Для рассмотрения привлекались только четверостишия рифмовки ЖМЖМ, в том числе и те, которые входят в состав «астрофических» стихотворений, но обладают известной смысловой и синтаксической самостоятельностью.

Первая гипотеза, которую мы сочли необходимой проверить, заключалась в том, что принципы вертикального расположения словоразделов в четверостишии обуславливаются контактной или дистантной их позицией, иными словами, что вертикальное расположение словоразделов в четверостишии зависит от схемы его рифмовки. В табл. 5 видим, что случаи расподобления контактной и дистантной реализации одной и той же пары словоразделов довольно редки.

Таблица 5. Распределение вертикальных комбинаций словоразделов по контактным и дистантным парам строк четверостишия в трехстопных трехсложниках
Н.А. Некрасова

Комбинации слово- разделов	Метры / Сильные позиции стиха					
	Анапест		Амфибрахий		Дактиль	
	1-я сильная позиция	2-я сильная позиция	1-я сильная позиция	2-я сильная позиция	1-я сильная позиция	2-я сильная позиция
ЖЖ	3–4 (12,22 %)	II–IV (16,96 %)	1–2 (14,21 %)		I–III (12,1 %)	1–2 (20,91 %)
	2–3 (12,07 %)					3–4 (19,63 %)
ЖМ		3–4 (8,55 %)	I–III (5,72 %)	II–IV (11,72 %)	1–2 (4,09 %)	I–III (6,62 %)
				2–3 (9,98 %)	3–4 (3,04 %)	
ЖД	3–4 (6,92 %)	2–3 (7,83 %)	2–3 (6,73 %)	I–III (7,21 %)	1–2 (6,82 %)	II–IV (7,42 %)
	II–IV (6,66 %)			1–2 (3,24 %)		3–4 (5,84 %)
МЖ	I–III (7,98 %)			3–4 (9,45 %)	2–3 (3,52 %)	II–IV (10,21 %)
	1–2 (7,55 %)				3–4 (3,04 %)	2–3 (9,86 %)
ММ	2–3 (4,16 %)	II–IV (5,52 %)	1–2 (4,24 %)		II–IV (2,09 %)	1–2 (6,14 %)
			I–III (2,99 %)			
МД	II–IV (3,81%)	2–3 (3,51 %)	I–III (3,98 %)		2–3 (2,58 %)	II–IV (2,32 %)
	3–4 (3,26%)	I–III (2,61 %)				3–4 (2,1 %)
ДЖ	1–2 (6,57%)		3–4 (9,45 %)	1–2 (8,48 %)	II–IV (6,96 %)	3–4 (8,41 %)
	2–3 (6,04%)			II–IV (4,24 %)		2–3 (3,76 %)
ДМ	II–IV (2,92%)	3–4 (3,42 %)	2–3 (2,99 %)	3–4 (4,48 %)	1–2 (2,5 %)	
	I–III (2,69%)	1–2 (3,33 %)	3–4 (2,74 %)	I–III (4,23 %)		
ДД	3–4 (3,26%)	I–III (4,96 %)	1–2 (3,49 %)	2–3 (2,0 %)	2–3 (5,16 %)	3–4 (3,73 %)
	II–IV (2,92%)	1–2 (1,7 %)				

Ж – женский тип словораздела, М – мужской тип словораздела, Д – дактилический тип словораздела. Арабскими цифрами обозначены контактно расположенные строки, римскими – дистантные. Пустые ячейки появляются в тех случаях, когда комбинации строк распределяются примерно поровну. Процентное соотношение показывает, какую часть общего количества пар строк данной комбинации составляют строки с обозначенным типом распределения словоразделов.

Гораздо чаще мы наблюдаем, как одни и те же комбинации словоразделов предпочтительно употребляются в таких двух парах строк (двух контактных или одной контактной и одной дистантной), которые образуют начальную или заключительную части четверостишия. Таким образом, мы вправе выдвинуть следующее предположение: с точки зрения ритма словоразделов в четверостишии большее значение имеет не схема рифмовки, а позиция начальной или заключительной строки. Иными словами, четверостишие строится не по модели 2+2, а по модели 1+3 или 3+1.

Таблица 6. Частотное распределение словоразделов разных типов на разных позициях четверостишия в трехсложниках Н.А. Некрасова

№ строки катрена	Анапест		Амфибрахий		Дактиль	
	1-я сильная позиция	2-я сильная позиция	1-я сильная позиция	2-я сильная позиция	1-я сильная позиция	2-я сильная позиция
	Женский тип словораздела, %					
1	11,39	11,29	12,81	11,36	10,02	14,94
2	12,07	14,27	11,60	14,50	8,07	17,63
3	12,44	12,08	11,36	10,96	8,64	15,04
4	12,11	14,34	14,14	13,26	9,84	15,82
	Мужской тип словораздела, %					
	1-я сильная позиция	2-я сильная позиция	1-я сильная позиция	2-я сильная позиция	1-я сильная позиция	2-я сильная позиция
	Дактилический тип словораздела, %					
1	14,04	12,47	11,06	12,90	5,65	19,30
2	12,85	13,30	13,59	13,13	8,43	20,52
3	11,28	11,40	10,14	14,06	4,26	16,17
4	10,90	13,78	8,29	16,82	6,09	19,57
	Дактилический тип словораздела, %					
	1-я сильная позиция	2-я сильная позиция	1-я сильная позиция	2-я сильная позиция	1-я сильная позиция	2-я сильная позиция
	Дактилический тип словораздела, %					
1	13,17	15,38	13,64	14,70	11,61	14,72
2	13,11	7,22	13,35	6,67	12,10	7,36
3	14,34	14,62	18,28	14,22	14,31	17,42
4	15,67	6,49	13,93	5,22	10,22	12,26

Перейдем теперь от словораздельных комбинаций к принципам распределения типов словоразделов на разных позициях четверостишия (табл. 6, 7). Мы проанализировали данные: 1) с точки зрения формирования «большой волны» – графика частоты употребления словоразделов во всем четверостишии и 2) с точки зрения формирования в пределах четверостишия двух «малых волн», заданных характером его рифмовки: а) в первой и третьей строках и б) во второй и четвертой строках.

Таблица 7. Графики «волн» распределения словоразделов разных типов на разных позициях четверостишия в трехстопных трехсложниках Н.А. Некрасова

«Волны»	Тип словораздела	Анапест		Амфибрахий		Дактиль	
		1-я сильная позиция	2-я сильная позиция	1-я сильная позиция	2-я сильная позиция	1-я сильная позиция	2-я сильная позиция
Большие	Ж	1Λ2Λ3V4	1Λ2V3Λ4	1V2V3Λ4	1Λ2V3Λ4	1V2Λ3Λ4	1Λ2V3Λ4
	Д	1Λ2Λ3Λ4	1V2Λ3V4	1V2Λ3V4	1V2Λ3V4	1Λ2Λ3V4	1V2Λ3V4
	М	1V2V3V4	1Λ2V3Λ4	1Λ2V3V4	1Λ2Λ3Λ4	1Λ2V3Λ4	1Λ2V3Λ4
Малые	Ж	1Λ3, 2Λ4	1Λ3, 2Λ4	1V3, 2Λ4	1V3, 2V4	1V3, 2Λ4	1Λ3, 2V4
	Д	1Λ3, 2Λ4	1V3, 2V4	1Λ3, 2Λ4	1V3, 2V4	1Λ3, 2V4	1Λ3, 2Λ4
	М	1V3, 2V4	1V3, 2Λ4	1V3, 2V4	1Λ3, 2Λ4	1V3, 2V4	1V3, 2V4

Ж – женский тип словораздела, М – мужской тип словораздела, Д – дактилический тип словораздела; Λ – количество словоразделов данного типа на второй позиции вырастает сравнительно с первой; V – количество словоразделов данного типа на второй позиции уменьшается сравнительно с первой.

Анализ «больших волн» позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, общей для всех размеров является одна закономерность: уровень женских словоразделов на четных строках выше, чем на нечетных; уровень дактилических словоразделов на нечетных строках выше, чем на четных. Таким образом, окончание строки преимущественно имеет «ниспадающий» характер, т. е. следующий словораздел на один слог короче предыдущего: Д–Ж или Ж–М. Во-вторых, «большие волны» по своему характеру могут быть разбиты на три неоднородных в количественном отношении типа:

- однонаправленные: 1V4 and 1Λ4;
- двунаправленные: (1V3)Λ4 and (1Λ3)V4 and 1V(2Λ4) and 1Λ(2V4);
- тринеправленные: 1V2Λ3V4 and 1Λ2V3Λ4 — восемь из них захватывают второе сильное место стиха, что свидетельствует о большем влиянии на эту позицию схемы рифмовки четверостишия.

Нельзя сказать, что у какого-то из размеров есть в этом отношении свои специфические предпочтения. Скорее, здесь следует говорить об универсальной тенденции.

Анализ «малых волн» показывает следующее. Распределение словоразделов с учетом схемы рифмовки (строки четверостишия 1–3 и 2–4) обнаруживает контрастную противопоставленность анапеста и амфибрахия; противоположны как сами тенденции распределения разных типов словоразделов, так и сильные места, на которых эти тенденции реализуются.

На I сильном месте анапеста и II сильном месте амфибрахия женский и дактилический словоразделы противопоставлены мужскому:

- в анапесте количество женских и дактилических словоразделов увеличивается на второй строке каждой пары, а количество мужских – снижается;

• в амфибрахии, наоборот, количество женских и дактилических словоразделов уменьшается во второй строке каждой пары, а количество мужских – увеличивается.

На II сильном месте анапеста и I сильном месте амфибрахия можно выделить три разных тенденции:

- одинаков принцип распределения «стопообразующих» словоразделов – мужского в анапесте и женского в амфибрахии: уменьшение во второй строке пары 1–3 и увеличение во второй строке пары 2–4;
- одинаков принцип распределения дактилического словораздела в анапесте и мужского в амфибрахии: уменьшение во второй строке обеих пар;
- одинаков принцип распределения женского словораздела в анапесте и дактилического словораздела в амфибрахии: увеличение во второй строке каждой пары.

Проявление вышеописанных тенденций свидетельствует о том, что вертикальное расположение словоразделов в четверостишии некрасовского анапеста и амфибрахия воспроизводит на высшем, строфическом уровне то же ритмическое движение, которое было обнаружено нами на уровне стихотворной строки. Говоря иначе, словораздельный ритм строфы изоморфен словораздельному ритму строки. В самом деле, если мы вспомним, как выглядят предпочтительные строчные модели расположения словоразделов некрасовского трехстопного анапеста и амфибрахия (табл. 8), то заметим, насколько они подобны предпочтительным строфическим моделям расположения словоразделов (табл. 9).

Таблица 8. Предпочтительные строчные модели расположения словоразделов в трехстопном анапесте и амфибрахии Н.А. Некрасова

Метр	Анапест			Амфибрахий		
Сильная позиция	I	II	III	I	II	III
Тип словораздела	М	Д/Ж	Ж	Ж	М	Ж

Ж – женский тип словораздела, М – мужской тип словораздела, Д – дактилический тип словораздела.

Таблица 9. Предпочтительные строфические модели расположения словоразделов в трехстопном анапесте и амфибрахии Н.А. Некрасова

Метр	Анапест			Амфибрахий		
Сильная позиция	I	II	III	I	II	III
№ строки катрена / Тип словораздела	1	М	Д	Ж	Д	Ж
	2	Ж	Ж	М	Ж	М
	3	Ж/Д	Ж/Д	Д	М	Ф
	4	Д	Ж	М	Ж	М

Ж – женский тип словораздела, М – мужской тип словораздела, Д – дактилический тип словораздела.

Можно сказать, что заданная строкой ритмическая модель реализуется на всем пространстве четверостишия, при этом магистральным стихом, содержащим ритмический код всей строфы, в анапесте Некрасова является преимущественно первый, а в амфибрахии – последний. Исходя из этого, мы вправе предположить, что предпочтительное синтаксическое и семантиче-

ское строение анапестического катрена Некрасова должно быть описано формулой 1+3, а соответствующее строение четверостишия амфибрахия – формулой 3+1. Как, например, в следующих отрывках: «*Покорись, о ничтожное племя! / Неизбежной и горькой судьбе, / Захватило вас трудное время / Неготовыми к трудной борьбе...*» (курсив мой. – С.М.) [13. Т. 2. С. 139]; и «*Ни денег, ни званья, ни племени, / Мал ростом и с виду смешон, / Да сорок лет минуло времени — / В кармане моем миллион!*» (курсив мой. – С.М.) [13. Т. 1. С. 160]. Что касается трехстопного дактиля Некрасова, то картина расположения разных типов словоразделов на разных позициях четверостишия в этом размере резко отличается от пары анапест – амфибрахий своей рассогласованностью и неурегулированностью. Если анапест и амфибрахий, как мы показали, образуют достаточно стройную антагонистическую пару, то дактиль явно стоит особняком. Пожалуй, можно заключить, что в отличие от двух других трехстопных размеров строфический словораздельный ритм дактиля есть простая последовательность строчных комбинаций словоразделов. В пользу такого суждения говорит и сделанное нами ранее замечание относительно большей сравнительно с анапестом монолитности катрена в некрасовском дактиле, о нераспадаемости его на обособленные периоды.

Литература

1. Гаспаров М.Л. Ритмика трехсложных размеров в русской литературе // Н.А. Некрасов и русская литература. Кострома, 1971. С. 62–68.
2. Гаспаров М.Л., Тарлинская М.Г. Ритмика трехсложных размеров Некрасова // Некрасовский сборник. Калининград, 1972. С. 49–57.
3. Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. М., 2000.
4. Жирмунский В.М. Теория стиха. Л., 1975.
5. Монахов С.И. К проблеме семантизации ритма русских трехсложников (трехстопный анапест и дактиль) // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 9. Филология, востоковедение, журналистика. 2005. Вып. 4. С. 3–18.
6. Шенгели Г.А. Трактат о русском стихе. М.; Л., 1923.
7. Шенгели Г.А. Техника стиха. М., 1960.
8. Гаспаров М.Л. Строфический ритм в русском 4-стопном ямбе и хоре // Russian verse theory: Proceedings of the 1987 conference at UCLA. Columbus (Ohio), 1989. С. 455–471.
9. Шапир М.И. Феномен Батенькова и проблема мистификации (Лингвостиховедческий аспект. 1–2) // Philologica. 1997. Vol. 4, № 8/10. С. 85–144.
10. Smith G.S. Stanza Rhythm and Stress Load in the Iambic Tetrameter of V.F. Xodasevič // Slavic and East European Journal. 1980. Vol. 24, № 1. С. 25–36.
11. Вишневский К.Д. Метрика Н.А. Некрасова и ее жанрово-экспрессивная характеристика. // Проблемы жанрового разнообразия в русской литературе XIX в. Рязань, 1972. С. 242–254.
12. Баевский В.С. Типы строфической организации стихотворений Н.А. Некрасова // Некрасовский сборник. Калининград, 1972. С. 106–109.
13. Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем: в 15 т. Л., 1981–1984.
14. Гаспаров М.Л. Избранные труды. М., 1997.
15. Гаспаров М.Л. Современный русский стих. Метрика и ритмика. М., 1974.
16. Томашевский Б.В. О стихе. Л., 1929.

ON THE VERTICAL RHYTHM OF N. NEKRASOV'S TERNARY TRIMETERS

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 46. 152–166. DOI: 10.17223/19986645/46/11

Sergey I. Monakhov, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: sergomon@gmail.com

Keywords: ternary trimeters, vertical rhythm, stanzaic rhythm, Nekrasov, word boundaries, rhythmical patterns.

The paper aims to provide analysis of the principles of vertical (within-the-stanza) rhythmic organisation of the Russian poet N. Nekrasov's ternary trimeters. The problem is formulated as follows: are there any distinct patterns in the arrangement of word boundaries in different lines of a quatrain and, if so, how do they correspond with the arrangement of word boundaries within a line?

The frequency distribution of the most simple, paired, vertical combinations of word boundaries dependent on the rhyme scheme (in pairs of odd and even lines of AbAb quatrain) reveals a contrasting opposition of Nekrasov's anapest and amphibrach; it encompasses both the tendencies in the distribution of different types of word boundaries and the strong positions where these tendencies are actualized.

Thus, the feminine and the dactylic word boundaries, on the one hand, and the masculine word boundary, on the other hand, are opposed in the first strong position of anapest and the second strong position of amphibrach: 1) the number of feminine and dactylic word boundaries in anapest increases in the second line of each pair, while the number of masculine word boundaries decreases; 2) the number of feminine and dactylic word boundaries in amphibrach, on the contrary, decreases in the second line of each pair, while the number of masculine word boundaries increases.

In the second strong position of anapest and the first strong position of amphibrach three different patterns can be distinguished: 1) the distribution of "foot-constituting" word boundaries – the masculine in anapest and the feminine in amphibrach – is governed by the same principle: they are less frequent in the third line of the quatrain than in the first one and more frequent in the fourth line of the quatrain than in the second one; 2) the distribution of dactylic word boundaries in anapest and masculine word boundaries in amphibrach is governed by the same principle: their frequency decreases in the second lines of both pairs in the quatrain; 3) the distribution of feminine word boundaries in anapest and dactylic word boundaries in amphibrach is governed by the same principle: their frequency increases in the second lines of both pairs in the quatrain.

These tendencies suggest that the vertical (within-the-stanza) arrangement of word boundaries in Nekrasov's anapaest and amphibrach reproduces at a higher, stanzaic, level the same "double-pitched" rhythmic movement that has been earlier identified at the horizontal (within-the-line) level: in accordance with it, the first word boundary determines the beginning of the line (anapest uses the masculine one, amphibrach the feminine / dactylic one), while the second word boundary is contrasted with the first on the grounds of "ascending" and "descending" rhythmical movement (anapest uses the feminine / dactylic one, amphibrach the masculine one) and tends to coincide with a clausula.

In other words, the word boundaries rhythms of line and stanza in Nekrasov's poetry are homogeneous.

References

1. Gasparov, M.L. (1971) [The rhythm of trisyllabic meters in Russian literature]. *N.A. Nekrasov i russkaya literatura* [N.A. Nekrasov and Russian literature]. Proceedings of the conference Kostroma: Kostroma State Pedagogical Institute. pp. 62–68. (In Russian)
2. Gasparov, M.L. & Tarlinskaya, M.G. (1972) *Ritmika trekhslazhnykh razmerov Nekrasova* [The rhythm of Nekrasov's trisyllabic meters]. In: Garkaci, A.M. (ed.) *Nekrasovskiy sbornik* [Nekrasov Collection]. Kaliningrad: Kaliningrad State Pedagogical Institute.
3. Gasparov, M.L. (2000) *Ocherk istorii russkogo stikha* [An outline of the history of Russian verse]. Moscow: Pal'mira.
4. Zhirmunskiy, V.M. (1975) *Teoriya stikha* [Theory of verse]. Leningrad: Sovetskiy pisatel'.
5. Monakhov, S.I. (2005) K probleme semantizatsii ritma russkikh trekhslazhnikov (trekhstopnyy anapest i daktil') [On the problem of semantisation of the rhythm of Russian trimeters (anapest and dactyl trimeter)]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 9. Filologiya, vostokovedenie, zhurnalistika – Vestnik of St. Petersburg University. Series 9. Philology, Asian Studies, Journalism*. 4. pp. 3–18.
6. Shengeli, G.A. (1923) *Traktat o russkom stikhe* [A treatise on Russian verse]. Moscow; Leningrad: Giz.
7. Shengeli, G.A. (1960) *Tekhnika stikha* [Technique of verse]. Moscow: Goslitizdat.

8. Gasparov, M.L. (1989) [Strophic rhythm in the Russian iamb and choreus fourmeter]. *Russian Verse Theory*. Proceedings of the 1987 conference at UCLA. Columbus (Ohio). pp. 455–471. (In Russian)
9. Shapir, M.I. (1997) Fenomen Baten'kova i problema mistifikatsii (Lingvostikhovedcheskiy aspekt. 1–2) [The phenomenon of Batenkov and the problem of mystification (Linguistic verse study aspect, 1–2)]. *Philologica*. 4:8/10. pp. 85–144.
10. Smith, G.S. (1980) Stanza Rhythm and Stress Load in the Iambic Tetrameter of V. F. Xodasevič. *Slavic and East European Journal*. 24:1. pp. 25–36.
11. Vishnevskiy, K.D. (1972) Metrika N.A. Nekrasova i ee zhanrovo-ekspressivnaya kharakteristika [Meters of N.A. Nekrasov and their genre-expressive characteristics]. In: *Problemy zhanrovogo raznoobraziya v russkoy literature XIX v.* [Problems of genre diversity in Russian literature of the 19th century]. Ryazan: Ryazan State Pedagogical Institute.
12. Baevskiy, V.S. (1972) Tipy stroficheskoy organizatsii stikhotvoreniy N. A. Nekrasova [Types of stanza organization of poems by N.A. Nekrasov]. In: Garkaci, A.M. (ed.) *Nekrasovskiy sbornik* [Nekrasov Collection]. Kaliningrad: Kaliningrad State Pedagogical Institute.
13. Nekrasov, N.A. (1981–1984) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 15 tt.* [Complete works and letters: in 15 vols]. Leningrad: Nauka.
14. Gasparov, M.L. (1977) *Izbrannye trudy* [Selected works]. Moscow: Yazyki russloy kul'tury.
15. Gasparov, M.L. (1974) *Sovremennyy russkiy stikh. Metrika i ritmika* [The modern Russian verse. Stanza and rhythm]. Moscow: Nauka.
16. Tomashevskiy, B.V. (1929) *O stikhe* [About verse]. Leningrad: Priboy.

УДК 008: 821.161.1.09

DOI: 10.17223/19986645/46/12

Е.Г. Серебрякова

«АНТИСОВЕТЧИК» ВАЛЕРИЙ ТАРСИС: ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПИСАТЕЛЯ-НОНКОНФОРМИСТА КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ

В статье анализируется поведенческая модель писателя-нонконформиста Валерия Тарсиса. Это позволяет выявить специфику индивидуальной идентичности писателя. Цель статьи – определить механизмы ее формирования, обнаружить поведенческую модель, использованную в качестве образца и определившую тип «писатель-нонконформист». По мнению автора, базовым механизмом самоидентификации Тарсиса являлось воспроизведение героической модели «борца с тоталитаризмом». Однако данная модель поведения скрывала под антисоветскими акциями советскую ментальность.

Ключевые слова: диссиденты, нонконформисты, диссидентский дискурс, поведенческие модели.

Механизмы формирования индивидуальной идентичности изучаются представителями различных наук: философии, психологии, социологии. Каждая из дисциплин предлагает свой подход к проблеме. Один из вариантов, предложенных культурологией, – анализ поведенческих моделей как своего рода «текста», с определенным типом дискурса и способом репрезентации.

Целью данной статьи является определение специфики индивидуальной идентичности советского писателя Валерия Тарсиса. Мы постараемся выявить механизмы формирования идентичности «писатель-нонконформист», обнаружить поведенческую модель, использованную литератором в качестве образца, и проследить её дальнейшую трансформацию.

Выбор объекта исследования объясняется несовпадением самоидентификации писателя, реализуемой в социальной практике, и подлинной идентичности, реконструируемой при анализе поведенческой модели.

Имя Валерия Тарсиса, хотя и состоявшего членом Союза писателей с 1940 г., не было знакомо широкому кругу читателей, поскольку до конца 1950-х гг. он занимался преимущественно переводами. Однако социальное поведение литератора в 1960-е гг. оценивалось властями как общественно опасное, более того, Тарсис косвенно повлиял на участь Синявского и Даниэля. В октябре 1965 г., накануне его высылки из страны, в Записке председателя КГБ В.Е. Семичастного и генерального прокурора СССР Р.А. Руденко имена Тарсиса, Синявского и Даниэля фигурируют вместе: «В частности, полагаем целесообразным провести следующее: <...>

– По окончании следствия и после решения вопроса об ответственности арестованных Синявского и Даниэля Союзу писателей СССР обеспечить участие писательской общественности в заключительных мероприятиях по делу, вопрос о которых будет решён Прокуратурой СССР, КГБ и судебными органами. <...>

– Что касается Тарсиса, то во изменение ранее принятого решения о его аресте с целью последующего принудительного лечения, в настоящее время представляется более правильным разрешить ему выезд из Советского Союза за границу с закрытием обратного въезда. Такая мера позволит пресечь различного рода инсинуации "о гонениях" на Тарсиса и <...> локализовать действия всяких "комитетов по защите Тарсиса", которые в случае ареста последнего, безусловно, ассоциируют его имя с именами Синявского и Даниэля, что вряд ли выгодно нам политически» (Записка председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР В.Е. Семичастного и Генерального прокурора СССР Р.А. Руденко от 2–4 октября 1965 г.) [1. С. 297].

Тарсис реализовывал в общественной практике революционно-героический тип поведения. Он декларировал свою ориентацию открыто и демонстративно. В сатирическом памфлете «Сказание о синей мухе» (1963 г.) один из героев высказывает мысли, близкие позиции автора: «...только объединённое человечество способно к разумной общей жизни, то есть к коммунизму. <...> Но чудовищно бюрократическое государство отмирать не собирается, и сломать его будет гораздо сложнее, чем буржуазное, зато потом быстро наступит коммунизм» (Справка Государственного комитета по печати при Совете Министров СССР о писателе В.Я. Тарсисе) [1. С. 303]. При этом революционность сочеталась в его общественных акциях, публицистических и литературных текстах с антисоветской риторикой.

Публикация «Сказания о синей мухе» в «Гранях» под подлинной фамилией была весьма рискованным шагом и имела для автора драматичные последствия: он был помещён в психиатрическую больницу и выпущен после вмешательства международной общественности. Второй текст, «Палата № 7» (1966 г.), закрепил скандальную славу писателя, поскольку впервые рассказывал об использовании в Советском Союзе психиатрии в борьбе с инакомыслящими. Новизна темы, подвергнутой художественному анализу, определила внимание читателей. Правда, Тарсис избрал маргинальную тему и тем самым сознательно ограничил круг аудитории. Однако популярность среди читателей самиздата и публикация в Англии прочно связали его имя с оппозиционностью и бунтом.

Современники оценивали поведение Тарсиса и его тексты неоднозначно. Твардовский записал в дневнике: «19. 1. 66: Ещё раз попробовал читать «Палату № 7», не дочитал – противно. Всё там есть, что нередко говорим и думаем почти все мы, но вывалено это с такой неразборчивостью не то что в выражениях, но с какой-то холуйской готовностью сообщить «туда» как можно больше гадостей о советской власти, марксизме и коммунизме <...> что становится, во-первых, скучно от этого однообразного нагнетания «фактов», во-вторых, видишь, что бездарность несостоятельна всегда, даже если она прикасается к самым ужасающим и в основе своей действительным фактам. Всё это – сумбурный, многословный монолог «пациента», объясняющего своё местонахождение в психбольнице историческим перерождением социализма в фашизм и уже ничего не желающего знать, кроме того, что «местонахождение» имеет свои привилегии – безнаказанность любой брехни.

Но можно подумать и так: почему этот автор, печатающий под своей фамилией, на русском языке откровенные призывы к свержению нынешнего строя и предъявляющий самые немыслимые (какая уж «сатира», какой «пасквиль») обвинения, – автор этот на свободе, живёт в писательском доме, получает, как говорят, доллары и ничего с ним не делается. Может быть, конечно, это крайнее предположение, дело в том, что он не является «сотрудником» «НМ», никак его не приписать сюда» [2. С. 422].

У возмущения Твардовского, как видим, несколько причин: явное несоответствие художественной немощи произведения его самиздатской популярности, подогреваемой скандалом вокруг имени автора, и очевидно «казанной» характер писания. Причины раздражённости автора дневника становятся ясны при восстановлении внелитературного контекста. Обратим внимание на дату – январь 1966 г. В судьбе «Нового мира» наступили тяжёлые времена: Твардовскому приходится держать оборону от обвинений редакции в сотрудничестве с подследственным Синявским, суд над которым начнётся в следующем месяце, продолжать борьбу за публикацию романа Солженицына «В круге первом», неустанно отбиваться от нападков цензуры. Напряжение, нагнетающееся вокруг журнала, всё чаще приводит главного редактора к убеждению в неизбежности его закрытия. Реплика о безнаказанности Тарсиса объясняется недоумением автора несбалансированностью действий властей. На фоне «разухабистой писанины Тарсиса» (выражение Твардовского) уголовное преследование Синявского и Даниэля за тексты, сомнительно антисоветские казалось ему особенно несправедливым. Заметим, что Твардовский при всей обременённости редакторскими делами нашёл время для повести Тарсиса. Это свидетельствует о восприятии поведенческой модели не слишком известного литератора как знаковой. Тарсис, пусть ненадолго, но стал общественно значимым явлением.

В этом восприятии личности писателя с Твардовским солидаризировался Буковский. В автобиографии «И возвращается ветер...» он посвятил Тарсису несколько восторженных страниц. Восхищение диссидента вызывает демонстративность его протестных акций: тот «давал интервью, пресс-конференции, почти открыто отправлял за границу новые рукописи, даже машину себе купил – на зависть всему писательскому дому, в котором продолжал жить».

И валом валил к нему народ, в особенности же корреспонденты и иностранные туристы, – посмотреть на восьмое чудо света. Буквально все, затаив дыхание, ждали: когда же этого Тарсиса арестуют, задавят машиной или распнут на кресте...» [3. С. 227]. Ориентация на зрителя, зафиксированная Буковским, позволяет характеризовать поведенческую модель Тарсиса как театральную. Эффект, на который тот явно рассчитывает и получает, – популярность внутри страны и, главное, за рубежом. Для профессионального диссидента Буковского успех на Западе – знак эффективности выбранной тактики. Для придания ценностного статуса данному типу поведения Буковский осмысливает его в категориях «бесстрашия» и «мужества»: Тарсис не боится запугиваний высших чинов КГБ, не меняет позиции после заключения в психбольницу, помогает молодёжи печататься на Западе. Вывод Буковского симптоматичен: «Тарсис <...> жил совершенно так, как будто никакой совет-

ской власти не существует» [3. С. 227]. Показательно, что примерно так же определял специфику поведения диссидентов А. Амальрик: свободные люди в несвободной стране. Вот поведенческий образец для личности современного типа – индивидуализм, возведённый в жизненную позицию.

Объяснения логики поступков Тарсиса, данные Буковским, довольно убедительны. В частности, он отмечает социально адаптированное поведение писателя в начале карьеры: «Учился в университете, вступил в партию, был на фронте, стал советским писателем» [3. С. 226]. Поворотным пунктом к девиантному поведению рассказчик считает присуждение Нобелевской премии Пастернаку: «...к 1960 году печатать его перестали полностью. Тут-то и стал он тайком переправлять свои рукописи за границу.

Этот, впоследствии традиционный, способ публикации начался тогда с Бориса Пастернака и стал казаться особенно заманчивым после присуждения ему Нобелевской премии» [3. С. 226]. Буковский указывает на Пастернака как на поведенческий образец для многих литераторов, в том числе и для Тарсиса. Скандал, разразившийся вокруг имени поэта, передавшего рукопись романа на Запад и не сумевшего воспользоваться мировым признанием, может быть привлекателен и способен определить жизненный сценарий. Продолжая логику Буковского, можно понять, что Тарсис реализовал отредактированную версию судьбы Пастернака: печатать на Западе под своей фамилией откровенно антисоветские произведения, подогревать внимание отечественной и зарубежной общественности всё новыми скандалами, используя для этих целей литературное творение и социально провокационное поведение. Тот факт, что художественный текст в этом случае наделяется статусом не эстетического, а политического высказывания, превращается в акт социального неповиновения и одновременно служит трамплином для прыжка на Запад, не смущает диссидента. В конце 1970-х гг., когда Буковский создавал свою книгу, способ, апробированный Тарсисом, зарекомендовал себя как вполне эффективный и действительно стал традиционным в поведении диссидентов.

С версией Буковского нельзя не согласиться. Он указал механизмы формирования поведенческой модели: найден образец, последователь ориентируется на него и совершенствует в соответствии с собственными целями. Референтной группе как бы предлагается иной вариант известной судьбы: как могла бы сложиться образцовая биография при смене поведенческой тактики. Кроме того, подкрепляя свои поступки авторитетным именем, последователь придавал собственным действиям дополнительный вес.

Погружённая в иной социальный контекст цитата наполнялась, казалось бы, новой семантикой: демонстрировала иную модель поведения – не интериоризацию, как в случае Пастернака, а бунт – полный разрыв с советской культурой ради утверждения новых норм и ценностей. Рассмотрим, так ли это.

«Пастернаковский сценарий» в случае Тарсиса можно проследить по документам. В 1960 г. через итальянского журналиста он передал отвергнутую издательством «Советский писатель» рукопись романа «Флорентийская лилия» Джанджакомо Фельтринелли, именно тому, кто напечатал «Доктора Живаго». Подвергнувшись исключению из партии за «поступок, недостой-

ный звания члена КПСС» (в свете истории с Пастернаком вполне предсказуемая реакция властей) отправил письмо переправлявшему её журналисту Дзаполи с просьбой вернуть рукопись. Расчёт, вероятно, был сделан на память Фельтринелли: с «Флорентийской лилией» тот должен был поступить так же, как с «Доктором Живаго» – напечатать, вопреки просьбе автора, сделанной под давлением. Дальше скандал разрастался бы сам собой. Более того, узнав, что роман в Италии принят к публикации, Тарсис оповестил об этом Московское отделение Союза писателей и попросил предоставить ему возможность выехать туда для «дополнительной работы над произведением и сбора материалов». Эта просьба, с одной стороны, укладывается в норму поведения советского писателя: Тарсис действует открыто, оповещает руководство о творческих планах. С другой стороны, он не мог не предвидеть отрицательной реакции на свою просьбу и, возможно, сознательно подогревал вероятный скандал. Расчёт писателя тогда не оправдался: даже напечатанная «Флорентийская лилия» не смогла повторить успеха «Доктора Живаго».

Из Записки отдела культуры ЦК КПСС от 29 сентября 1960 г. ясно, что автору в тот раз не инкриминировалось антисоветского содержания романа, речь шла лишь о пессимистичности произведения. Содержание книги было признано идейно уязвимым, но никак не враждебным. Причина исключения из рядов КПСС – нарушение партийной дисциплины (Записка Отдела культуры ЦК КПСС и Отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС) [1. С. 291]. Как видим, поведение и Тарсиса, и партийного руководства СП укладывается в одно смысловое поле, действия писателя хотя и признаны предосудительными с точки зрения партийной этики, но не противоречат советской идентичности.

Дебют в роли «нового Пастернака» принёс Тарсису первые дивиденды: его имя прозвучало в самиздатских кругах и на Западе. Определилась и референтная группа – читатели сам- и тамиздата. «Свой» автор реализовал коллективные ожидания сообщества. В сборнике «Казнимые сумасшествием» (1971 г.), составленном правозащитниками для привлечения международного внимания к репрессивной психиатрии в СССР, читаем: «В 1960 году Тарсис рвёт с партией и руководством Союза писателей и передаёт за границу рукописи своих произведений. Он в это время – духовный возглавитель (так в тексте. – *Е.С.*) молодёжной творчески-оппозиционной группы СМОГ, первый в Москве открыто критикующий советские порядки» [4. С. 193]. Характеристика, данная Тарсису, значима для самоидентификации диссидентов. Как мы знаем из документов, писатель «рвёт с партией и руководством Союза писателей» не по собственной инициативе, он был исключён (в 1960 г. – из партии, в 1964-м – из Союза писателей). Однако диссидентский дискурс составителей сборника предполагал героическую трактовку событий, совпадающую с версией самого Тарсиса. После высылки из Советского Союза, находясь в Англии, на пресс-конференции в издательстве «Коллинс» 10 февраля 1966 г. на вопрос журналиста, был ли он коммунистом, Тарсис ответил, что был им в течение 20 лет и вступил в эту «бандитско-фашистскую партию», чтобы «лично изучить врага» (Записка первого заместителя председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР Н.М. Захарова и Генерального прокурора СССР Р.А. Руденко) [1. С. 306].

Достоверность высказанной версии, вероятно, казалась ему менее важной, чем хлёсткий и запоминающийся ответ. Успех саморепрезентации, похоже, был для него самоценен.

В цитате из сборника «Казнимые сумасшествием» показательна и концовка: в сознании советских диссидентов роль Тарсиса в обществе определяется по аналогии с официальной иерархией: он собиратель молодых антикоммунистических сил и наставник творческой молодёжи. Предложенная трактовка поведения согласуется с саморепрезентацией Тарсиса. На упомянутой пресс-конференции в издательстве «Коллинс» он, в частности, объявил себя руководителем всей антисоветской литературы, выходящей на Западе на русском языке, и редактором всех «подпольных» изданий в СССР независимо от того, указано в них его имя или нет (редакторство Тарсиса документировано только в самиздатском журнале «Сфинкс» (1965. № 1) – органе литобъединения «СМОГ»).

Показательно, что самооценки Тарсиса, совпадающие с восприятием его личности неконформистами, транслируют советскую модель социальных отношений: авторитарное стремление писателя руководить, являть образец для подражания, обучать младших товарищей собственным примером не только профессиональному мастерству, но и жизненной позиции.

Документы, как отмечалось выше, свидетельствуют, что первоначальное намерение властей предать Тарсиса уголовному преследованию, как Синявского и Даниэля, было пересмотрено. Решающим аргументом послужил международный резонанс на заключение его в психбольницу в 1962 г. Высылка из страны была признана более предпочтительным вариантом. Безусловно, Тарсис не мог знать планов властей на свой счёт, и риск вновь оказаться в психбольнице или тюрьме был весьма велик. Однако его действия по мере упорочения международного внимания всё очевиднее приобретали звучание политических акций: после очередной публикации за рубежом он декларировал не раскаяние, как требовалось в нормативном поведении советского писателя, а ещё большую решимость бороться с советской тиранией. В качестве защитных мер от репрессий активизировал связи за границей, обеспечивал себе поддержку международной общественности. При этом социальное поведение Тарсиса оставалось тождественно литературному, публичные и частные устные заявления – художественным высказываниям. «Советский социализм с подлинным социализмом ничего общего не имеет, а уводит народ от конечной цели – коммунизма...» [1. С. 301], «партия ничего общего с коммунизмом не имеет, а является хорошо знакомой ассоциацией чиновных функционеров, борющихся за власть» (Справка Государственного комитета по печати при Совете Министров СССР о писателе В.Я. Тарсисе от 11 ноября 1965 г.) [1. С. 302]. Это из повести «Сказание о синей мухе» (1963 г.), а вот из беседы с корреспондентом «Нью-Йорк таймс»: «...я ненавижу коммунизм, ненавижу советскую власть... Я буду бороться до последнего вздоха» (Записка первого заместителя председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР Н.М. Захарова и Генерального прокурора СССР Р.А. Руденко от 14 февраля 1966 г.) [1. С. 306]. Как видим, характер высказывания – художественный или публицистический, форма – устная или письменная – не подвергают корректировке ни семантику, ни стилистику.

Это неизменно политические декларации. Тарсис всякий раз выступает как «идеологический субъект» (выражение Игала Халфина): воздействует на сознание современников пропагандистскими методами, идеологически заряженное художественное слово сопровождается «наглядной агитацией» – демонстративным общением с иностранными корреспондентами, открытой передачей рукописей за рубеж и прочее. Йоган Хелльбек отмечал, что советская революционная программа субъективации превращала индивидуумов в исторически и политически сознательных субъектов; предполагала осознанное и добровольное участие каждого гражданина в пересоздании природы, общества, себя [5. С. 222]. Именно такую идеологически преобразующую миссию и возлагал на себя Тарсис. Антикоммунистическая цель не изменила типа идентичности.

Можно предположить, что настойчивая демонстрация антисоветской позиции с использованием риторических приёмов советского дискурса являлась для Тарсиса тактическим средством, позволяла закрепить статус «главного борца с тоталитаризмом» в глазах советской и международной общественности и вынудить власти выслать его из страны. Единство языка, авторского и официального, в таком случае объяснимо, оно позволяет идентифицироваться в качестве объекта преследования властей, спровоцировать международный скандал и тем вероятнее добиться желанной цели. Тогда, покинув Советский Союз, он должен был бы сменить язык: отказаться от идеологического дискурса, дидактической риторики, неизменной манифестации политической позиции. Освободившись от необходимости вести непрерывные идеологические баталии, он мог бы реализоваться в полную силу как художник. Однако этого не произошло. Вот пример выступления писателя в Греции, куда он прибыл по частному приглашению в июне 1966 г., вскоре после эмиграции: «Дамы и господа! С моих детских лет я мечтал посетить родину моих предков <...> Грецию. И наконец моя мечта стала действительностью. <...>

Благодаря преданности своим высоким идеалам греческий народ избежал коммунистического рабства. Однако враг не дремлет и пытается использовать всякую возможность для достижения своих целей. Но мы можем быть уверены, что потомки Гомера, Александра Македонского, Платона и Аристотеля, народ поэтов и философов, своевременно нейтрализуют эти усилия и защитят себя. Я восхищён успехами греческого народа и расцветом греческой культуры. Выгнанный из Советского Союза и прибыв на родину моих предков, я считаю своим долгом предупредить вас о том, чтобы вы не обольщались ложными обещаниями демагогов. Перед собой вы имеете печальный пример моей несчастной страны, где лучшие люди или уничтожены, или замучены в концлагерях, где народ живёт без надежды и ожидания чего-то лучшего, где задушена свобода, где место для честного писателя – тюрьма, психиатрический дом, концлагерь или ссылка.

В последние месяцы я посетил многие страны Европы и Америки и всюду видел, как народы этих стран борются за лучшую жизнь и уничтожение тоталитарных режимов.

Ныне между коммунистами идёт сильная грызня, и я верю, что их конец не за горами. Я надеюсь, что свободный греческий народ присоединит свой

голос к голосам других народов, которые борются за свободу человечества, выразит свой протест против коммунистических орд.

Я весьма взволнован, что встретил вас. Я счастлив, что нахожусь на родине. Благодарю вас» (Статья из греческой газеты «Акрополис»). [1. С. 310–311]. Речь оратора воспроизводит стереотипы официального советского языка: движущая сила истории – народ, прогресс неостановим, победа не за горами.

Тарсис за границей продолжал транслировать поведенческие нормы, традиционные в советской культуре: позиционировал себя как борца за свободу, предупреждал о грядущей угрозе, словом, использовал органичный для себя революционный политический язык. Советская идентичность оказалась адекватной единственно советской культуре и не позволила ему вписаться в западную. В Англии, ФРГ, а затем в Швейцарии, где он жил, Тарсис продолжал литературную деятельность, его собрание сочинений насчитывает 12 томов, но опубликовать удалось лишь 4: написанную в СССР трилогию «Комбинат наслаждений» (1967 г.), автобиографическую повесть «Седая юность» (1968 г.), романы «Столкновение с зеркалом» (1970 г.) и «Недалеко от Москвы» (1981 г.). [6. С. 414]. В Советском Союзе его имя помнилось недолго. Через полтора года, в августе 1967-го, Твардовский записал в дневнике: «...кто сейчас помнит о книжонках и разухабистой писанине Тарсиса?» [7. С. 61].

Итак, базовым механизмом самоидентификации Тарсиса являлось воспроизведение героической модели «борца с тоталитаризмом». Однако революционная модель поведения скрывала под антисоветскими акциями советскую ментальность. Явное несоответствие подлинной и декларируемой идентичности определило творческую судьбу писателя: позиционируя себя в качестве независимого художника, свергающего политический диктат государства, он воспроизводил в гражданском и писательском поведении советские стереотипы и не сумел в полной мере реализоваться как литератор.

Литература

1. *Документы* свидетельствуют... : Из фондов Центра хранения современной документации (ЦХСД). Смотрели за каждым... «Палата № 7» / вступ. заметка Л. Лазарева, публ. Т. Домрачевой, Л. Чарской // *Вопр. лит.* 1996. № 2. С. 290–312.
2. *Твардовский А.* Новомирский дневник: в 2 т. Т. 1: 1961–1966. М.: ПРОЗАиК, 2009. 656 с.
3. *Буковский В.* И возвращается ветер... М.: Захаров, 2007. 400 с.
4. *Казимые сумасшествием: сб. документальных материалов о психиатрических преследованиях инакомыслящих в СССР* / ред. А. Артёмова, Л. Рар, М. Славинский. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1971. 508 с.
5. *Интервью с Игалом Халфиным и Йоханом Хелльбеком* / пер. М. Могильнер // *Ab Imperio*. 2002. № 3. С. 217–260.
6. *Казак В.* Лексикон русской литературы XX века. М.: РИК «Культура», 1996. 491 с.
7. *Твардовский А.* Новомирский дневник: в 2 т. Т. 2: 1967–1970. М.: ПРОЗАиК, 2009. 640 с.

“ANTI-SOVIET” VALERY TARSIS: THE BEHAVIOUR MODEL OF THE NONCONFORMIST WRITER AS A REALISATION OF IDENTITY

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 46. 167–175. DOI: 10.17223/19986645/46/12

Elena G. Serebryakova, Voronezh State University (Voronezh, Russian Federation). E-mail: Serebrjakova@phipsy.vsu.ru

Keywords: dissidents, non-conformists, dissident's discourse, models of behaviour.

The author analyses the behaviour model of the nonconformist writer Valery Tarsis. It allows to reveal the specifics of the individual identity of the writer. The purpose of this article is to determine the mechanisms of its formation, to detect the behavioural model used as a sample and determining the type of the nonconformist writer. The choice of the object of the study is determined by the discrepancy between the identity of the writer, performed in social practice, and his genuine identity, reconstructed by the analysis of his behavioural patterns. According to the author of the article, the basic mechanism of Tarsis' self-identification was the reproduction of the heroic model of the “fighter against totalitarianism”. As a sample, the behaviour model of Boris Pasternak was used, but in an edited version. Tarsis did not hide his anti-Soviet views, consciously provoked government repression. He published two stories in the West, *The Legend of a Blue Fly* and *Ward 7*, under his own name. His name sounded in samizdat circles and abroad. The reference group was determined – readers of samizdat, and tamizdat. International popularity protected Tarsis from the authorities that decided to send the writer out of the country in 1965.

However, this behaviour pattern concealed a Soviet mentality under anti-Soviet actions. Journalistic speeches of the writer broadcast the Soviet model of social relations: the authoritative aspiration of the writer to direct, show a role model, train younger companions with his own example not only in professional skills, but also in a living position. Interviews and articles of Tarsis in the Soviet Union and in exile remain rhetorical techniques of the Soviet discourse. The obvious discrepancy between the original and declared identities determined the creative destiny of the writer: positioning himself as an independent artist overthrowing the political dictatorship of the state he reproduced Soviet stereotypes in his civil and literary behaviour, and did not manage to realise himself fully as a writer.

References

1. Tarsis, V. (1996) Palata № 7 [Ward 7]. *Voprosy literatury*. 2. pp. 290–312.
2. Tvardovskiy, A. (2009) *Novomirskiy dnevnik. V 2 t.* [Novomirsky diary. In 2 vols]. Vol. 1. Moscow: PROZAiK.
3. Bukovskiy, V. (2007) *I vozvrashchaetsya veter...* [And the wind returns...]. Moscow: Zakharov.
4. Artemova, A., Rar, L. & Slavinskiy, M. (eds) (1971) *Kaznimye sumasshestviem: Sbornik dokumental'nykh materialov o psikiatricheskikh presledovaniyakh inakomyslyashchikh v SSSR* [Executed by madness: A collection of documentary materials on psychiatric persecution of dissidents in the USSR]. Frankfurt: Posev.
5. Ab Imperio. (2002) Interv'yu s Igalom Khalfinym i Yokhanom Khell'bekom [Interview with Igal Khalfin and Johan Hellbeck]. Translated from German by M. Mogil'ner. *Ab Imperio*. 3. pp. 217–260.
6. Kazak, V. (1996) *Leksikon russkoy literatury XX veka* [Lexicon of Russian literature of the 20th century]. Moscow: RIK “Kul'tura”.
7. Tvardovskiy, A. (2009) *Novomirskiy dnevnik. V 2 t.* [Novomirsky diary. In 2 vols]. Vol. 2. Moscow: PROZAiK.

УДК 821.161.1

DOI: 10.17223/19986645/46/13

В.А. Суханов

**А.П. ЧЕХОВ В ТВОРЧЕСКОМ СОЗНАНИИ Ф. ГОРЕНШТЕЙНА:
ПИСАТЕЛЬ КАК ЧИТАТЕЛЬ В ЭССЕ «МОЙ ЧЕХОВ ОСЕНИ
И ЗИМЫ 1968 ГОДА»**

В статье рассматриваются причины обращения Ф. Горенштейна к творчеству А.П. Чехова в конце 1960-х гг, интерпретация Ф. Горенштейном цивилизационных, социально-исторических и ментальных процессов XIX в., идеи фило- и антропогенеза писателя, этико-философские взгляды Ф. Горенштейна, его понимание места и роли творчества А.П. Чехова в отечественной и мировой литературе, анализируются стратегии и тактики прочтения Ф. Горенштейном творчества А.П. Чехова.

Ключевые слова: А.П. Чехов, Ф.Н. Горенштейн, творческое сознание, стратегии и тактики прочтения, интерпретация, несобственно-художественное творчество.

Обращение к Чехову – постоянный мотив русской философской и художественной мысли XX – начала XXI в. [1–5]. В литературном процессе второй половины XX в., который начинается с постепенного освобождения от мифологических картин соцреализма, чеховское творчество – один из существенных факторов, во многом определивший прозрение русских писателей этой поры, о чем свидетельствует как художественное творчество (В. Гроссман, Ю. Казаков, В. Шукшин, Ф. Горенштейн, Ю. Трифонов), так и публицистика: Л. Леонов. «Речь о Чехове», С. Залыгин. «Мой поэт. Эссе о творчестве А.П. Чехова» (1969), Ф. Горенштейн. «Мой Чехов осени и зимы 1968 года», Ю. Трифонов. «Заметки о жанре» (1959), «Правда и красота» (1959), «О нетерпимости» (1966), «Возвращение к prosus» (1969), «Нескончаемое начало» (1973), «Нет, не о быте – о жизни» (1976), «Импульс первой книги» (1981).

Ф. Горенштейн на протяжении всего своего творчества неоднократно обращался к творчеству Чехова [6–8]. В эссе «Мой Чехов осени и зимы 1968 года» [9] установка на субъективность прочтения намеренно обнажена в заглавии («Мой Чехов») и в повествовании, что свидетельствует о ее осознанности и принципиальной значимости для писателя: не анализ творчества («Я не собирался анализировать творчество Чехова»), а его прочтение сквозь призму экзистенциальной («здесь и сейчас») «пригодности» («нужен мне именно сейчас, осенью – зимой 1968 года»). Предвосхищая возможное непонимание, Ф. Горенштейн в финале эссе дополнительно аргументирует право на такое прочтение указанием на онтологический статус творчества Чехова: «Чехов, как и другие великие создания человеческого рода, есть явление независимое от нашего сознания, подобно морю или луне» [9].

Таким образом, для понимания стратегии интерпретации Ф. Горенштейном прозы Чехова существенным оказывается социально-исторический контекст 1968 г. («данный момент»), поскольку именно он определяет ту предметную и смысловую зону, которая будет «вычленена» из творчества Чехова,

описана и подвергнута истолкованию, привлекаемые при этом чеховские рассказы «Новая дача», «В овраге», «Письмо» станут авторитетной аргументацией авторской интерпретации реальности, позволят объяснить то, что происходит «на планете».

Потенциальный адресат Ф. Горенштейна – современник, поэтому писатель не описывает те конкретные социальные и политические события 1968 г., которые побудили его к написанию эссе, а дает им предельно обобщенную этическую характеристику, подчеркивая планетарный глобальный масштаб происходящего, характеризуя его как эпоху нравственного кризиса, время тотального наступления зла и насилия: «Этими буйными, истеричными осенью и зимой, когда сила и злоба разбойничают во всех углах нашей маленькой планеты, а милосердие, добродетель и душевную деликатность пытаются представить явно ли, тайно ли как признак чахоточной телесной хилости и подвергнуть всеобщему осмеянию» [9]¹. Именно в этой ситуации значимыми и актуальными для современности, по мысли Горенштейна, оказываются художественные открытия Чехова, творчество которого писатель делит на два основных этапа: ранний и «настоящий» Чехов «позднего периода».

Свое высказывание Ф. Горенштейн начинает с обозначения двух моментов: во-первых, «пограничности» чеховского творчества, на котором «лежит печать не только величия, но и вырождения», во-вторых, его итоговости: «Чехов подытожил духовный взлет Российского XIX в., да, пожалуй, и духовный взлет всей европейской культуры» [9]. Мысль о «вырождении» связана с культурологической концепцией Ф. Горенштейна, в которой русская проза XIX в. – завершающий этап гуманистических концепций эпохи Возрождения – рождается «на излете», поэтому на ней «лежит подспудный отпечаток усталости и чрезмерных напряжений, свойственных всякой старости, отпечаток старческого ребячества, детской чистой мечты, щемящей грусти по ушедшим годам, наивной веры и мудрой иронии» [9].

Такое понимание места чеховского творчества в истории литературы и культуры потребовало изложения авторских взглядов на социально-исторические события XIX в., поскольку этим создавался необходимый контекст для аргументации своего прочтения.

По мысли Ф. Горенштейна, фундаментальные цивилизационные, социальные и мировоззренческие изменения XIX в. связаны с промышленной революцией, формированием цивилизации потребления и массового человека, с

¹ См.: Курлански М. 1968. Год, который потряс мир. М.: АСТ, 2008. 544 с. «В 1968 году загорелось сразу и по всему миру. Что-то тлело давно, да начали раздувать, где-то вспыхнуло само, а где-то подливали масла в огонь...<...> И люди увидели, что мир пылает». См.: Дейниченко П. К сорокалетию мировой революции. URL: <http://www.slovosfera.ru/bookreview/kurlanski.html> (дата обращения: 22.04.2016); «Социальное недовольство не было направлено против какого-то конкретного политического режима или устройства. Оно было словно разлитое в воздухе и порождало протест против любого неравенства: социального, расового, этнического, сексуального. <...> Это был анархический протест против всех авторитетов и традиционных заповедей. Общая неприязнь к власти объединяла советских диссидентов, западных новых левых, вьетнамских партизан и китайских хунвейбинов». См.: 1968: год великого перелома. URL: http://expert.ru/russian_reporter/2008/16/god_velikogo_pereloma/ (дата обращения: 30.03.2016). Здесь важен и контекст социальных и военно-политических событий «пражской весны»; о значимости контекста для понимания позиции автора свидетельствует инверсия в названии «осени и зимы 1968».

кризисом и вырождением религии, доминированием атеизма как научного мировоззрения и безверием как особым типом сознания. Наступление массовой цивилизации, выход на арену истории «заурядности» (Х. Ортега-и-Гассет), «молчаливого большинства» (Ж. Бодрийяр) меняет социальную структуру общества XIX в. [9], в которой основными историческими субъектами эпохи становятся пять социальных групп: 1) масса («честные обыватели», «посредственности», «невежества»); 2) лидеры масс – «непокорные лакеи», «авантюристы»; 3) аристократия («хилые баре-вырожденцы»); 4) духовно свободные личности; 5) «трудовой народ». Каждой социальной группе присущи свои мировоззренческие и ценностные доминанты.

Рождающееся на руинах религиозного сознания позитивистское мировоззрение лишает массовое сознание метафизической определенности в понимании реальности, возвращает ему ее «вещность»: «мир <...> благодаря вышедшей из подполья науке, принимал твердые очертания» [9]. Вместе с позитивизмом приходит утрата веры в Абсолют, человечество, разочаровавшееся в религии, требовавшей самоограничения и лишавшей земных радостей во имя «Царствия небесного», бросилось, по мысли писателя, «лихорадочно навестывать упущенное» [9]. Превратно понятый античный гедонизм становится основой для безверия, особого типа мировоззрения, далекого от атеизма и присущего массовому человеку начинающейся эпохи потребления.

Человек «безверия», массы находится в доморальной фазе развития и исчерпывается потребностями собственной физиологии, «большой, не по летам фантастически сильный, слепой ребенок», для которого убийство столь же естественно, как и любой простой акт физиологии, а мольбы о пощаде «даже приводят его в удивление, как удивила бы его мольба не есть, не пить и не испражняться» [9]. Это состояние «святой простоты», непонимание смысла совершаемого. «Мятежная масса утратила малейшую способность к религии и знанию», – писал Х. Ортега-и-Гассет [10. С. 265].

Внутри массовидного формируется, а потом отделяется от него социальный слой с особым мировоззрением и психологией – *лакеи*. Условием отделения лакеев от массы становится гуманистическое достижение цивилизации – грамотность: «Научившиеся читать и расписываться невежества периода промышленной революции, по крайней мере, сливки его, дослужившиеся до лакеев, начали осознать прелесть господства и барства, дающую возможность для сытой, вкусной жизни» [9].

Лакей – представитель социальной группы, в которой утрачено представление о ценности человека, а с ним и представление о человеческом достоинстве, поскольку эти ценности не предполагаются его социальной позицией, это люди без чести и достоинства с комплексом «собственной неполноценности». Они входят в пространство свободы, подготовленное для них культурой («человеческим гуманизмом»), которая расчищает дорогу идее человека как мерила всех вещей. Лакеи становятся предводителями массы, толпы, того «обезумевшего от голода и нищеты слепца», которого они ведут мстить и «выкалывать глаза разуму и образованности» [9].

Таким образом, в границах XIX в. в результате промышленной революции, по мысли писателя, формируются два базовых мировоззрения: безверие и атеизм. Если атеизм как научное материалистическое мировоззрение свой-

ствен духовно свободным личностям, то безверие – «мировоззрение... непокорных лакеев», сформировавшееся на базе комплекса неполноценности благодаря культуре и промышленной революции. Так, по мысли Ф. Горенштейна, «романтический авантюризм Жюльена Сореля» перерождается в истории в авантюризм кухонный, бытовой, направленный на то, чтобы «вырвать жирный кусок колбасы изо рта имущих». Желание возвыситься («огонь») съедает лучшие задатки («чувственное», «благородное»), и остается только жажда самоутверждения.

Выход на арену истории «молчаливого большинства» и его лидеров, считает Ф. Горенштейн, приводит к торжеству таких, как Адольф Шикльгрубер и Смердяков, в природе которых укоренено «желание возвыситься и простые, ясные материальные средства к этому», предоставляемые индустриальной цивилизацией как цивилизацией потребления: «Миллионы обманутых посредственностей, честных обывателей, из поколения в поколение тянущих свою лямку, теперь жаждали мести, и индустриальное капиталистическое общество сулило им равные возможности. Эту-то механизированную армию атаковала в конном строю на нелепом Росинанте (авт.) российская проза...» [9].

Аналитический набросок событий XIX в. в первой части эссе необходим Ф. Горенштейну для обоснования своих аспектов интерпретации прозы А.П. Чехова, первым из которых оказывается анализ природы угнетенного сознания в ситуации внешней социальной свободы.

Ф. Горенштейн так излагает свое понимание фабулы рассказа «Новая дача» (1899): «Рядом с нищей, убогой, голодной деревней инженер-путеец построил красивую дачу и привез туда жену и дочь. Инженер и жена его стараются сделать как можно больше добра крестьянам, но эти в сущности такие добрые и тихие люди ненавидят и не понимают своих благодетелей, ломают деревья в их саду, совершают потраву скотом своим, топчут все, что можно, воруют, жгут, издеваются над попытками и просьбами жить мирно, по соседски, и в то же время, когда на даче появляется новый хозяин, презирающий их, они живут с ним тихо, уважительно» [9].

Ф. Горенштейн в истолковании рассказа «Новая дача» использует тактику сведения: вся многоаспектная проблематика чеховского рассказа редуцируется и рассматривается через две основные коллизии: отношения семьи инженера и крестьян, отношения крестьян с коллежским секретарем, чиновником, новым хозяином дачи. Разгадку этих коллизий, по мысли Ф. Горенштейна, надо искать «не во внешних взаимоотношениях», а в психологии, в понимании внутренней природы долго угнетаемого человека. Первая реакция такого сознания на свободу и добро – «это не радость и благодарность, а обида и злоба за годы, прожитые в страхе и узде. <...> Это болезненный многовековой процесс, начавший созревать в конце XIX века и давший плоды свои в веке XX. В болезненной злобной реакции на первые, слабые еще ростки свободы причина многих трагедий XX века» [9]. Ф. Горенштейн полагает, что Чехов разгадал историческую суть эпохи: «...хилый, мучаемый комплексами вырожденец и злобный разбушевавшийся лакей. Эти две силы и по сей день грозят миру большими бедами» [9].

С этой же целью, в этом же контексте и таким же способом интерпретируется рассказ «В овраге» (1890), который Ф. Горенштейн относит «к одному из наиболее страшных и глубоких крестьянских рассказов Чехова» [9]. Писатель осознанно уходит от целостного истолкования: предметом его размышлений становятся два центральных женских персонажа и основная коллизия Аксины / Липа. По мнению писателя, именно в них с максимальной полнотой воплотились обнаруженные им в рассказе «Новая дача» тенденции. Анализ персонажей писатель предваряет рассуждениями о человечности, под которой понимает «милосердие, добродетель и душевную деликатность», и тех угроз, которые несут ей природа человека и эпоха. Он выделяет два типа враждебности: активную враждебность, рожденную социально-историческими обстоятельствами, и пассивную враждебность, укорененную в природе человека.

Героини получают следующие характеристики: Аксиныя, «умеющая читать по букварю и знающая начальную арифметику для расчетов в лавке», «активная, полнокровная, из породы рвущихся к сладкому лакеев», тихая Липа, пассивная, бледная, «по-коровьи тупая», «обороняющая свою жизнь покорностью и темнотой». На глазах у Липы Аксиныя «хладнокровно убивает младенца, любимое дитя Липы, чтоб избавиться от чужого наследника» [9].

Обе героини получают у Ф. Горенштейна этические оценки, отличающиеся от позиций современных исследователей [11, 12] как враждебные человечеству. Обе представляют «две бесчеловечные силы», каждая из которых укоренена в доморальной сфере существования («бесчеловечные»). По мысли писателя, «активная ясная жестокость» Аксины, несмотря на то, что страшна и кровава, в пределе (в историческом становлении) завершаема, преодолеваема и поэтому в потенциале принадлежит человечеству. Совсем иное состояние обнаруживает Липа. По Ф. Горенштейну, неспособность Липы к страданию и понимаю трагизма «напоминает не лечение временем, а скорее смену времен года» [9].

«В рождении человека по-прежнему много таинственного и неясного не в биологическом смысле, а в смысле формирования в нем духовного начала», — пишет Ф. Горенштейн, который разделяет в природе человека собственно человеческое (социально-исторически детерминированные сознание и мораль) и онтологически-биологическое. Характеризуя образ Липы в ситуации после убийства ребенка, писатель замечает: «Это не то, что мы именуем равнодушием, — пишет он, — ибо равнодушие — определенная человеческая позиция, которую можно распознать и осудить. Здесь же и осуждать нечего...» [9]. Ф. Горенштейн цитирует финал чеховского рассказа для аргументации состояния Липы, чья покорность и способность жить после ужасной смерти своего ребенка носит особый характер, она связана с тотальной онтологической витальностью, укорененной в природе человека, и демонстрирует его способность жить, несмотря ни на что, жить после всего и вопреки всему.

Для ее интерпретации писатель прибегает к метафорам слепоты (онтологический мир) и зрения (антропологический мир). По Ф. Горенштейну, эта способность чеховской героини подобна вулкану и хороша для плоти, но «губительна для души». «Слепая природа пассивно враждебна человеческому сознанию, в борьбе с ней это сознание развивается и крепнет» [9]. Выход че-

ловечества из природы он связывает с развитием сознания, понятого как разумность (зрение), и становлением морали: «Чем ближе человек к природе, тем легче ему выжить, но тем труднее ему остаться человеком в силу возложенного на него естественным развитием жребия», поэтому «пассивная же враждебность не столь ясно выражена, бескровна, природна, но она способна ждать и побеждает человеческое в человеке не силой, а терпением» [9]. Именно поэтому она более опасна для человечности, поскольку человек «не порождается самой природой» [13. С. 21].

По мысли Ф. Горенштейна, отсутствие у Липы страданий по убитому младенцу – это даже не зло в человеческом понимании, а «ноша», «пуповина, которая... приковывает человека к природе, делая его более живучим, но и более слепым...» [9]. Здесь действует «покорное бесчеловечное начало, в том смысле бесчеловечное, что подчиняется оно не живым страстям, неразрывно скрепленным памятью, а законам неодушевленной природы, все явления которой как бы начинают с нуля, это лишенное добра и зла начало, пожалуй, является эпицентром той фатальной силы, о которой говорил Карл Маркс и на разных флангах которой находятся вырожденцы и смердяковы» [9].

Такое истолкование выводит писателя на следующий уровень обобщения к рассуждениям о роли науки, цивилизации в жизни отдельного человека и человечества. Отсутствие души (способности морального различения добра и зла) есть существование в неведении, что делает жизнь человека длиннее, а человечества – короче. Наука «дерзко и тщетно пытается перегрызть» эту пуповину и позволяет продлить жизнь отдельного человека, но укорачивает жизнь человечества, которое, не будь достижений разума, еще чрезвычайно продолжительно прозябало бы в спячке, подчиняясь главным образом смене времен года» [9]. Постигание смысла жизни человечества, по Ф. Горенштейну, – это проблема Фауста, «но не для человека, а для человечества. Чем более человек познает, тем прочнее станет его жизнь, но жизнь человечества в целом сократится. Впрочем, речь, возможно, идет не о десятках и сотнях лет, а о тысячелетиях, и осенью-зимой 68-го года это должно волновать исключительно как тенденция, а не как непосредственная угроза» [9].

Интерпретация представленных в рассказе типов сознаний завершается возвращением к контексту русской литературы XIX в., в которой своеобразие мировосприятия Чехова объясняется отсутствием идеализации жизни, того, что Ф. Горенштейн называет «патологической условностью», т.е. зависимостью от идей, и обращением к реальности как она есть.

Таким образом, проза Чехова становится для Ф. Горенштейна проблемным полем, которое позволяет развернуть собственные размышления над генезисом человека и его биосоциальной двойственностью, связывая эволюцию и проблему самосохранения человечества как вида с формированием ненасильственного идеала, утверждаемого христианством: «С тех давних времен, как человечество утратило хвост, оно мучительно искало идеал, который бы можно было противопоставить пещерному идеалу силы, ибо подспудно чувствовало, что идеал этот, спасший человечество от насильственной гибели извне, сулит в будущем насильственную гибель изнутри. Две тысячи лет назад некий сын плотника, прозябавший до того в неизвестности, по-

нял, что человечество сможет существовать при растущей тенденции к самоутверждению лишь при соблюдении справедливости к слабым» [9].

Этот идеал, как считает писатель, был рационально понят западным искусством эпохи Возрождения, давшим «образцы великолепной пластики, филигранного психологизма, головокружительной глубины», но предельно чувственно пережит только в русской прозе XIX в., которая «сумела блистательно завершить великую эпоху... исключительно за счет неподдельного, искреннего страдания, сумевшего вдохнуть живую боль земного современного человека в великие библейские схемы» [9].

Писатель считает, что основу духовной жизни человека составляют два начала, две интенции, дополняющие друг друга, – «познание истины и спасение от истины». Познание истины или «кристально честная объективность» – это открытие неизбежного трагического противоречия природы человека и его смертности. Спасение от истины – путь создания различного рода иллюзий и идей. Развитие цивилизации, как считает писатель, не облегчило путь человека, «с развитием человеческой истории, с ростом идеалов гуманизма и – добра трудности эти не только не уменьшились, а, наоборот, возросли, ибо чем выше подымался человек по лестнице гуманизма и прогресса, тем сильнее становилась жажда достичь безразличной объективной справедливости природы; это вело к чрезмерным надеждам, а отсюда неизбежно и к чрезмерным разочарованиям» [9].

Христианский идеал справедливости к слабым как тенденциозный Ф. Горенштейн противопоставляет «вечной объективной справедливости» древнегреческой Мойры, мирящей добро и зло, и на этом основании выстраивает собственную типологию величайших русских писателей XIX в., в которой Толстой и Достоевский принадлежат к группе тенденциозных писателей, потому что они «начисто забывали о наличии объективной справедливости, и мощной глубокой веры в их творчестве было больше, чем ясной земной правды» [9].

Ф. Горенштейн дополнительно аргументирует свою позицию обращением к образам Гамлета (знание истины) и Дон Кихота (одержимость идеей), которая позволяет противопоставить Чехова Достоевскому и Толстому. Все великие русские художники XIX в. – одной чувственной организации, но они по-разному использовали ее в творчестве. Трагедия Гамлета, по Ф. Горенштейну, в том, что он рано познал истину, которая открывается человеку только за секунду до смерти: «быть и не быть одинаково нелепо». Гамлета разрывали противоречия, которые он не мог преодолеть: понимая бесплодность страсти и жажда хладнокровия, он, «сгусток бушующих страстей», не мог выйти за пределы тела и обрести хладнокровие, поэтому, «разрываемый этими двумя противоречиями, он умер» [9]. Под гамлетовской объективностью писатель понимает «объективность не внешнюю, действенную, а внутреннюю, чувственную, разрыв между которыми и составляет трагедию».

Дон Кихот, напротив, бежит от истины, в отличие от Гамлета, «громадную чувственную энергию использует прямо противоположно, чтобы... спастись от истины и тем самым сохранить счастье». «И если Гоголь, Достоевский и Толстой, пожалуй, Дон Кихоты (авт.) русской прозы, то Чехов скорее ее Гамлет» [9], т.е. Дон-Кихот, лишенный иллюзий, существующий в

«чувственности наяву» без спасительных иллюзий и идей, постигающий голую истину как она есть. Эта «кристально честная гамлетовская объективность и к себе и к людям рождала иногда вдруг и подчас в самом неподходящем для этого месте такой свет, такую веру в душу человека, такую любовь, что все ужасы бытия освещались поистине неземным, чистым прометеевым огнем» [9].

Достоевский и Толстой, по мысли писателя, были «великими догматиками», поэтому в их произведениях «всегда кто-либо в конечном итоге оказывается прав, и, если это не получается средствами художественными, они вмешиваются сами, ломают художественную форму, калечат подчас и доводят до примитивных схем свои произведения, чтоб сохранить торжество идей, счастливыми рабами которых они являлись» [9]. А.П. Чехов, в отличие от этих гигантов, «никогда не позволял себе жертвовать истиной, пусть во имя самого желанного и любимого, ибо у него было мужество к запретному, к тому, что не хотело принимать сердце и отказывался понимать разум» [9]. Именно с этой особенностью чеховской гносеологии и аксиологии Ф. Горенштейн связывает и такую особенность произведений Чехова, как поэтика диалога, диспута, которые «часто оканчиваются неопределенно», но это «не значит, что у Чехова не было своих, в сердце выношенных идей, не было любви, не было ненависти, не было привязанности» [9]. По Ф. Горенштейну, «Чехов был великим реформатором, а этот тяжелый труд гораздо более неблагодарен, гораздо более лишен цельности и требует не в упоении отдаваться любимой идее, а наоборот, жертвовать подчас любимой идеей во имя истины». Именно поэтому Чехов «был избран судьбой завершить целую эпоху в культуре России» [9]. Если «догмы-идеи – это необходимые узлы на пути истории», то адогматизм Чехова преодолевал их на пути дальнейшего развития культуры.

Природа чеховского таланта, напротив, заключалась в том, что «он не мог отбросить объективную справедливость», чем объясняются как сила его прозы, так и ее слабости. Чеховская мощь, как считает писатель, заключается в том, что он «не высекает титанов, не создает страстную, путаную горячку идей, из которых в конечном итоге выплывает одна, заранее намеченная и безумно любимая, и не творит подобно Толстому кротких гигантов человеческого духа, властвующих над надуманным евангельским миром. Чехов до конца соблюдает масштабы между человеком и природой, что на языке иных критиков именуется пессимизмом и неверием в конечную победу. Чехов искал в жизни до предела, до мелочей реальной правды, правды, которая была бы осязаемой, как скучный подмосковный дождь осенью, от которого никуда не денешься в этой жизни, он искал не путей к конечной великой победе, теряющейся в туманной дали, а ежедневных бытовых великих побед, которые удастся одержать человеку в повседневной жизни» [9].

Возможности и пути каждодневного преодоления зла в себе во имя добра – вот что интересовало Чехова, и хрестоматийная фраза «Мы еще увидим небо в алмазах!» истолковывается Горенштейном именно в этом аспекте: «Речь здесь идет о той конкретной победе, одержанной в момент произнесения фразы человеком усталым, обманутым, смертным, далеким от неба, по-

беде над предлагаемыми ему обстоятельствами, над провинциальной убогостью и собственными разочарованиями» [9].

Уже в этом новом контексте Ф. Горенштейн обращается к истолкованию финала рассказа «Новая дача», который должен подтвердить его интерпретацию гносеологии и аксиологии чеховского творчества. «Вот финал рассказа «Новая дача». Была ненависть самая страшная, идущая не от конкретных причин, а от внутреннего раздражения и от подспудной обиды на себя, на собственную судьбу, было желание истоптать, сломать этот красивый, чистый дом и сделать все вокруг таким же жалким, темным, грязным, голодным, каким была их жизнь, было наслаждение собственной несправедливостью, которой толпа платила за оскорбительное добро. Теперь все кончено, все позади» [9].

Писатель объясняет враждебное отношение крестьян к семье инженера не внешними причинами, а глубоко внутренними: ненавистью униженного сознания, обидой за свою жизнь, рождающими желание сломать, уничтожить, втоптать в грязь, наслаждением собственной несправедливостью. Но окончание рассказа, по его мнению, пронизано «удивительно мягкой тишиной, тревожной и сладкой, свойственной милосердию», обнаруживающему «крошечные золотые крупички» истины – «прекрасные мгновенья примирения извечных соперников-врагов, слепой природы – истины и алчущей души». По мысли Ф. Горенштейна, ради поиска таких крупички истины и существует искусство, ими награждается художник, который «не пытается односторонне и безоговорочно осудить истину за ее чрезмерную жестокость и несправедливость к человеку, а венцом этой несправедливости является неизбежная смерть. Сохранить оптимизм и самообладание под любыми пытками, которым подвергла доверчивого человека изобретательная истина, и подобно великому образу библейского Иова петь ей хвалу, – высшая точка подъема упрямой, жаждущей счастья, во что бы то ни стало души» [9].

Приводя в контексте своих размышлений фрагмент рассказа «Письмо», Ф. Горенштейн проясняет свою позицию читателя: «Море одно, и в нем есть все, но нелепо обвинять человека в односторонности и тенденциозности, когда он ищет в море для себя не все сразу, а то, что необходимо только ему и необходимо не вообще, а конкретно в данный момент. <...> Этими буйными, истеричными осенью и зимой, когда сила и злоба разбойничают во всех углах нашей маленькой планеты, а милосердие, добродетель и душевную деликатность пытаются представить явно ли, тайно ли как признак чахоточной телесной хилости и подвергнуть всеобщему осмеянию.

Всякий раз, когда милосердию нужны были рыцари, они появлялись, конные ли, как Дон-Кихот, пешие ли, как Гамлет. Нежное женственное милосердие и на этот раз будет защищено от мускулов и сапог честолюбивых лакеев, от острых аристократических тросточек спившихся бар, от рогожного, бесчеловечного терпенья и хохотунов-телеграфистов с гитарами, пытающихся формировать общественное мнение. И мягкий, добрый, деликатный Чехов в этой борьбе будет безжалостен» [9].

Актуальность чеховского творчества в современном мире Ф. Горенштейн связывает с моральным состоянием современного мира, «где нашей человеческой морали приходится иметь дело не только с твердо убежденным противни-

ком, но и с путаными силами, направление которых бывает противоположно, призрачно и неясно» [9]. Именно в таком мире «особенно нужен Чехов, чеховское умение одерживать повседневные тактические победы, а не запрокинутую голову, как это делали великие слепцы, игнорируя землю стремиться к небу, к всеобщей стратегической победе, теряющейся в грядущем» [9].

Таким образом, используемые Ф. Горенштейном стратегия «подтверждения» и тактика «сведения» как разновидность выборочной, не целостной интерпретации рассказов А.П. Чехова направлены на то, чтобы обнаружить в материале подтверждение позиции читающего. Для усиления аргументации создаются и используются дополнительные исторические, культурные и литературные контексты, которые свободно переключаются по принципу музыкальных регистров в зависимости от целевой установки в том или ином фрагменте текста, создавая как необходимую ассоциативную и интертекстуальную «плотность» высказывания, так и дополнительную информационную и смысловую насыщенность.

Литература

1. Шестов Л. Творчество из ничего // Шестов Л. Начала и концы. СПб., 1908. С. 1–68.
2. Иванов Вяч. О веселом ремесле и умном веселии // Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994. С. 64.
3. Иванов Вяч. Достоевский и роман-трагедия // Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994. С. 282.
4. Карасев Л. Понять Чехова // Знамя. 2015. № 8 [Электронный ресурс]. URL: <http://magazines.russ.ru/znamia/2015/8/13k.html>
5. Кураев М. Актуальный Чехов. Заметки о классике // Дружба народов. 1998. № 12.
6. Горенштейн Ф. Чехов и мыслящий пролетариат // Русская мысль. 6 авг. 1981 [Электронный ресурс]. URL: http://gorenstein.imwerden.de/Chehov_1981.pdf;
7. Горенштейн Ф. «Интеллигенции нужно научиться думать самой и не быть партийной». Беседа с Фридрихом Горенштейном [Электронный ресурс]. URL: http://gorenstein.imwerden.de/Tatjana_Woltskaja_2000.pdf
8. Горенштейн Ф. Размороженные: О «мыслящем пролетарии», каспийской воле, футлярной партийщине и прочих «мелочах жизни» [Электронный ресурс]. URL: http://gorenstein.imwerden.de/Razmorozhennye_2001.pdf
9. Горенштейн Ф. Мой Чехов осени и зимы 1968 года [Электронный ресурс]. URL: http://gorenstein.imwerden.de/Chehov_1968.pdfhttp
10. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 2003.
11. Воложин С. Чехов. В овраге. Художественный смысл [Электронный ресурс]. URL: <http://art-otkrytie.narod.ru/chehov2.htm>
12. Дмитриева Н.А. П. Чехов. «В овраге»: Опыт прочтения [Электронный ресурс]. URL: <http://rudv.h12.ru/LiteratureIssues/Dmitrieva/ovrag.htm>
13. Мамардашвили М. Лекции по античной философии. СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. 256 с.

A. CHEKHOV IN THE CREATIVE REFLECTION OF F. GORENSTEIN: THE AUTHOR AS THE READER IN THE ESSAY “MY CHEKHOV OF THE AUTUMN AND WINTER OF 1968”

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 46. 176–187. DOI: 10.17223/19986645/46/13

Vyacheslav A. Sukhanov, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: slush@mail.ru

Keywords: A. Chekhov, F. Gorenstein, creative reflection, strategies and tactics of perusal, interpretation, non-fiction works.

The article is devoted to the creative reflection of Chekhov's art by F. Gorenstein in the essay "My Chekhov of the Autumn and Winter of 1968". The purpose of this article is to explore the strategies and tactics of F. Gorenstein's interpretation of A. Chekhov's prose. Social and historical reasons for F. Gorenstein's interest in Chekhov's prose, the main contexts and ideas of the essay "My Chekhov in the Autumn and Winter of 1968" are determined.

In the preamble to the essay, F. Gorenstein gives a most generalized ethical description of the time, characterising it as an epoch of a moral crisis, the time of the overall advent of evil and violence that roots back to the 19th century. The fundamental civilisational, social and ideological changes of the 19th century are the industrial revolution, the formation of a civilisation of consumption and a person of the masses, the crisis of religion and its degeneracy, the dominance of atheism as a scientific world outlook and the total unbelief as a special kind of consciousness. A person of "unbelief", a person of the masses exists in the pre-moral stage of development and is confined to physiological needs; a special social class – lackeys – is taking shape and being segregated within the masses. It is a social group where the notion of the person's worth and the human dignity has been lost. The lackeys become leaders of the masses, of the crowd.

An analytical sketch of the 19th-century events is necessary for F. Gorenstein in order to provide the supporting rationale for the aspects of his interpretation of Chekhov's prose: the analysis of the nature of the depressed mind in the situation of outward social freedom, the correlation of the biological and the morals in person. In the exegesis of the short stories "A New Dachá" (1899) and "In the Ravine" (1890) the writer employs the tactics of reduction: all the multifaceted range of problems is reduced and regarded either through the two main conflicts ("A New Dachá"), or through the two central characters ("In the Ravine"). The key of the conflicts lies in the psychology, in the insight of the inner nature of a person oppressed for a long while, of which the first reaction to freedom is grievance and malice accumulated from years of humiliation and fear. In "In the Ravine", both female characters are representative of the pre-moral existence. The cruelty of Aksinia can be subdued during the history of human evolution, but the submission of Lipa, who is able to live after the terrible death of her child, is related to the total ontological vitality, rooted in the human nature, a vitality that demonstrates the human ability to survive against all odds, to live after all and despite of everything. It is in this that the danger for her spiritual inner life lies.

Chekhov's prose becomes a problem field for F. Gorenstein. It allows him to unfold his own thinking over the human genesis and their biosocial duality, to connect evolution and the problem of the self-preservation of humankind with the formation of ideals which exclude violence. A feature of Chekhov's world perception is reflected in the fact that it was deprived of the idealization of life, deprived of the dependence on ideas, and appealed to the reality of life.

The "confirmation" strategy and the "reduction" tactics F. Gorenstein used are to detect the confirmation of the reader's position in the narrative material. The additional historical, cultural and literary contexts are created and used for strengthening the argumentation; these contexts are easily switched according to the principle of musical registers, depending upon the objectives in one selection of text or another, creating both the necessary associative and intertextual "density" of his prose and the additional informative and notional content.

References

1. Shestov, L. (1908) *Tvorchestvo iz nichego* [Creativity from nothing]. In: Shestov, L. *Nachala i kontsy* [Beginnings and ends]. St. Petersburg: izd. Stasyulevicha.
2. Ivanov, Vyach. (1994) *O veselom remesle i umnom veselii* [On funny craft and clever fun]. In: Ivanov, Vyach. *Rodnoe i vselenskoe* [The native and the universal]. Moscow: Respublika.
3. Ivanov, Vyach. (1994) *Dostoevskiy i roman-tragediya* [Dostoevsky and the tragedy novel]. In: Ivanov, Vyach. *Rodnoe i vselenskoe* [The native and the universal]. Moscow: Respublika.
4. Karasev, L. (2015) *Ponyat' Chekhova* [To understand Chekhov]. *Znamya*. 8. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/znania/2015/8/13k.html>.
5. Kuraev, M. (1998) *Aktual'nyy Chekhov. Zametki o klassike* [Relevant Chekhov. Notes on the classics]. *Druzhba narodov*. 12.
6. Gorenstein, F. (1981) *Chekhov i myslyashchiy proletariat* [Chekhov and the thinking proletariat]. *Russkaya mysl'*. 6 August. [Online] Available from: http://gorenstein.imwerden.de/Chehov_1981.pdf.

7. Gorenstein, F. (2000) *Intelligentsii nuzhno nauchit'sya dumat' samoy i ne byt' partiynoy* [Intellectuals need to learn to think for themselves and not belong to a party]. [Online] Available from: http://gorenstein.imwerden.de/Tatjana_Woltskaja_2000.pdf.
8. Gorenstein, F. (2001) *Razmorozhennye. O "myslyashchem proletarii", kaspiyskoy voble, futlyarnoy partiyshechine i prochikh "melochakh zhizni"* [Defrosted. About the "thinking proletarian", the Caspian wobble, the box-like party life and other "little things of life"]. [Online] Available from: http://gorenstein.imwerden.de/Razmorozhennye_2001.pdf.
9. Gorenstein, F. (n.d.) *Moy Chekhov oseni i zimy 1968 goda* [My Chekhov in the Autumn and Winter of 1968]. [Online] Available from: http://gorenstein.imwerden.de/Chehov_1968.pdf.
10. Ortega y Gasset, J. (2003) *Degumanizatsiya iskusstva* [Dehumanization of art]. In: Ortega y Gasset, J. *Vosstanie mass* [The revolt of the masses]. Translated from Spanish. Moscow: Ermak.
11. Volozhin, S. (2010) *Chekhov. V ovrage. Khudozhestvennyy smysl* [Chekhov. In the Ravine. Artistic sense]. [Online] Available from: <http://art-otkrytie.narod.ru/chehov2.htm>.
12. Dmitrieva, N. (n.d.) *A.P. Chekhov. "V ovrage". Opyt prochteniya* [A.P. Chekhov. "In the Ravine". Reading experience]. [Online] Available from: <http://rudv.h12.ru/LiteratureIssues/Dmitrieva/ovrag.htm>.
13. Mamardashvili, M. (2014) *Lektsii po antichnoy filosofii* [Lectures on ancient philosophy]. St. Petersburg.: Azbuka, Azbuka-Attikus.

ЖУРНАЛИСТИКА

УДК 070.1: 004.738.5: 81'38
DOI: 10.17223/19986645/46/14

В.Д. Мансурова

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В СЕТЕВОМ ПРОСТРАНСТВЕ СМИ

В статье представлены результаты исследования особенностей образования негативной «семантической избыточности» в концептосфере «патриотизм» в текстах российских сетевых средств массовой информации. Анализ содержания текстов показал, что в неформальном сетевом пространстве конкурируют несколько видов патриотического дискурса. В результате концептуального анализа их семантики выявлено, что доминируют дискурсы, концептосфера которых отражает неоднозначность идейно-политической обстановки в России. Тексты сетевых СМИ предъявили экспликации концептов «патриот» и «патриотизм» в форме их девиации. В качестве слов, репрезентирующих смещение их смысла в область социальной и культурной аномалии, в активный оборот стали вовлекаться многочисленные иронически и экспрессивно окрашенные неологизмы, концепты с амбивалентной или негативной коннотацией.

Ключевые слова: патриотизм, семиозис дискурса, эмерджентность Сети, метафорика, когнитивный экстрим, конкуренция дискурсов.

Дискурс как социальная конвенция

Концепт «патриот» восходит к греческому *αἰνεῖος* – земляк, соотечественник и *αἶψα* – родина, отечество. Основанный на этимологии слова *patriis* – «родина, отечество», *patriotes* – «земляк, соотечественник», он и определяет смысло-жизненное пространство многих народов. «Быть патриотом» на любом языке означает привязанность и любовь ко всему отеческому (родной земле, языку, традиции), готовность к добровольному служению и защите отечества. Патриотизм в духовном опыте российского народа издревле являлся онтологически значимым компонентом его самоосуществления и самостояния в любых испытаниях. Патриотическая идея, под значительным влиянием которой находился отечественный дискурс державности, сформировала традиции публичного обсуждения насущных проблем общества. Идеи и смыслы, откристаллизованные в базовых понятиях патриотизма, имеют особое значение для сохранения духовных и культурных основ российской общности народов. Идеей патриотизма изначально, с дошедших до современников устных преданий и письменных фольклорных источников, были пронизаны все векторы жизненной основы духовно-нравственного самоосознания российского народа. Но именно она подверглась существенной дискредитации хаосом социально-экономической трансформации общества, недавно пережившего смену властей и формы государства.

Если академический Словарь русского языка, выход которого датирован 1984 г., даёт всего 8 словарных статей – существительных, наречий и прилагательных с производными значениями слова «патриот» [1. С. 32–33], то в

общеупотребительном лексиконе современной массовой коммуникации насчитывается несколько десятков новых производных. При этом – в диапазоне различных толкований – от «новояза» до лексико-синтаксических конструкций с обценной семантикой (например, госпатриот, квазипатриот, юдопатриот, поцреот, гей-патриот, патрохам). В постперестроечные годы на страницах российских газет, в особенности в сетевых средствах массовой информации, появились такие понятия, как «православный патриотизм», «либеральный патриотизм», «надэтничный патриотизм», «просвещённый патриотизм», «левый патриотизм», «бритоголовый патриотизм», «путинский абстрактный патриотизм», «оплаченный патриотизм», «показной патриотизм», «товарный патриотизм», «модный патриотизм», «квасной патриотизм»...

Дериваты слова «патриот» широко употребляются в самых различных дискурсах: государственном, либерально-демократическом, религиозном, коммунистическом; бытуют в дискурсивных конструкциях, порождаемых маргинальными субкультурами. В представлении разных людей, даже говорящих на одном языке, они репрезентируют разные субъективные представления и смыслы, которые структурируются концептами «патриот» и «патриотизм».

С одной стороны, идеологическое доминирование официальной машины убеждения, зачастую оторванное от реальности и конкретики «жизненного мира» (Ю. Хабермас) человека, не могло не вызвать его ответного стремления выразиться в свободном от официоза коммуницировании. С другой стороны, почему именно концепты «патриот» и «патриотизм», как никакие другие репрезентанты традиционных для России социально значимых кодов общественного консенсуса, в условиях социально-экономической трансформации в России оказались в эпицентре глобальных контаминаций – от идеологических до структурно-семантических?

Французский философ, теоретик культуры и историк М. Фуко в работе «Воля к истине» обращает внимание на особый дискурс, который состоит, по выражению Б.М. Гаспарова [2], из бесконечно повторяющихся «монад языкового опыта»: «Можно предположить, что во всех обществах весьма регулярно существует разноречивость дискурсов: есть дискурсы, которые «говорятся» и которыми обмениваются изо дня в день; дискурсы, которые исчезают вместе с тем актом, в котором они были высказаны; и есть дискурсы, которые лежат в основе некоторого числа новых актов речи, их подхватывающих, трансформирующих или о них говорящих, – словом, есть также дискурсы, которые – по ту сторону формулирования – бесконечно сказываются, являются уже сказанными и должны быть ещё сказаны» [3. С. 59].

К категории «бесконечно сказывающихся» как раз и относится дискурс патриотизма, который генетически определяет коды духовной культуры России и актуализируется в публичной сфере в связи с определёнными обстоятельствами и настроениями в обществе. Публичный дискурс патриотизма возникает по поводу проблем, так или иначе затрагивающих интересы большинства граждан, поскольку эти интересы восходят к основным жизнеопределяющим понятиям: «отечество» и «отчество», «земляк» и «родина». Он является одним из значимых социальных ресурсов, в котором идеология (в отличие от всех других идеологических дискурсов, например политического)

раскрывается в многообразии ареалов человеческого бытия: экономическом, культурном, семейном, проявляется в спорте, досуге и развлечениях.

В основе общепринятых норм, законов и догм находятся иррациональные мотивы и конвенции, характерные для той или иной историко-культурной эпохи или социокультурной среды. Это наблюдение легло в основу толкования сущности дискурса М. Фуко. С его точки зрения, человек под его влиянием утрачивает свою автономию и цельность, незаметно для себя самого следуя указаниям довлеющего над ним дискурса [4. С. 121].

Вместе с тем идеология, понимаемая как принятая в конкретном обществе система представлений и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к обществу и друг к другу, дискурс патриотизма в большинстве случаев репрезентируется в контексте не конформистского, а личного, «опытного переживания». Теоретик дискурс-анализа Тён ван Дейк отмечает, что такие ментальные контекстные модели «...субъективны, они определяют ситуацию и могут быть незаконченными, необъективными, осознанными на предвзятых, т.е. кардинально отличными от того, что называется «объективная ситуация» [5. С. 288]. Они динамично конструируются и изменяются в процессе коммуникации.

Альтернативные СМИ, специализированные «нишевые» медиа, мобильные телефоны и сеть Интернет существенно расширили доступ граждан к индивидуальному коммуницированию. Геополитическая ситуация, в которой оказалась страна после присоединения Крыма и начала гражданской войны на Украине, празднование юбилейной даты – 70-летия Победы в Великой Отечественной войне сфокусировали общественные настроения на обсуждении современного понимания истинного и ложного патриотизма. Патриотический дискурс как особая социальная конвенция, до поры сакрализованная традицией национально-государственного охранения, оказался во власти многоконтекстной репрезентации в публичной коммуникации. Как предположил редактор популярного сетевого ресурса www.Однако.ru В. Мараховский, поляризация мнений привела к тому, что «...в СМИ и политических интернетах плотно сражаются друг с другом два сильно деградировавших «дискурса». Один – восторженно антироссийский, наследник «колониальной администрации 90-х», сохранивший за собой с той поры академические и исполнительные должности в официальных структурах, но лишённый монополии на публичную политику. А второй – т.н. «охранительский», почему-то видящий единственную патриотическую задачу в бойком уличении Запада и его местных креатур» [6].

Объективной предпосылкой для актуализации в повестке дня средств массовой информации личного, «опытного переживания» темы патриотизма стало доминирование публичной коммуникации в пространстве сетевых СМИ. Функционирующие на современной технологической базе производства и распространения информации, они перехватили пальму первенства в предоставлении возможности для свободного коммуницирования и конструирования публичного диалога, по тотальности воздействия не имеющего равного себе в системе СМИ. В противовес авторитарному дискурсу власти, формируемому в любом современном государстве медиаструктурами, подконтрольными ей в политическом и экономическом плане, этот идеологиче-

ский дискурс заявляет о себе как синкретичная самоорганизующаяся система ценностных суждений, консолидирующихся вокруг обсуждения неоднозначно понимаемых обществом актуальных проблем.

Но, по утверждению Тёна ван Дейка, и этот публичный дискурс свободен лишь относительно. Он подчиняется изощрённой технологии «символической власти» тех, кто обеспечивает функционирование глобальной сети и моделирует спектр консенсуса или разногласий в формах массмедийного дискурса: «Их символическая власть не сводится исключительно к артикуляции как таковой, но также распространяется и на способы воздействия; эти группы могут устанавливать повестки дня для публичных дискуссий, определять тематическое соответствие текстов, управлять объемом и типом информации, особенно в отношении того, кто и как изображается в публичной коммуникации. Они являются производителями общедоступных знаний, убеждений, оценок, норм, ценностей, морали и идеологии» [5. С. 52]. И тем не менее благодаря всеобщей доступности и поголовно бытующей иллюзии о не регламентированной никем свободе коммуникации именно пространство сетевых СМИ оказалось наиболее пригодным для производства и распространения семантических конструкций, образующих конгломерат противоречивых оценочных и поведенческих стратегий, как объединяющих, так и разъединяющих разные слои общества.

Основой возникновения такого эффекта является в первую очередь сама гипертекстовая структура сети Интернет, способная в «один клик» компьютерной мышки соединить разнородные тексты из множества информационных ресурсов. Не менее действенным является и принцип эмерджентности системы сетевого взаимодействия (англ. emergent – внезапно возникающий), когда его результат демонстрирует резкое нелинейное усиление ранее мало заметного свойства, становится следствием непредсказуемой бифуркации какой-либо подсистемы или следствием рекомбинации связей между элементами. То есть в процессе функционирования текстов в Сети происходит внезапное приращение или видоизменение генерируемого ими смысла – результат, который изначально не предвещала семантика каждого из них.

Кроме этого, семиозис идеологического конструирования подчиняется закону «вирусного распространения информации» в Сети. По утверждению автора этого термина А. Мирошниченко, «Если у юзера получается быть интересным, он инфицирует интересом тех, кто контактирует с ним. При достаточном количестве заражённых начинается эпидемия интереса к конкретной теме. Поэтому я называю этот феномен вирусным редактором. Вирусный редактор обеспечивает не только передачу, но и кристаллизацию смысла, наиболее важного для всей общности заражённых, а также выбор наилучших формулировок. Эпидемия микроредактур прямо и непосредственно (без посредников, без медиа) рождает социальную значимость в масштабе сообществ или всего общества» [7].

«Вирусное» распространение лайков и репостов, эмерджентный характер их взаимодействия способны вмиг возвести в эпицентр всеобщего внимания текст с любой коннотацией. Но превращение его в «повестку дня» для публичного полилога нельзя отнести только к результатам самообразования новых смыслов в результате функционирования текстов в открытой самоорга-

низирующей системе массового коммуницирования. Факторами, точнее, аттракторами этого процесса становятся ресурсы самого феномена – текстов, функционирующих в Сети. Одновременное коммуницирование субъектов с различными идеологическими, культурными и морально-ценностными установками создаёт символические области репрезентации «мира мнений» и «мнений о мире». Эта публичная сфера как совокупность обыденных неприватных коммуникаций, противостоящих политической и экономической системам, по определению Ю. Хабермаса, образует своеобразные сетевые знаковые системы – дискурсы. По его заключению, дискурс возникает по поводу проблемы, а проблемы репрезентируются дискурсом [8. С. 45].

«speech act» и «атом дискурса»

Именно содержательно-тематическая общность многих текстов, интегрированных совокупностью коммуникативных актов, связанных с определённой проблемой, образует дискурс как коммуникативное событие. Средством интеграции подобных текстов становятся общность темы, ассоциативная связь концептов, семантически или функционально объединённых в коммуникативном акте. М. Фуко описывает дискурс как «место возникновения понятий». Это не столько корпус обозначенных текстов, сколько отношения между отдельными высказываниями, элементами высказываний, пронизывающие совокупное множество текстов и объединяющие их в единую дискурсивную формацию. Идея дискурсивной Сети – центральное понятие теории дискурса у М. Фуко [4. С. 111].

Дискурсологии М. Фуко принадлежит и констатация важности «высказывания», положенного в основу акта коммуникации. Называя его «атомом дискурса», философ даёт поистине поэтическое описание его коммуникативного статуса: «Это узелок, возникающий на поверхности ткани, конституирующим элементом которой он является» [4. С. 161]. В отечественной лингвистике (работы Е.С. Кубряковой, Н.Д. Арутюновой, С.Г. Воркачева, В.И. Карасик, В.В. Красных, Г.Г. Слышкина, Ю.С. Степанова, В.Н. Телия и др.) в роли такого «атома» рассматривается категория «концепт». В консолидированном мнении большинства исследователей, содержание дискурса концентрируется вокруг «опорного» концепта, в котором заключена глубинная смысловая структура. По мнению А.А. Леонтьева, в концепте («мыслительном сгустке») осуществляется внутреннее программирование речевого высказывания, другими словами, «...неосознаваемое построение некоторой схемы, на основе которой в дальнейшем порождается речевое высказывание» [9. С. 7]. Ю.С. Степанов отмечает эмоциональную насыщенность концепта: концепты не только «мыслятся», они «переживаются» [10. С. 41]. Исследователь С.Г. Воркачев особо выделяет «культурные концепты» как ментальные сущности, «в которых отражается «дух народа» [11. С. 10]. В.В. Красных обращает внимание на семантические образования, которые являются ключевыми для понимания национального менталитета как специфического маркера мира его носителей. Это «самая общая, максимально абстрагированная, но конкретно репрезентируемая (языковому) сознанию, подвергшаяся когнитивной обработке идея "предмета" в совокупности всех валентных связей, отмеченных национально-культурной маркированностью» [12. С. 268]; «своего рода свёрнутый глубинный "смысл" "предмета"» [Там же. С. 269]. Дан-

ные определения имеют принципиальное значение для концептуального анализа «ключевых слов», т.е. слов, особо значимых для национальной культуры и вовлечённых с семантику патриотического дискурса.

Концептуальный, лингвокультурологический анализ содержания сетевых СМИ, включившихся в обсуждение патриотической проблематики в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и геополитических потрясений, затронувших основные сферы жизни страны, преследовал цель раскрытия словообразовательной активности слов-репрезентантов, определяющих эвристичность концептов «патриот» и «патриотизм». Для анализа была определена публикационная активность сетевой версии газеты «Комсомольская правда», которая имеет многолетний опыт освещения проблем и событий патриотической тематики. Проанализированы отдельные выпуски сетевых СМИ, которые не имеют многолетних традиций освещения тем патриотизма, но благодаря «нашумевшим» публикациям оказались в эпицентре повышенного внимания интернет-аудитории: общеполитического журнала «Новое время» (www.newtimes.ru), глянцевого журналов «Максим» (www.Maxim.ru), «ELLE» (www.elle.ru), сетевых ресурсов www.professional.ru, www.ruxpert.ru, www.rufabula.com, www.odnako.org, www.gazeta.ru.

Анализ проблематики содержания исследованных СМИ позволил очертить рамки «...когнитивной базы, под которой понимается определенным образом структурированная совокупность необходимо обязательных знаний и национально-детерминированных и минимизированных представлений того или иного национально-лингвокультурного сообщества, которыми обладают все носители того или иного национально-культурного менталитета [12. С. 61]. Выделение и классификация ключевых слов-репрезентантов – лексических единиц, которые наиболее полно номинируют исследуемые концепты «патриот» и «патриотизм», в свою очередь, дали возможность зафиксировать их словообразовательную активность в формировании специфических «субполей в номинативном поле актуализируемых концептов» [13. С. 47]. Была выявлена также негативная коннотация большинства новообразований.

Так, в процессе контент-аналитического исследования выпусков сетевой версии газеты «Комсомольская правда» за период с января 2015 г. по январь 2016 г. методом сплошной выборки выделено 237 публикаций – 1% всех публикаций за исследуемый период, имеющих явное отношение к теме патриотизма. Как и следовало ожидать, наибольшее внимание было уделено газетой событиям, связанным с победой в Великой Отечественной войне и празднованием 9 Мая (58 %), с внутренними политическими событиями (10 %), присоединением Крыма (8 %), с военными действиями в Украине (7 %) и Сирии (6 %), героическими поступками граждан (7 %), строительством космодрома «Восточный» (2 %) и положением российской армии (2 %). Данные события выступают как элементы социальной практики, оказывающей существенное влияние на современное состояние национально-культурного менталитета граждан страны. Публикации с положительной коннотацией (51 %) посвящены в основном воспоминаниям о героях и событиях войны, празднованию юбилея Победы, организации патриотических акций, утверждению действенности традиций долга и самоотверженного труда во благо отечества.

Концептосфера патриотизма как «...упорядоченная совокупность концептов народа, информационная база мышления» [13. С. 47], представленная газетой «Комсомольская правда» в публикациях с положительной модальностью, по частотности употребления в текстах образована словами-репрезентантами, которые, согласно концепции З.Д. Поповой и И.А. Стерниной [Там же. С. 93], могут быть актуализированы «в сознании современных носителей языка на уровне бытийности и рефлексивности» [Там же]:

1) «бытийный уровень – уровень фактического, практического применения»: «День Победы», «красный флаг Победы», «праздник», «парад», «памятник», «возложение цветов», «георгиевская лента», «Вечный огонь», «мемориал», «дом», «мирная жизнь», «потомки», «грандиозная стройка»;

2) «рефлексивный уровень – уровень теоретического знания»:

а) возвышенная лексика: «родина», «народ», «мир», «война», «мужество», «память», «скорбь», «почитание», «защита», «ветеран», «благодарность», «подвиг», «свобода», «помощь», «дань уважения», «герой», «богатыри», «честь», «отвага», «благородное дело», «удача», «вера», «радость», «слезы», «скромность», «решительность», «смелость», «неравнодушие», «защита», «гордость», «честь», «доблесть», «долг», «российский флаг»;

б) лексика с функциональной коннотативностью: «позор», «вранье», «осквернение», «вызывающее поведение», «распятие», «провокация», «воровство», «неуважение», «переписывание», «равнодушие», «кошунство», «угроза», «атака», «враг», «остервенение».

На уровне лексико-семантических различий в текстах патриотического дискурса преобладают оценочность, положительная коннотация, эмоциональная возвышенность даже в текстах с гневным осуждением «непатриотичного», по мнению авторов, поведения отдельных личностей. Данные ключевые слова репрезентируют ту сферу когнитивной и общекультурной практики аудитории, которая соотносена с укоренившимися в её менталитете представлениями о событиях прошлого и настоящего. Но! И это самое главное – она традиционно-привычно, неоднократно и в разных контекстах была предъявлена во множестве публикаций как в самой газете, так и в других изданиях. Не случайно в сетевой версии «Комсомольской правды», которая, как правило, изобилует комментариями, публикации, маркированные такими словами-репрезентантами, не стали поводом для активного обсуждения.

Но такого же результата удостоилась и нетипичная для глянцевого журнала «ELLE» акция с публикацией «Гид по современной российской действительности». В ней, как поясняет автор Д. Киселёв, известный журналист, ведущий информационной программы «Вести» на государственном телеканале, «...собраны в алфавитном порядке события, места, имена и явления, ставшие знаковыми атрибутами и ориентирами нашей родины» [14]. В обзоре актуализированы артефакты, вербализирующие инновации в культурной и бытовой сфере жизни, так, называемой, «продвинутой» части населения страны: «арт-кластеры – новые центры культуры, искусства, тусовок и развивающегося бизнеса; граффити с лицами русских писателей, пункты буккроссинга, где можно взять или оставить любую книгу; сфера beauty-услуг; русский дизайн; русская кухня, которая переживает расцвет; хорошее рос-

сийское кино, которое востребовано везде, в том числе и за рубежом...» [Там же].

Ключевыми словами, обеспечивающими связность всего вербализованного разнообразия артефактов, в обзоре журнала «ELLE» являются «родина», «российский», «русский». Очевидно, на них возлагалась функция создания метафорического образа процветающей страны, которой можно гордиться. Но воззвание к патриотическим чувствам так и осталось безответным: за десять месяцев, прошедших со дня его появления в Сети, не последовало ни одного комментария к инновационному «прочтению» проблемы патриотизма.

Попытка внесения в концептосферу патриотизма новых семантических образований, отражающих инновационные изменения в социокультурной сфере жизни страны, не увенчалась успехом не столько потому, что они ещё не вошли в когнитивную карту национального менталитета. Подобные публикации, хоть и в менее пафосной форме, заняли лидирующие позиции в массовой прессе, поддерживающей так называемые «охранительно-государственные» принципы освещения проблем патриотизма. В сетевом пространстве Рунета повышенное внимание было приковано к текстам, семантика которых стала отражать неоднозначность идейно-политической обстановки в России. Назвав только два «деградирующих» дискурса, редактор сетевого ресурса «Однако» явно недооценил роль ещё одного, вступившего в конкурентную борьбу со всеми бытующими в Сети актуальными дискурсами.

«...Приговор суда без разбирательства»

Основным пространством, куда привносятся идеи «нового» патриотизма, становятся сетевые СМИ. Именно здесь происходят главные сражения с официальным или «гламурно-патриотическим дискурсом», смысл которого – «получение удовлетворения от любви к себе и Кремлю через Интернет» [15]. В отличие от семантических конструкций, репрезентирующих проявления патриотизма в социально значимых сферах жизни, тексты сетевых СМИ предьявили экспликации концептов «патриот» и «патриотизм» в форме их девиации – как якобы более соответствующей социальной аномии общества, в котором ценности, нормы и социальные связи отсутствуют, ослабевают или противоречат друг другу.

В качестве слов, репрезентирующих смещение их смысла в область социальной и культурной аномалии, в активный оборот стали вовлекаться многочисленные иронически и экспрессивно окрашенные неологизмы. Новообразования типа «госпатриот», «квазипатриот», «поцреот» вошли в лексикон и блогеров с именем, и анонимных авторов комментариев и «постов» в сетевых СМИ. Действенным аттрактором в самоорганизации сетевой коммуникации, связанной с темами патриотизма, является и стигматизация (от греч. stigma – клеймо) или навешивание ярлыков. Вербализованная форма стигматов – мем – в качестве лексической единицы, наделённой неким десакрализирующим смыслом, получил статус медиа-вируса, который со скоростью реакции сетевого коммуниканта – «в один клик» – объединяет разрозненные тексты в специфические дискурсивные конструкции. Мемы «совок», «ватник», «кремлебот», «кремлядь» как словаре-репрезентанты образуют концептосферу демонстративного и ложного, по

убеждению авторов, патриотизма: «...общество, пораженное вирусом «совка»; «Власть доказала – в первую очередь себе, что на волне патриотической истерии может и без вбросов обеспечивать комфортный результат на выборах» [16].

Поскольку основные области жизни дискредитированы провластной идеологией, авторы сетевых СМИ предлагают искать настоящий патриотизм в других сферах. В качестве слов для номинации «новых» лакун его проявления предлагаются лексические единицы из специальных словарей:

– представитель нетрадиционной сексуальной ориентации: «...такое явление, как гомосексуализм (как, кстати говоря, и коррупция), может иметь разную природу – может быть компрадорским, но может быть и патриотическим. И мы, как государство, как цивилизация, допустили фундаментальную ошибку, фактически без боя сдав гомосексуальный дискурс» [17];

– индивидуалист: «Даже самая оголтелая пропаганда пока не выжгла в миллионах россиян естественное желание поступать хотя бы в бытовой жизни так, как им лучше, а не «как прикажет Родина». ...Ехать в отпуск туда, где вам лучше. Есть вкусные продукты, а не обязательно «импортозамещенные». Смотреть кино, спектакли и выставки, которые нравятся вам, а не товарищу Мединскому. Быть патриотами себя» [18].

Семантическими компонентами концепта «патриот» в его девиантной форме становятся специфические эпитеты, слова из группы лексических приращений-компрессантов: ядром является субполе «субъект», центральными компонентами – субполе «функционер» и субполе «словоблуд, лицемер». Типичный вариант подобного конструирования семантического поля дискурса патриотизма для «разоблачения» квазипатриотов представлен в обзоре «Пар Отечества: 16 типов самых колоритных как бы патриотов нашей действительности» в сетевой версии журнала «MAXIM» [19]. Сама частица «как бы» в заглавии обзора, как слово-паразит, сигнализирует о профанном, онтологически и аксиологически низком статусе описываемых субъектов.

В перечне «как бы патриотов» представлены якобы типологизированные образы политиков, общественников, эстрадных исполнителей. Но описание каждого типа сопровождается шаржированным и тем не менее узнаваемым портретом известного в стране человека. Группу типажей функционеров-лицемеров номинируют слова-репрезентанты с саркастической коннотацией – «государственный муж», «патриот-депутат», «патриот по долгу службы», «культур-патриот», «антимайдановец», «патриот 88», «нашист». Группу уличённых в словоблудии репрезентируют ключевые слова, обогащенные тропами, метафорическими эпитетами, – «православный патриот», «патриот из телевизора», «патриот тра-ля-ля», «евразиец», «православный хунвейбин», «патриот земляной», «патриот как все», «разум возмущенный», «в красно-коричневых тонах» [Там же].

За каждым из типажей рисуется метафорический образ того самого «совка», который способен только на имитацию чувств и деяний в виде «пара патриотизма». Поскольку патриотический дискурс по определению является частью критикуемого идеологического, то можно определить, что экспрессивный вокабуляр и метафорика задействованы авторами обзора о «16 типах...» из лексикона оценки явных социальных девиаций и обычаев

«мира животных». К примеру, авторами монографии «Метафора в политическом интердискурсе» Э.В. Будаевым и А.П. Чудиновым выявлены 4 типа метафор, участвующих в «метафорической экспансии» в политическом дискурсе: антропоморфная, природоморфная, социоморфная и артефактная [20. С. 120].

Следуя этому определению, можно отметить, что, социоморфная метафора положена в основу образов: *православный патриот* – «...уверенно знает, чего хочет Бог (какие купальники, митинги и сексуальные практики ему нравятся, а какие нет)... Мужчины часто бородаты, дамы обычно сильно в возрасте и равнодушны к прозрачным косынкам. Любят фотографироваться со свечами в церкви»; *патриот из телевизора* – «Когда в приватной обстановке слышит слова «правда», «факт», «истина», он то ли чихает, то ли усмехается – не разберешь»; *патриот по долгу службы* – «Все они, безусловно, являются правильнейшими патриотами, то есть если и имеют свое мнение, то тщательно держат его при себе, неукоснительно выполняя распоряжения сверху. В конце концов, им еще нужно ипотеку платить и детей на ноги ставить»; *культур-патриот* – «Беспощадность к врагам рейха...»; *патриот 88* – «Ну разве что маленькая татуировочка с любимым фюрером в укромном месте – просто для души»; *патриот как все* – «Георгиевская лента, наклейка с флагом России и небольшой иконостас в салоне автомобиля».

С опорой на зооморфные метафоры выписаны портреты: *православный хунвейбин* – «Розовые слоноподобные ангелы с пылающими хоботами»; *нашист* – «Наряжен дымящимся бычком, акулой империализма или пьяной лошадей»; *патриот-депутат* – «При появлении реально власть имущих на линии горизонта ощутимо проседает в хребте и теряет не менее четверти роста» [19].

Подобная метафорика очень точно «вписывается» в образное определение исследователя Н.Д. Арутюновой: «Метафора – это «приговор суда без разбирательства» [21. С. 28]. Экспрессия словосочетаний создаёт смысл, который напрямую, казалось бы, не выводится из значений согласуемых слов и допускает широкий спектр семантических трансформаций. Но как «вирусы» сетевой коммуникации, они порождают «эпидемию интереса» к конкретной теме, распространяясь в Сети и усиливая негативную семантическую избыточность. С одной стороны, свободное коммуницирование в пределах законодательно закреплённых правил не лимитирует словотворчества. С другой стороны, дискурсы, как семиотические механизмы конструирования социально значимых паттернов – «устойчивого, контекстно-обусловленного повторения человеком собственного поведения или мышления для достижения определенных результатов» [22], способны существенно нарушить баланс соотношения сил в обществе.

Устойчивое динамическое состояние социальной системы, по законам синергетики, определяется функционированием в системе определённого количества константных, структурных, единиц ядра культуры. По заключению отечественного философа М.В. Сапронова, именно «структурная информация является жёстким ядром культуры данного социального организма и связывает воедино его разнообразные элементы. Историческая этнология и социология используют для характеристики ядра понятие «центральная зона

культуры» [23. С. 162]. Определяя культуру как «...способы приспособления к окружающей среде», ученый обозначает структурную информацию через понятие «традиция» [Там же].

Именно наличие «жесткого ядра культуры», традиционной культуры, в структуре информациогенеза системы обеспечивает ей наиболее оптимальное соотношение детерминации и свободы. При этом исследователь ссылается на открытый математиком Е.А. Седовым «закон иерархических компенсаций», согласно которому уровень структурной информации не может опускаться ниже 80%, иначе система начинает терять свои адаптивные свойства и быстро впадает в хаос [Там же. С. 161].

Патриотизм как важнейшая составляющая экзистенции человека и есть один из компонентов «жесткого ядра культуры». Идеология патриотизма – составная часть духовной культуры народа. В ставшей классической формуле американского антрополога Клиффорда Гирца «идеология – это метафора культуры» выражено понимание того, что идеология всегда закрепляется в языковом узусе и именно в дискурсивных практиках транслируется в массы. «И образность языка идеологий, и горячность, с какой, однажды принятые, они берутся под защиту, вызваны тем, что идеология пытается придать смысл непонятым социальным ситуациям, выстроить их так, чтобы внутри них стало возможно целесообразное действие» [24. С. 249].

Литература

1. *Словарь* русского языка: в 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. М.: Рус. яз., 1981–1984. Т. 3. П–Р, 1984. 752 с.
2. *Гаспаров Б.М.* Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М.: Новое лит. обозрение, 1996. 352 с.
3. *Фуко М.* Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / пер. с фр. М.: Касталь, 1996. 448 с.
4. *Фуко М.* Археология знания. СПб.: ИЦ «Гуманитарная академия»: Университетская книга, 2004. 416 с.
5. *Тён А. ван Дейк.* Дискурс и власть: Репрезентация диминирования в языке и коммуникации. М.: Книжный дом «Либроком», 2013. 344 с.
6. *Мараховский В.* Как бороться за Россию. О вырождении поп-патриотизма [Электронный ресурс]. URL: <http://www.odnako.org/blogs/kak-borotsya-za-rossiyu-o-virozhdenii-pop-patriotizma/>
7. *Мирошниченко А.* 12 тезисов о вирусном редакторе [Электронный ресурс]. URL: http://www.chaskor.ru/article/sushchestvo_interneta_21588
8. *Habermas J.* Theorie des kommunikativen Handelns. Bd 1. F.a.M.: Suhrkamp, 1995. P. 534.
9. *Леонтьев А.А.* Внутренняя речь и процессы грамматического порождения высказывания // Вопр. порождения речи и обучения языку. М.: Изд-во МГУ, 1967. С. 6–16.
10. *Степанов Ю.С.* Константы. Словарь русской культуры: Опыт исследования. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 40–43.
11. *Воркачев С.Г.* Концепт как «зонтиковый термин» // Язык, сознание, коммуникация. М.: МАКС Пресс, 2003. Вып. 24. С. 5–12.
12. *Красных В.В.* «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. 375 с.
13. *Попова З.Д., Стернин И.А.* Семантико-когнитивный анализ языка. Воронеж: Истоки, 2007. 250 с.
14. *Киселев Д.* Гид по современной российской действительности [Электронный ресурс]. URL: <http://www.elle.ru/stil-zhizni/events/ot-a-do-ya-alfavitnyiy-gid-po-sovremennoy-rossiyskoy-deystvitelnosti/>

15. Серенко А. Добиться взаимности от родины: Гламурный патриотизм как новая национальная идея [Электронный ресурс]. URL: http://professional.ru/Soobschestva/narodnuy_kontrol/glamurnyj_patriotizm_kak_novaya_nacionalnaya_ideya_33146012/
16. Орешкин Д., Давыдов И. Империя нищих // Новое время. 2015. № 42 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.newtimes.ru/articles/detail/105807#hcq=sxQVrAp>
17. Дугин А. К вопросу о патриотическом гомосексуализме [Электронный ресурс]. URL: <https://rufabula.com/author/alexander-blog/1214>
18. Патриоты себя. Семен Новопрудский о том, как россияне используют пропаганду в корыстных целях [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gazeta.ru/comments/column/novoprudsky/8369045.shtml#comments>
19. Олейник Т. Пар Отечества: 16 типов самых колоритных как бы патриотов нашей действительности [Электронный ресурс]. URL: <http://www.maximonline.ru/longreads/getsmart/article/patriots/>
20. Будаев Э.В., Чудинов А.П. Метафора в политическом интердискурсе. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2006. 215 с.
21. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. М., 1990. С. 5–32.
22. Паттерн [Электронный ресурс]. URL: <http://www.psychologos.ru/articles/view/pattern>
23. Сапронов М.В. Синергетический подход в исторических исследованиях: новые возможности и трудности применения // Общественные науки и современность. 2002. № 4. С. 158–172.
24. Гириц К. Интерпретация культур / пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2004. 560 с.

PATRIOTIC DISCOURSE IN THE NETWORK MEDIA SPACE

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 46. 188–201. DOI: 10.17223/19986645/46/14

Valentina D. Mansurova, Altai State University (Barnaul, Russian Federation). E-mail: mvd1951@mail.ru

Keywords: patriotism, discourse semiosis, covalency, emergence, oxymoron metaphors, cognitive extreme, interdiscursivity.

In this paper, results of research on specifics of negative “semantic excessiveness” in the sphere of “patriotism” concepts in Russian network mass media publications (texts) are presented. The concepts “patriot” and “patriotism” being a traditional background of socially important codes of public consensus are revealed to be in the center of global connections.

Conceptual analysis of popular online and offline mass media shows the dominance of discourses with ambivalence of ideological and political environment in Russia. Content analysis of traditional (offline) mass media like the newspaper *Komsomolskaya Pravda* demonstrates that the sphere of patriotism concepts is oriented on the traditional meaning of patriotism. However, this discourse is less popular than hybrid discourses in online media.

Hybrid patriotic discourses in online media are represented in several forms. Discourse analysis of online mass media publications with a significant number of page visits confirms that such hybrid forms envelope all major spheres of social, cultural, economic and political life. However, discourses based on facts and artifacts of marginal and taboo spheres of social life prevail and become popular in a public space.

Online mass media texts demonstrate the explication of “patriot” and “patriotism” concepts into deviant forms. The meaning of words is shifted into areas of social and cultural anomalies, and ironical and expressive neoderivates along with concepts with negative and ambivalent connotations appear.

It is revealed that the first condition for derivatives of “patriot” and “patriotism” concepts with negative semantics in a public lexicon is caused by specifics of mass media hypertexts circulation on the Internet (i.e. their instant distribution and sharing). The second condition seems to be the nature of media texts emergence with unexpected changes of meanings not caused by their initial semantics.

The mechanism of this viral distribution of patriotic discourse derivatives with ambivalent and negative semantics is based on a specific semiosis of conceptual metaphors used in connotation and blending of meanings. Metaphors from marginal subcultures and taboo spheres are brought into the sphere of spiritual culture and ideology. This way, oxymorons like “homosexual patriotism”, “glamorous patriotism” and “trendy patriotism” are introduced into the public space. Expansion of such discourses has a manipulative effect, and the discourses dominate in a non-formal public communication.

Traditionally, patriotism is one of the pillars of the spiritual culture of Russian society. Loss of this pillar in a confrontation with negative discourses is a major threat to a dynamic functioning of the society system.

References

1. Evgen'eva, A.P. (ed.) (1984) *Slovar' russkogo yazyka: V 4-kh t.* [Dictionary of the Russian language: In 4 vols]. 2nd ed. Vol. 3. Moscow: Russkiy yazyk.
2. Gasparov, B.M. (1996) *Yazyk, pamyat', obraz. Lingvistika yazykovogo sushchestvovaniya* [Language, memory, image. Linguistics of language existence]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
3. Foucault, M. (1996) *Volya k istine: po tu storonu znaniya, vlasti i seksual'nosti. Raboty raznykh let* [Will to truth: beyond knowledge, power and sexuality. Works of different years]. Translated from French. Moscow: Kastal'.
4. Foucault, M. (2004) *Arkheologiya znaniya* [Archeology of knowledge]. Translated from French. St. Petersburg: Gumanitarnaya akademiya; Universitetskaya kniga.
5. Dijk, T.A. van. (2013) *Diskurs i vlast': Reprezentatsiya diminirovaniya v yazyke i kommunikatsii* [Discourse and Power: Representation of Diminishing in Language and Communication]. Translated from English. Moscow: Knizhnyy dom "Librokom".
6. Marakhovskiy, V. (2015) *Kak borot'sya za Rossiyu. O vyrozhdении pop-patriotizma* [How to fight for Russia. On the degeneration of pop-patriotism]. [Online] Available from: <http://www.odnako.org/blogs/kak-borotsya-za-rossiyu-o-vyrozhdении-pop-patriotizma/>.
7. Miroschnichenko, A. (2011) *12 tezisov o virusnom redaktore* [12 theses about the virus editor]. [Online] Available from: http://www.chaskor.ru/article/sushchestvo_interneta_21588.
8. Habermas, J. (1995) *Theorie des kommunikativen Handelns* [Theory of communicative action]. Vol. 1. Frankfurt: Suhrkamp.
9. Leont'ev, A.A. (1967) *Vnutrennyaya rech' i protsessy grammaticheskogo porozhdeniya vyskazyvaniya* [Inner speech and the processes of grammatical generation of utterance]. In: Leont'ev, A.A. *Voprosy porozhdeniya rechi i obucheniya yazyku* [Issues of speech generation and language learning]. Moscow: Moscow State University.
10. Stepanov, Yu.S. (1997) *Konstanty. Slovar' russkoy kul'tury. Opyt issledovaniya* [Constants. Dictionary of Russian culture. Experience of the study]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
11. Vorkachev, S.G. (2003) *Kontsept kak "zontikovyy termin"* [Concept as an "umbrella term"]. *Yazyk, soznanie, kommunikatsiya*. 24. pp. 5–12.
12. Krasnykh, V.V. (2003) *"Svoy" sredi "chuzhikh": mif ili real'nost'?* ["At home" among "strangers": myth or reality?]. Moscow: Gnozis.
13. Popova, Z.D. & Sternin I.A. (2007) *Semantiko-kognitivnyy analiz yazyka* [Semantic-cognitive analysis of language]. Voronezh: Istoki.
14. Kiselev, D. (2015) *Gid po sovremennoy rossiyskoy deystvitel'nosti* [Guide to modern Russian reality]. [Online] Available from: <http://www.elle.ru/stil-zhizni/events/ot-a-do-ya-alfavitnyi-gid-po-sovremennoy-rossiyskoy-deystvitelnosti/>.
15. Serenko, A. (2011) *Dobit'sya vzaimnosti ot rodiny. Glamurnyy patriotizm kak novaya natsional'naya ideya* [To achieve reciprocity from the homeland. Glamorous patriotism as a new national idea]. [Online] Available from: http://professional.ru/Soobschestva/narodnyj_kontrol/glamurnyj_patriotizm_kak_novaya_nacionalnaya_ideya_33146012/.
16. Oreshkin, D. & Davydov, I. (2015) *Imperiya nishchikh* [Empire of the poor]. *Novoe vremya*. 42. 14 December. [Online] Available from: <http://www.newtimes.ru/articles/detail/105807#hcq=sxQVrAp>.
17. Dugin, A. (2016) *K voprosu o patrioticheskom gomoseksualizme* [On the issue of patriotic homosexuality]. [Online] Available from: <https://rufabula.com/author/alexander-blog/1214>.
18. Novoprudskiy, S. (2016) *Patrioty sebya* [Patriots of themselves]. [Online] Available from: <http://www.gazeta.ru/comments/column/novoprudsky/8369045.shtml#comments>.
19. Oleynik, T. (2016) *Par Otechestva: 16 tipov samykh koloritnykh kak by patriotov nashey deystvitel'nosti* [Steam of the homeland: 16 types of the most colorful patriots of our reality]. [Online] Available from: http://www.maximonline.ru/longreads/get-smart/_article/patriots/.
20. Budaev, E.V. & Chudinov, A.P. (2006) *Metafora v politicheskom interdiskurse* [Metaphor in a political interdiscourse]. Ekaterinburg: Ural State Pedagogical University.

21. Arutyunova, N.D. (1990) *Metafora i diskurs* [Metaphor and discourse]. In: Arutyunova, N.D. & Zhurinskaya, M.A. (eds) *Teoriya metafor* [Theory of metaphor]. Moscow: Progress.
22. Psychologos.ru. (n.d.) *Pattern*. [Online] Available from: <http://www.psychologos.ru/articles/view/pattern>. (In Russian)
23. Sapronov, M.V. (2002) *Sinergeticheskiy podkhod v istoricheskikh issledovaniyakh: novye vozmozhnosti i trudnosti primeneniya* [The synergetic approach in historical research: new opportunities and difficulties of application]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*. 4. pp. 158–172.
24. Geertz, K. (2004) *Interpretatsiya kul'tur* [Interpretation of Cultures]. Translated from English. Moscow: ROSSPEN.

УДК 070.422

DOI: 10.17223/19986645/46/15

Е.В. Первалова

**ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА: ЕВГЕНИЙ КОЧЕТОВ – КОРРЕСПОНДЕНТ
ИЗДАНИЙ М.Н. КАТКОВА**

В статье рассматривается история сотрудничества в 1880-е гг. журналиста Е.Л. Кочетова в изданиях М.Н. Каткова – газете «Московские ведомости» и журнале «Русский вестник», являвшихся в указанный период лидерами российской консервативной журналистики. Рассмотрены публикации Кочетова, выявлены их тематика, проблематика и жанровая специфика; изучены ранее не публиковавшиеся письма журналиста, воспоминания о нем. Анализ газетно-журнальных текстов Кочетова, его переписки, мемуарной литературы позволил сделать вывод об общности общественно-политических взглядов журналиста и редактора, ставшей причиной успешного взаимного сотрудничества.

Ключевые слова: Е.Л. Кочетов, М.Н. Катков, «Московские ведомости», «Русский вестник», корреспондент, кукуевская катастрофа, Румелийский переворот.

Имя журналиста и писателя последней четверти XIX в. Евгения Львовича Кочетова (1845–1905) сегодня весьма основательно забыто, хотя в 1880–1890-х гг. он являлся одним из самых востребованных и известных столичных журналистов, а кроме того, опубликовал несколько книг очерков, повестей и рассказов – «Из недавних воспоминаний о недалеком Западе», «В Сибирь на каторгу: повести, характеристики и арабески», «Правдивые рассказы», «По студеному морю. Поездка на Север» и др. Имя Кочетова-журналиста, как правило, связывается с газетой А.С. Суворина «Новое время», сотрудником которой он являлся в 1880-е гг. и где публиковались его корреспонденции из Болгарии и Польши. Гораздо меньше известно о работе Кочетова в газете «Московские ведомости» и журнале «Русский вестник», издававшихся авторитетным консервативным публицистом М.Н. Катковым. В настоящей статье на основе анализа публикаций Е.Л. Кочетова, а также его писем, адресованных Каткову, сделана попытка выявить причины сотрудничества журналиста в данных изданиях, являвшихся лидерами консервативной печати 1880-х гг.

В процессе написания статьи были изучены хранящиеся в архивах НИОР РГБ и ранее не публиковавшиеся письма Е.Л. Кочетова М.Н. Каткову, рассмотрен ряд упоминаний о журналисте в ставших сегодня библиографической редкостью воспоминаниях Ю.С. Карцова «Семь лет на Ближнем Востоке» (1906). Исследование содержания газеты «Московские ведомости» позволило обнаружить и проанализировать значительное количество публикаций Кочетова в данном издании в период с 1880 по 1882 г.

О личности Кочетова известно весьма немного. Он родился в Ефремовском уезде Тульской губернии в семье средней руки помещика. Отец его умер рано, мать мало им занималась, и молодой Кочетов оказался предоставлен самому себе. Образование он получил лишь домашнее, гимназии не

окончил, сильных покровителей, способных оказать протекцию и помочь «пристроиться», у него также не было, да и вряд ли чиновничья служба с ее повседневной рутинной привлекала молодого человека, в характере которого преобладали такие черты, как пылкость, эмоциональность, способность быстро и горячо увлекаться. Он поступил юнкером в лейб-гвардии уланский полк, в котором прослужил несколько лет, причем в 1863 г. участвовал в подавлении польского восстания. Подробности службы Кочетова в Польше неизвестны, однако можно предположить, что из-за своего горячего и вспыльчивого нрава он неоднократно попадал в сложные жизненные ситуации, возможно, именно вследствие этого был вынужден в конечном итоге бросить военную службу. Некоторое представление об этом периоде жизни Кочетова дает его повесть «Из недавних воспоминаний о недалеком Западе», которую он издал в Москве в 1871 г. под псевдонимом Евгений Львов.

В основе сюжета – описание жизненного пути молодого офицера, созвучие имени и фамилии которого – Евграф Логинович Кречетов – с именем самого автора позволяет предположить, что книга носила автобиографический характер. Кречетов характеризуется автором как «способный чрезвычайно от природы, но при том ленивый, грубый до дерзости со старшими, особенно с начальством», а характер его, «иногда придиричивый и мелко самолюбивый, доводивший его не раз даже до крайних поступков, превращался вдруг в высоко благородный и полный самоотвержения» [1. С. 2–3]. Вследствие горячности своего нрава, вспыльчивости, несдержанности, склонности к благородным, но необдуманным поступкам, Кречетов во время военной службы в Польше попадает в опалу к начальству едва не лишается жизни по приговору военного суда: влюбившись в бедную польку, он решается жениться, но, вмешавшись в дело арестованного по ошибке ксендза, ссорится с одним из уездных чиновников, в результате чего оказывается на гауптвахте, а затем в крепости. Лишь «по какому-то счастью» герою удается избежать сурового приговора, но увольнение с военной службы вводит его в страшную нужду, и он вынужден начинать в жизни все сначала. Несмотря на невзгоды, Кречетов остается верен своим жизненным принципам, не склоняет голову и не подличает перед высшими и стремится сохранить внутреннюю независимость.

Весьма вероятно, что при описании некоторых эпизодов из жизни Кречетова автором были использованы наблюдения, сделанные во время службы в Польше, а также факты из собственной биографии, однако утверждать с точностью, что он «срисовал» своего героя с самого себя, вряд ли возможно. Так, сам Кочетов сообщал впоследствии Суворину, что в 1865 г. «под влиянием ксендза чуть ли секретно не принял католичество и когда отступился в самый последний момент», его сделали «политическим преступником», однако данная информация противоречит сведениям, содержащимся в аттестате, выданном Кочетову канцелярией виленского генерал-губернатора, в котором указано, что «не имеется никаких сведений о бытности его в 1867 г. под судом» [2. С. 115–116].

Как бы то ни было, следующие несколько лет жизни Кочетова после увольнения с военной службы во многом похожи на описание злоключений его героя: во второй половине 1860-х гг. он служил в особой канцелярии виленского генерал-губернатора, затем уехал в Петербург, где занимался пере-

пиской бумаг в окружном суде, позже оказался в Москве почти без средств к существованию. К началу 1870-х гг. относятся первые попытки Кочетова зарабатывать на жизнь литературным трудом: издав в 1871 г. повесть «Из недавних воспоминаний о недалеком Западе», он начал сотрудничать в «Крестном календаре» писателя и публициста А.А. Гатцука. Участие в «Календаре», который расходился по России сотнями тысяч экземпляров, вполне могло бы обеспечить Кочетову регулярный и хороший заработок, однако он поссорился с редакцией на финансовой почве и вновь оказался без средств. Начинающий литератор проявил предприимчивость, инициативность и энергию: в 1873 г. в преддверии Всемирной выставки, проходившей в столице Австро-Венгрии, он на три месяца съездил в Австрию с целью сбора материалов для задуманного им путеводителя по Вене. Его планы блестяще оправдались: изданный в том же году «Единственный русский путеводитель по Вене и ее окрестностям с планами выставки и города» оказался крайне востребован, и весь тираж – две с половиной тысячи экземпляров – был очень быстро раскуплен.

Начало сотрудничества Кочетова в изданиях Каткова относится к концу 1880 г. Первой публикацией стало письмо «Голос из публики», подписанное «Евгений Львов» и напечатанное в 348-м номере «Московских ведомостей» от 16 декабря 1880 г., вслед за которым было опубликовано еще несколько писем под тем же названием: в № 351 и 362 от 19 и 31 декабря 1880 г., в № 6 и 8 от 6 и 8 января 1881 г. Поводом к их написанию стали события 5 декабря в Московском университете, когда за участие в сходке было арестовано более 400 студентов-медиков первого курса. Сходка 5 декабря была далеко не первой и явилась кульминацией затяжного конфликта студентов с руководством университета, которое не смогло обеспечить надлежащих условий учебы и быта, а в довершение всего приняло решение исключить шестерых зачинщиков беспорядков. Ситуация осложнялась тем, что министром народного просвещения графом Д.А. Толстым 29 августа 1879 г. были приняты «Временные правила», согласно которым студентам запрещалось устраивать собрания, сходки и создавать какие-либо кружки. Когда 5 декабря возмущенные студенты вместо занятий собрались в одной из аудиторий, то к ним приехал московский обер-полицмейстер генерал А.А. Козлов, который попытался было уговорить собравшихся разойтись, но так как сходка продолжалась, то он был вынужден отдать приказание оцепить аудиторию и арестовать всех в ней присутствовавших. Таким образом, конфликт вышел за пределы университета и послужил поводом к весьма оживленной газетной дискуссии, главными участниками которой стали «Московские ведомости» М.Н. Каткова и «Русские ведомости» Н.С. Сковцова. Между этими двумя изданиями существовало давнее противостояние: Катков в «Московских ведомостях» активно поддерживал Д.А. Толстого, политика которого в области высшего образования и особенно его попытки сократить университетскую автономию вызывали негодование и возмущение в среде либеральной профессуры, главным печатным органом которой в Москве служила газета Сковцова. «Русские ведомости» главной причиной конфликта 5 декабря справедливо называли «неустройство студенческого быта, долготное неудовлетворение давно осознанной студентами потребности в правильной организации как взаимного

общения между собой, так и сношений с университетскими властями» [3], но при этом подчеркивали «непозволительную разнузданность» поведения студентов и явно оправдывали руководство университета, которое, как писала эта газета, «доселе не отказывало университетской молодежи в своей нравственной поддержке» [4]. Напротив, для Каткова данная ситуация служила поводом указать в первую очередь на ошибки университетского начальства и тем самым подтвердить необходимость изменений в университетском уставе, а потому письма Кочетова, в которых было представлено мнение «стороннего» наблюдателя, но мнение, согласное со взглядами самого редактора «Московских ведомостей», стали весьма удобным способом заявить позицию газеты в данном вопросе.

Кочетов, которого «Русские ведомости» сразу же причислили к «публицистам со Страстного бульвара»,¹ упрекал руководство университета в том, что оно не смогло самостоятельно урегулировать конфликт, не имевший, по его мнению, никакой политической окраски, и тем самым поставило студентов в столь затруднительное положение: «Мы не можем отказаться от выраженного нами убеждения, что действуй университетское начальство тверже, легальнее, справедливее и обдуманнее, не было бы обиженных, быть может, совершенно невинно, не было бы арестованных, до сих пор еще дрожащих за последствия, не было бы... – писал Кочетов. – Одним словом, не было бы всего того, что прогремело по всей России под громким названием “студенческой истории” 5 декабря в Московском университете» [5]. Одновременно публицист вел полемику с «Русскими ведомостями», отвечая на их обвинения в искажении фактов в адрес «Московских ведомостей», подчеркивал тенденциозность либеральной газеты в освещении конфликта и т.д. Попытки «Русских ведомостей» объяснить причины, приведшие к событиям 5 декабря, публикацию в них писем участников сходки Кочетов объяснял конъюнктурным стремлением газеты заслужить доверие и сочувствие студентов. Стиль его писем отличался крайней резкостью, так, он без обиняков сравнивал выступления «Русских ведомостей» со «слезами крокодила, плачущего для того, чтобы приобрести симпатию своих жертв» [6] и уподоблял их роль в конфликте роли «унтер-офицерши Пошлепкиной, которая сама себя высекла» [7].

Именно после серии этих публикаций Кочетов получил приглашение от Каткова, почувствовавшего в нем «жгучий патриотизм» [8]. В связи с этим возникает вопрос: а не было ли в действиях самого Кочетова конъюнктурности, не явились ли написанные им письма всего лишь попыткой «приспособиться» к позиции «Московских ведомостей», чтобы таким образом «попасть в доверие» к Каткову и обеспечить себе место в редакции?

Как представляется, нет. Во-первых, лицемерие было явно не в характере Кочетова, который, по свидетельству тех, кто хорошо его знал, всегда был «весь как на ладони <...> всегда готовый лезть вперед и ввязаться в “историю”» [9. С. 341]. Катков, как правило, приглашал литераторов, искавших сотрудничества в его изданиях, на беседу, по итогам которой принимал ре-

¹ Редакция «Московских ведомостей» находилась в здании университетской типографии, помещавшейся на Страстном бульваре.

шение и определял сумму гонорара. Эти разговоры зачастую длились по несколько часов, в них затрагивались самые разные вопросы, и, надо полагать, что Катков, будучи опытным редактором и обладая весьма значительным жизненным опытом, мог бы легко обнаружить неискренность и притворство своего собеседника. Именно такая встреча и состоялась у Каткова с Кочетовым, после которой начинающий журналист был принят в штат газеты. Об этом сохранилось собственное свидетельство Кочетова в одном из писем редактору «Московских ведомостей»: «...был принят в редакцию Вами лично» [10]. Благоприятный для Кочетова исход встречи говорит о том, что он произвел самое благоприятное впечатление на взыскательного редактора, которого, по всей вероятности, привлекла его жизненная опытность, имевшийся литературный опыт и, безусловно, политические идеалы – искренняя преданность престолу и русским интересам.

В пользу искренности Кочетова – автора писем «Голос из публики» – свидетельствует и тот факт, что, будучи убежден в своей правоте, он публично предложил устроить третейский «суд чести» между ним и «Русскими ведомостями», в присутствии университетских профессоров, студентов и лиц из публики – поровну от каждой из сторон. «Убежденный в невинности студентов <...> Я предлагаю “Русским ведомостям” устроить между нами суд чести, – писал Кочетов в своем заявлении, опубликованном также в «Московских ведомостях». – На этот суд выйду я и депутат от “Русских ведомостей”. Если депутату редакции удастся убедить гг. судей, что я, ведя полемику, поступал нечестно, передергивал сообщаемые в “Русских ведомостях” факты, выводил из них ложные заключения, волновал студентов, сообщая печатно ложь, отклонялся от вышеуказанной мною цели, прибегал к каким бы то ни было предосудительным уловкам, – то я первый признаю свои действия в таком серьезном деле позорными, обязуюсь больше ничего не писать о Московском университете, напечатать на свой счет протокол обвинявшего меня третейского суда в шести газетах, наконец, предоставить суду право употребить вносимые мною заранее 3000 рублей следующим образом: 500 рублей в пользу 5 исключенных по событиям 5 декабря и 2500 в кассу студентов в пользу беднейших товарищей» [11]. Редакция «Русских ведомостей» увидела в этом вызове лишь «фортель», «буффонаду», стремление учинить скандал с целью «возбудить утомленное внимание публики» и «скандальные инстинкты» в самих студентах [12]. Однако, на наш взгляд, Кочетов руководствовался отнюдь не теми неблагоприятными намерениями, которые приписывались ему редакцией либеральной газеты. В его поступке, скорее, просматривается настойчивое, бесхитростное и, может быть, даже несколько наивное желание доказать свою правоту и одновременно способствовать оправданию студентов, отчисленных вследствие поспешного решения университетского руководства. Однако сам Катков вряд ли был столь же простодушен: публикуя вызов Кочетова «Русским ведомостям», он, несомненно, предвидел, какую реакцию это может вызвать в рядах его постоянных оппонентов. Их отказ от участия в третейском суде дал Каткову, до того момента хранившему молчание и ни словом ни обмолвившемуся в передовых статьях о конфликте в университете, повод в свою очередь обвинить своих противников в стремлении «возбуждать страсти обманами всякого рода» [13].

Решительность Кочетова, присущий его текстам полемический задор и запальчивость, с которой он обращался к своим противникам, произвели впечатление на Каткова, а его вызов «Русским ведомостям» он даже назвал «героическим средством» [13], и с этого момента материалы, подписанные «Евгений Львов» или инициалами «Е.Л.» стали регулярно появляться на страницах «Московских ведомостей». Кочетов обладал незаурядными журналистскими способностями, ему были присущи все качества, необходимые профессиональному газетчику: наблюдательность, умение быстро и оперативно находить нужную информацию, настойчивость, коммуникабельность, упорство, физическая выносливость и неутомимость и др. «В этом, вечно волнуемом, пылящем человеке чувствовался подъем духа и неистощимый запас энергии» – так характеризовал Кочетова востоковед и дипломат Ю.С. Карцов, хорошо знакомый с журналистом по совместной работе на Востоке в 1880-е гг. [9. С. 340]. Свойственные характеру Кочетова горячность и эмоциональность накладывали отпечаток как на его журналистские тексты, так и на его взаимоотношения с сотрудниками «Московских ведомостей» и с самим Катковым, который в шутку дал ему очень характерное прозвище: «самовар».

Как специальный корреспондент «Московских ведомостей» Кочетов оказывался в гуще самых животрепещущих событий. Он с одинаковым успехом писал в разных жанрах и на разные темы: вел репортажи с похорон генерала М.Д. Скобелева и с места катастрофы на Курской железной дороге летом 1882 г., писал анонсы об открытии художественных выставок и рецензии в рубрике «Театральная хроника», составлял остроумнейшие библиографические заметки, вел рубрику «Заметки читателя газет», в которой публиковал сатирические комментарии к публикациям в других изданиях, в первую очередь в либеральных – постоянных противниках «Московских ведомостей»: журналах «Дело» и «Отечественные записки», газетах «Голос», «Порядок» и др. В обширном путевом очерке «Из летней экскурсии» Кочетов весьма подробно и живо описал свое путешествие по южным окраинам России – из Астрахани по Каспийскому морю до Кизляра, а далее – по кавказским дорогам через станицы Щедринская, Грозная, Червленная, Моздок и Прохладная в Пятигорск.

Темой для материалов Кочетова могли служить не только общественные, политические и культурные события, но и факты частной жизни, в которых журналист умел увидеть важную общечеловеческую проблему. Так, поводом для одной из его корреспонденций, озаглавленной «Мор детей», стало тяжелое горе в его собственной семье – смерть семилетней дочери от дифтерита. Даже у человека, не предрасположенного к эмоциям, нарисованная Кочетовым картина не могла не вызвать слез и комка в горле: «Исхудавшее тельце ребенка острыми углами обрисовывается из-под покрывающей его простыни, по-видимому он засыпает, в сердцах отца, матери, близких зарождается луч безумной надежды, но вот он начинает беспокойно кидаться, сбрасывает простыню, тяжело дышит, хватается за горло, вскакивает, широко открывает глаза; на лице испуг и ужас, глаза полные тревоги ищут отца, ребенок кидается к нему, охватывает шею, хрипит “Папа, души”... и не получает от пораженного горем отца ни помощи, ни облегчения, обманутые в первый раз в

жизни в последней своей детской надежде задыхается у него на груди, раскрыв ротик, откинув голову и вцепившись ручонками в его платье... А эти застывшие в ужасе черты посиневшего личика, так поражающие вас при последнем прощании, они никогда не дадут вам покоя, ничем не изгладятся из вашей памяти...» [14]. Публицист не скрывал, насколько тяжелы для него эти воспоминания, но именно поэтому собственная беда стала для него поводом к разговору о том, как избежать распространения опасного заболевания, угрожающего как семьям бедняков, так и детям из достаточных семей. Шокирующее описание смерти собственного ребенка казалось ему действенным средством, чтобы разбудить «энергию» общества, которое «не хочет видеть опасности, пока она не коснется нас лично». Для профилактики и борьбы с инфекционными болезнями он предлагал ввести в местностях, подверженных заболеваниям, целую систему гигиенических мер: уничтожить свалки, дезинфицировать нечистоты, вести гигиену помещений, отдаваемых внаймы, выделить отдельные инфекционные помещения в детских больницах, а также создать в каждом городе страховое общество от последствий заразных болезней.

Но все же наиболее удавались Кочетову оперативные материалы, написанные «по горячим следам». Современники видели в нем одного из самых талантливых репортеров 1880-х гг.: «Мыслителем или сведущим политиком Кочетов не был. Не ум и логика составляли сильную сторону его натуры, а вдохновение, догадка, нутро. Как никто, обладал он даром схватывать суть предмета, попадать в самую точку. В лице Кочетова современное значение печатного слова выразилось наглядно. Едва возникало событие, Кочетов уже был тут как тут» [9. С. 340]. Среди самых интересных материалов Кочетова, на наш взгляд, репортажи и корреспонденции о трагедии, случившейся в ночь с 29 на 30 июня 1882 г. на 296-й версте Московско-Курской железной дороги и получившей по имени близлежащего населенного пункта название «кукуевская катастрофа». В результате страшного ливня, длившегося несколько дней подряд, водопропускная чугунная труба, проложенная под железнодорожной земляной насыпью через глубокий овраг, не справилась с резко увеличившимся водным потоком, под напором которого насыпь была размыва, и железнодорожное полотно провисло в воздухе. Во время прохождения пассажирского поезда рельсы разорвались, и семь вагонов обрушились в образовавшуюся пустоту, а затем были погребены под толстым многотонным слоем разжиженного грунта. В результате крушения погибли 42 человека, а еще 35 были ранены. В историографии освещение этого события, как правило, связывают с именем легендарного репортера В.А. Гиляровского, который первым из журналистов оказался на месте трагедии и репортажи которого печатались в «Московском листке» Н.И. Пастухова. Однако многочисленные корреспонденции Кочетова с места крушения представляют собой не менее правдивый и столь же объективный рассказ о событиях той страшной ночи и последовавших вслед за ней двух неделях, на протяжении которых велись работы по извлечению трупов.

Журналист «Московских ведомостей» смог прибыть на место трагедии лишь 3 июля, так как был командирован редакцией вести репортажи о препровождении к месту захоронения тела национального героя России генерала

М.Д. Скобелева, внезапная кончина которого 25 июня 1882 г. по времени почти совпала с кукуевской катастрофой. 28 июня Кочетов выехал в родовое имение генерала в Рязанскую губернию, но успел лишь сутки пробыть в усадьбе, когда был срочно вытребован в Москву, чтобы оттуда немедленно отправиться к месту крушения, где и оставался до окончания поисковых работ 15 июля, не отлучаясь, по его собственному признанию, «ни на минуту». Эти две недели стали для Кочетова весьма тяжелым испытанием. Условия, в которых ему пришлось жить и работать, были почти невыносимыми: страшная жара, ядовитые испарения, идущие от трясины, ставшей огромной братской могилой для более чем сорока человек, удушающий запах разлагающихся трупов, сама обстановка, сопровождавшая раскопки, когда каждый день добавлял все новые и новые подробности случившейся трагедии.

Первые телеграммы Кочетова начали печататься в «Московских ведомостях» с 5 июля, а спустя несколько дней, когда картина произошедшего стала более или менее ясна, журналист прислал в газету достаточно подробную корреспонденцию, в которой попытался восстановить ход событий в ночь на 30 июня [15], а в последующих материалах начал детально излагать подробности поисковых работ, описывать трудности и риски, с которыми приходилось сталкиваться рабочим и инженерам, анализировать факторы, ставшие причиной катастрофы [16–22].

Кукуевская катастрофа вызвала бурную полемику в газетах о порядке на отечественных железных дорогах, и публикация этих материалов поставила Кочетова под огонь критики со стороны враждебной «Московским ведомостям» прессы, как московской, так и петербургской. Неприязнь к Каткову и его газете, которая в глазах либеральной прессы являлась рупором официальной точки зрения, автоматически переносилась и на ее авторов. Кочетова, который никогда не скрывал, что именно он является автором материалов в «Московских ведомостях», подписанных именем «Евгений Львов», упрекали в защите железнодорожного начальства, в стремлении скрыть истинное количество жертв, в сокрытии подлинных причин трагедии и т.п., недвусмысленно намекали на заказной характер его корреспонденций, не стесняясь, припоминали ему не самые приятные эпизоды его пребывания в Польше и т.д. Так, еженедельник «Мирской толк», издававшийся в Москве Н.Л. Пушкиревым, с ехидством писал в заметке «Курьез»: «"Газета г. Гатцука" сообщает, говорят „Русские ведомости“, что сотрудник „Московских ведомостей“, подписывающийся „Евгений Львов“, есть не кто иной, как разжалованный портупей-юнкер, Евгений Львов-Кочетов, выдержанный в Вильно около года в арестантских ротах за какой-то, вероятно, очень патриотический подвиг <...> это уже не первый сотрудник г. Каткова в таком роде. Теперь, конечно, каждому станет понятно, добавим мы, почему Евгений Львов так горячо принял сторону воротил московско-курской костоломки. Изведавший все прелести острога, он, по чувству христианского милосердия, не хочет, чтобы даже самые злейшие враги испытали ту же участь» [23. С. 116]. Целый шквал критики в адрес репортера «Московских ведомостей» обрушился со страниц газеты «Русский курьер» Н.П. Ланина, в которой Кочетова обвиняли в «мздоимстве» за то, что в посланной им в редакцию «Московских ведомостей» корреспонденции было указано, «что погибших будто бы только десят-

ки (45 человек), а не сотни» [24], называли «адвокатом железнодорожников и чорта» [25] и т.д. В неопубликованной юмореске А.П. Чехова «Тайны сто сорока катастроф, или Русский Рокамболь» Кочетов был выведен в явно карикатурном образе – как «его полублагородие отставной портупей-юнкер Эжен Львов-Кочетов» [26].

Сегодня, когда острота газетно-журнальной полемики ушла в прошлое, анализ материалов Кочетова с места кукуевской трагедии свидетельствует, что оснований утверждать, что они имели заказной характер, нет. Напротив, в его корреспонденциях и репортажах была представлена весьма точная, достоверная и очень подробная картина катастрофы. Сам Кочетов свою задачу видел в объективном освещении произошедшего, чтобы, «не скрывая ничего, ни хорошего, ни дурного, не обвиняя никого до суда, но и не оправдывая... указывать на факты и только из них выводить свои заключения» [20]. Находясь в течение двух недель в самом эпицентре событий, наблюдая жуткие подробности извлечения изуродованных и обезображенных трупов, когда части человеческих тел зачастую было невозможно отделить от искореженного металла, Кочетов, будучи человеком весьма впечатлительным, в своих описаниях места катастрофы не мог избежать некоторых проявлений эмоциональности, но при этом всегда оставался скрупулезно точен, конкретен, уделял пристальное внимание каждой подробности, но избегая при этом сенсационности описаний и дешевой эпатажности: «Представьте, – описывал он место раскопок, – 1200 человек, тяжело работающих в ложбине, окруженной с трех сторон раскаленной глинистой стеной сажен в 12 вышины; сверху палит июльское солнце, на воздухе 40–42 градуса, снизу под обломками несколько полуоткрытых, сильно разлагающихся трупов, которые время от времени кропятя фельдшером смесью скипидара и хлористой извести. Внизу, образуя грязь и лужи, сочится вода, настоянная на трупах и теперь уходящая из разрытого места крушения. Далее, шагах в ста от работ, на пологом берегу оврага сушатся почтовые тюки и багаж, добытый из багажного вагона и промокший насквозь; тут же разложен небольшой костер, на котором, дымясь и испаряясь, жгутся промозглые одежды и вещи, найденные на погибших, а еще сто шагов далее находится морг, постоянно дающий приют нескольким разлагающимся трупам» [22].

В его корреспонденциях содержатся подробные сведения о количестве занятых в раскопках землекопов, солдат, слесарей Тульских железнодорожных мастерских, о размерах полагавшегося им денежного вознаграждения и количестве пищевого довольствия, о порядке возмещения убытков от уничтожения багажа и даже о том, сколько стоила подвозка питьевой воды к месту катастрофы и т.п. Подчеркивая слаженность и профессионализм работающих на раскопках прокурора Московской судебной палаты С.С. Гончарова, управляющего дорогой К.И. Шестакова, главного инженера А.И. Домбровского, начальника Тульских железнодорожных мастерских Баумана, чернского уездного врача И.Т. Щеглова, журналист не скрывал и негативных фактов, таких как пререкания и бездеятельность полиции, отсутствие медицинского персонала, безобразные санитарно-гигиенические условия на месте раскопок, при которых лишь чудом удалось избежать эпидемии, толпы праздно пуб-

лики, приехавшей «на место с единственной целью полюбоваться даровым зрелищем» [22].

Нарисованные Кочетовым подробности разбора завалов на месте катастрофы и сегодня производят сильное впечатление: «Трудно представить себе что-либо более тяжелое и запутанное, как эти раскопки. Представьте себе груды железа толщиной в фут и более изогнутого как веревка, перекрученного с другим железом, перемешанного с грязью, перепутанного с брусками, винтами, обломками досок, железных листов и торчащими между ними колесами на железных осях. Часов в шесть того же дня из-под буфера показалась, например, нога в шерстяном чулке; кажется, стоит только вытащить буфер и извлечь тело; так и делают; привязывают к буферу канат, ухватываются за него человек 50 и при помощи «дубинушки» тащат вверх в гору. Но буфер не двигается. Он на сажень глубже захвачен колесом, на котором в свою очередь лежит несколько сот пудов железа. Все это перепутано так, что сотня дюжих рабочих не могут столкнуть с места; канаты лопаются; пробуют с другой стороны, но обломки угрожают целостности тела; надо перебить железный стержень, выбить десятки болтов и винтов, перепилить десятки досок, вытащить все это из хаоса обломков, и затем уже вечером в девять часов извлечен изуродованный труп неизвестной простолюдинки» [17].

На вопрос о виновниках катастрофы Кочетов также попытался ответить, хотя в первые же дни после крушения это было затруднительно ввиду отсутствия объективной информации. Кочетов не согласился с высказанным в ряде изданий мнением, что вся ответственность за случившееся лежит на основании в 1869 г. под председательством коммерции советника В.Ф. Чижова железнодорожном товариществе, которому в 1872 г. Московско-Курская железная дорога была передана в арендное пользование сроком на 80 лет. По мнению журналиста «Московских ведомостей», общество не может нести ответственность за качество строительства, которым ведало Министерство путей сообщения. Не обвиняя министерство прямо, журналист тем не менее писал, что это ведомство, в обязанности которого входило утверждение всякого крупного ремонта на Курской дороге, «не раз будто бы отказывало в разрешении переделки мостов и других сооружений» [20].

Не скрывая, что основной причиной катастрофы явилась «негодность трубы и насыпи», которые привели к обвалу и размыву, журналист называл и другие факторы, стечение которых привело к трагедии: сильные дожди в течение нескольких дней, вызвавшие очень высокий паводок, так что «вода подымалась на шесть и более сажен», и приводит в доказательство подмеченную им деталь: «клоки сена, оставленные паводком на ветках берез на высоте шести и более сажен» [20]; непредусмотрительность и формальный подход железнодорожных служащих к своим обязанностям, в результате которого «исполнительный служащий, нимало не колеблясь, выпускает поезд с 200 человек ночью, в то время, когда в природе совершается грозное, небывалое в этих местах явление, и несмотря на то, что еще 4 часа тому назад этот ужасный дождь размыв уже путь на ровном месте» [20]. Поднимая вопрос об ответственности и профессионализме, журналист с горечью писал о русской беззаботности и небрежности: «Наш девиз: авось, небось и как-нибудь, и сходит он нам многие лета по всем отраслям нашей жизни, а в том числе и по

Министерству путей сообщения сходил, даже считался за молодчество, пока мы имели дело с курьерскими тройками <...> и к железной дороге мы относимся так же халатно, как и к ямской тройке. Кто же тут виноват?» [20].

Следует отметить, что все вопросы, связанные с прокладкой в России железных дорог и их эксплуатацией, составляли предмет постоянного внимания «Московских ведомостей» и их редактора, в передовых статьях которого неоднократно рассматривались как экономическое, так и стратегическое значение железнодорожного транспорта, условия и качество эксплуатации железных дорог [27–30]. Катастрофа на Московско-Курской железной дороге явилась для Каткова поводом, чтобы вновь поднять вопрос об усилении ответственности тех, в чьи обязанности входят строительство и надзор за состоянием железных дорог. «Несчастье на Курской дороге имеет общее значение, – писалось в передовой статье «Московских ведомостей» спустя несколько дней после кукуевской трагедии. – Много ли толку, что на 296 версте вместо трубы теперь построят мост, конечно, нового несчастья в этом пункте больше не случится, но может оно произойти в другом месте, на другой дороге» [31]. В целях предупреждения катастроф, подобной случившейся, газета предлагала установить жесткий контроль со стороны государства за строительством и эксплуатацией железных дорог, ввести обязательное страхование пассажиров и т.д., приводя в качестве примера Германию, где на тот момент уже существовали строгие законы, по которым железная дорога несла ответственность за безопасность пассажиров: «Нужно что-нибудь одно: или чтобы дороги, по крайней мере их правления, были ответственны в уголовном или гражданском порядке за все происходящие несчастья с поездами, или же чтобы надзор за дорогами и правительственная опека над ними перестали быть фиктивными [31]. Связь основных положений передовых статей Каткова с фактами, приводимыми в корреспонденциях Кочетова, очевидна.

Столь удачное сотрудничество Кочетова в «Московских ведомостях» прекратилось самым неожиданным образом. В конце 1882 г. на одном из банкетов, куда были приглашены съехавшиеся в Москву иностранные корреспонденты, Кочетов, задетый где-то немцами, произнес страстную речь, в которой с симпатией отозвался о Франции и российско-французском сотрудничестве. Катков, который в этот период на страницах «Московских ведомостей» выступал в защиту союза России с Германией, был чрезвычайно возмущен и раздосадован выступлением Кочетова, и, как следствие, последний был вынужден покинуть редакцию. Здесь следует пояснить, что Катков требовал от сотрудников полного согласия с позицией газеты, которая формировалась в первую очередь в его собственных передовых статьях, и не терпел «своемыслия» и каких-либо отступлений от заявленных в них взглядов. «В редакции его было много чернильниц и перьев, но был только один источник вдохновения, – это Катков сам, и было одно только перо, – это его перо», – вспоминал один из постоянных авторов «Московских ведомостей» князь В.П. Мещерский [32. С. 262]. Столь жесткая позиция редактора давала повод даже благожелательно настроенным современникам упрекать его в том, что он требовал от своих сотрудников «безусловного самоуничижения» [9. С. 339]. Однако такая требовательность Каткова, как можно предположить, объяснялась все же отнюдь не деспотическими наклонностями его ха-

рактера, а стремлением обеспечить единство направления «Московских ведомостей» и уберечь газету от обвинений в политической конъюнктурности. Ошибка Кочетова могла дорого стоить редакции: его публичные франкофильские высказывания могли быть восприняты как свидетельство изменения курса газеты, ведь к тому времени публицист имел репутацию одного из самых преданных Каткову сотрудников.

Сам журналист тяжело переживал свой проступок, обвиняя в случившемся прежде всего самого себя и свою несдержанность. Не желая работать в московских газетах, среди которых, как он сам признавался Каткову, «большой “благонамеренной” газеты, к сожалению, нет, и идти уважающему себя человеку и не чувствующему в себе наклонностей быть предателем – некуда» [10], он в поисках заработка обратился к редактору газеты «Новое время» А.С. Суворину, и вскоре был принят в качестве специального корреспондента. Однако Кочетов очень быстро разочаровался в Суворине и его газете: «Мое ближайшее знакомство с Сувориным показало только, какая пропасть между вами и “Новым временем”, хотя оно и числится благонамеренным», – писал он Каткову, уже будучи корреспондентом «Нового времени», прося «отпустить невольную вину» и вновь принять в число сотрудников «Московских ведомостей» [10]. «Я с восторгом бы бросил проклятое “Новое время” с его гонорами и лез бы из кожи, чтобы снова заслужить ваше благоволение», – со свойственной ему эмоциональностью убеждал Кочетов редактора «Московских ведомостей» [10]. Как видимо, Кочетова не устраивало стремление Суворина дистанцироваться от определенного направления и превратить свою газету в «парламент мнений», и он сожалел о «Московских ведомостях», с их четко и определенно заявленной позицией.

Трудно сказать, раскаивался ли сам Катков о своем решении уволить Кочетова, но можно с уверенностью утверждать, что ему не была свойственна «злопамятность». Он продолжал оказывать своему бывшему сотруднику материальную поддержку, внося плату из собственных средств за обучение его сына в Лицее цесаревича Николая в Москве. Как свидетельствуют письма Кочетова, адресованные Каткову, последний продолжал поддерживать с журналистом деловые отношения, несмотря на то, что тот перешел на службу к его прямому конкуренту. Со своей стороны Кочетов, по словам современников, так «проникся идеями» Каткова, что «благоговел перед ним до самой своей смерти» [9. С. 339]. Корреспонденции, подписанные именем «Евгений Львов» или инициалами «Е.Л.», больше не появлялись на страницах «Московских ведомостей», однако журналист оставался для Каткова надежным источником информации. Посланный редакцией «Нового времени» в Польшу в качестве специального корреспондента, Кочетов продолжал регулярно писать Каткову, информируя его обо всем, что могло дать представление о происходящем в губерниях Царства Польского, и о настроениях местного населения. Его письма содержали немало интересных и важных подробностей: о разнице в отношении к русским со стороны простого народа и польской интеллигенции, о реакции местного населения на распоряжения русской администрации, о том, какие бумаги и распоряжения доставлялись из Петербурга и каковы взаимоотношения местных властей – И.В. Гурко, А.Л. Апухтина, П.И. Кутайсова и т.п.

Значительная часть сообщаемой Кочетовым информации носила конфиденциальный характер и вряд ли могла попасть в официальные правительственные сообщения. Так, в одном из писем Кочетов сообщал Каткову подробности ареста 28 июня 1884 г. П.В. Бардовского, занимавшего должность мирового судьи в Варшаве, при обыске в квартире которого было найдено «несколько пудов шрифта и разных типографских принадлежностей, 128 готовых прокламаций» [33. С. 88–89]. Бардовский был одним из лидеров польского революционного движения, принимал активное участие в деятельности польской рабочей партии «Пролетариат», поддерживал связь с тайной организацией в России «Народная воля», и, безусловно, этот факт – связь государственного чиновника с антиправительственными организациями – имел для Каткова немаловажное значение.

В другом письме Кочетов характеризовал генерала И.В. Гурко, назначенного в 1883 г. варшавским генерал-губернатором и командующим Варшавским военным округом. С присущей ему прямоотой Кочетов писал, что «Гурко бесспорно человек русский, но слабый политик и плохой администратор», «всегда у кого-нибудь в руках, и теперь им вертит правитель его канцелярии Корнилов, человек, потерявший голову от своего могущества... и вдобавок взяточник» [34. С. 90–92]. В письме упоминаются начальник Варшавского жандармского округа граф П.И. Кутайсов и попечитель Варшавского учебного округа А.Л. Апухтин, действиям которых, направленным к продолжению русификаторской политики края, публицист явно сочувствовал. Сообщая, что «в Петербурге возбужден вопрос – как бы убрать отсюда Апухтина... а вместе с ним и Кутайсова», Кочетов настоятельно рекомендовал Каткову высказаться на страницах «Московских ведомостей» «разумное, сильное слово» в их защиту [34. С. 90–92].

Содержание этих писем свидетельствует, что взгляды Кочетова на ситуацию в Польше полностью совпадали с позицией Каткова, в изданиях которого активно пропагандировалась русификация западных территорий империи. В корреспонденциях Кочетова из Варшавы в «Новом времени», подписанных характерным псевдонимом «Русский странник», также велась защита политики обрусения поляков и развивались идеи, заявленные в передовых статьях Каткова в «Московских ведомостях»: критика проникновения иностранного капитала в экономику Польши, озабоченность прочностью позиций католицизма, защита православия, борьба за введение в школы и делопроизводство русского языка и т.п.

Близость политических взглядов Каткова и Кочетова проявилась и в отношении к «румелийскому перевороту» – объединению Болгарского княжества с автономной турецкой провинцией Восточной Румелией в результате народного восстания 6 сентября 1885 г. Воссоединение Болгарии с Румелией являлось нарушением условий Берлинского трактата 1878 г. и могло привести к конфронтации России с Турцией и Австро-Венгрией. Императором Александром III эти события были восприняты как предательство со стороны поддержавшего восстание болгарского князя Александра Баттенберга, который, несмотря на то, что своим престолом был обязан России, вел пробританскую политику и предпринял столь решительные действия без учета русских интересов. Реакция российского общества на объединение была неодно-

значной [35]: либеральная печать увидела в объединении торжество национальной свободы и отказ от административного давления со стороны России, славянофилы по главе с И.С. Аксаковым, не соглашаясь с официальным мнением о предательстве болгар, тем не менее заявляли, что предварительное согласие России на объединение было необходимо. Катков в передовых статьях «Московских ведомостей» настаивал на том, что объединение есть шаг несвоевременный, «изменническое деяние», результат «мошенничества» Европы, которая согласилась на нарушение Берлинского трактата 1878 г. с целью нанести ущерб интересам России, а сам переворот осуществлен прозападно настроенной болгарской интеллигенцией, тогда как сам болгарский народ остается верен России. Редактор «Московских ведомостей» был искренне убежден, что интересы Болгарии и России идентичны и болгарская внутренняя и внешняя политика может существовать только в согласии с российской: «Болгария создана кровью России и может существовать только в связи с ней и под ее покровом» – таким был лейтмотив его выступлений в «Московских ведомостях» [36].

Уже 12 сентября, т.е. шесть дней спустя после румелийского переворота, Кочетов отправился в Болгарию и Румелию в качестве специального корреспондента «Нового времени» и стал фактически единственным русским журналистом на территории объединенного государства. Он провел в стране три с половиной месяца (из которых около полутора месяцев – в Филиппополе, столице Восточной Румелии), наблюдая за событиями, общаясь с их участниками и собирая материалы, касающиеся истории переворота. Эти месяцы стали серьезным испытанием для Кочетова-журналиста, подтвердили его репутацию как человека смелого, решительного, мужественного, не способного идти на поводу у обстоятельств и не склонного к компромиссам с собственной совестью. Так как Кочетов не скрывал своего негативного отношения к объединению, то лицами, возглавлявшими восстание, – З. Стояновым, Д. Ризовым, В. Стефовым и др. – он воспринимался как представитель официальной России, и их ненависть к ней быстро распространилась и на Кочетова. Ему в присутствии русского консула было заявлено, что если он будет «продолжать писать в том же духе, то последует кровавая расплата». Весьма вероятно, что болгарские революционеры хотели лишь «припугнуть» журналиста, внешность которого производила едва ли не комическое впечатление: Кочетов был небольшого роста, с брюшком, на голове носил фуражку с кокардой, а когда расстегивался – виднелся вышитый красными нитками на рубашке российский государственный герб. Однако в ответ на это ультимативное предложение журналист – человек далеко не робкого десятка – категорически заявил: «...буду продолжать, и ввиду того, что наш консул защитить меня не в силах, буду защищать себя и свое право писать правду револьвером» [37. С. 723]. Понимая, что его стремление писать о событиях в Болгарии с иных позиций, чем это было желательно организаторам восстания, может вызвать противодействие с их стороны, Кочетов во время первого визита в штаб-квартиру повстанцев был вынужден взять с собой револьвер, чтобы в случае нападения иметь возможность защитить свою жизнь (предосторожность далеко не лишняя: во время пребывания журналиста в Филиппополе на него было совершено покушение – каким-то предметом ему чуть не проло-

мили голову). Видимо, искренность, отвага и личное мужество Кочетова произвели сильное впечатление на болгарских революционеров, потому что между ними и журналистом завязалось знакомство, и в дальнейшем они уже без всяких проявлений враждебности сотрудничали с Кочетовым, предоставляя ему всю необходимую информацию и комментарии к событиям 6 сентября. «Правых и виноватых требовал он к ответу, не расспрашивал их, а подвергал формальному допросу. Политические деятели шли на его зов и, наперерыв, давали ему объяснения», – писал об этом периоде деятельности Кочетова Ю.С. Карцов [9. С. 340].

Суворин отказывался печатать многие из присылаемых Кочетовым в «Новое время» корреспонденций на том основании, что они, скорее, представляли собой передовые статьи, в которых журналист страстно и горячо отстаивал свой взгляд на события в Болгарии: «Россию оскорбляют, топчут в грязь... Нет, камни вопиют и требуют возмездия» [9. С. 343]. К тому же формат ежедневной газеты не позволял помещать объемные материалы аналитического характера, а Кочетову за три с лишним месяца пребывания в Болгарии удалось собрать большое количество фактов, комментариев, свидетельств, обобщение которых позволило бы нарисовать широкую картину произошедшего. Такую возможность мог дать только журнал, причем издателем которого разделял бы взгляды и позицию Кочетова. Именно таким изданием стал «толстый» ежемесячник Каткова «Русский вестник», в котором в феврале – марте 1886 г. и появился очерк «Румелийский переворот», опубликованный под знакомым читателям псевдонимом «Евгений Львов». Очерк представлял собой попытку объективного анализа событий 6 сентября, их причин, а также роли в них российской дипломатии. В отличие от корреспонденций Кочетова для «Нового времени», которые писались очень эмоционально, с большой долей субъективности, тон очерка более спокойный и сдержанный. Все приведенные в нем факты и свидетельства опирались на документальные источники, на свидетельства непосредственных участников событий, были тщательно проверены автором, который стремился продемонстрировать позицию лиц, принадлежавших к разным сторонам конфликта. «Излагая все мне известное, я при передаче каждого отдельного эпизода указываю на те источники, коими руководился; при этом, не желая быть обвиненным в искажении смысла, не изменяю тона и окраски, приданных событиям самими рассказчиками, – подчеркивал Кочетов в предисловии к очерку. – Такая передача кажется мне более справедливой; к тому же читатель, ознакомившись с фактами, вероятно, сам сумеет дать им надлежащую оценку, помимо окраски, приданной им более или менее заинтересованными лицами» [37. С. 723].

Публицист справедливо делал вывод, что переворот в Румелии стал делом не какой-либо «отдельной партии или даже двух-трех лиц», а явился результатом объединенных усилий, «в руководстве им и в осуществлении его участвовали и болгарские революционеры, и члены Болгарского правительства, и народные толпы, и войска, и русские нигилисты, и наконец, члены иностранных представительств» [37. С. 721]. Но главным виновником случившегося Кочетов называл русскую дипломатию на Балканах и решительно критиковал ошибочные действия Министерства иностранных дел России,

некомпетентность сотрудников которого стала одной из важнейших причин переворота: «...и здесь, и в Софии наши дипломатические агенты сменялись десятками, а при их назначениях в Министерстве вовсе не заботились о том, знают ли вновь назначаемые агенты, что такое Болгария, да и зачем все это нужно, когда само наше Министерство иностранных дел, по-видимому, тогда по крайней мере, еще не уяснило себе, чего именно нужно России от Болгарии. Вследствие этого каждый консул вносил новую, свою собственную персональную линию. Не имея категорических инструкций и основательно не зная планов России, софийские агенты никогда не действовали вместе с филиппопольскими, сплошь и рядом можно было думать, что это не два дипломатические фактора одной и той же державы, а представительства двух держав» [38. С. 411–413].

Энергичная критика Кочетова в адрес Министерства иностранных дел согласовывались с позицией самого Каткова, который на страницах «Московских ведомостей» подвергал ожесточенному порицанию как само внешнеполитическое ведомство, так и возглавлявшего его Н.К. Гирса, остроумно замечая, что в России, существует не русское Министерство иностранных дел, а «Министерство иностранных дел в России». Каткову настолько был близок подход Кочетова к событиям в Болгарии и присущий его очерку патриотический пафос, что в 1886 г. он напечатал его отдельным изданием в арендуемой им типографии Московского университета.

К сожалению, в дальнейшем судьба этого талантливого журналиста сложилась неудачно. После смерти Каткова в 1887 г. Кочетов продолжал работать в «Новом времени»: много раз бывал на Ближнем Востоке, ездил в Финляндию, в Прибалтийские губернии, на Ледовитый океан, в разгар холеры – в Поволжье... Но если Катков был для Кочетова непререкаемым авторитетом, то найти общего языка с Сувориным журналист так и не смог и был вынужден уйти из редакции. В поисках заработка он вернулся на государственную службу, состоял коммерческим агентом в Константинополе, затем – в должности директора Русского пароходного общества на Дунае, но чиновничья карьера для энергичного, инициативного, но слишком увлекающегося и эмоционального Кочетова оказалась слишком неподходящим поприщем, и к тому же у него совершенно отсутствовали склонности и способности к коммерческой деятельности. Он трудился энергично, честно, бескорыстно, но действовал настолько непрофессионально, что в результате был обвинен в растратах и финансовых злоупотреблениях. Последние годы Кочетов провел в своем имении Кропотово в Тульской губернии, где и умер в 1905 г., всеми брошенный и забытый.

Статьи в «Новом времени» принесли Кочетову широкую известность, но, как представляется, подлинное удовольствие от журналистского творчества он испытывал в период работы корреспондентом «Московских ведомостей». Несмотря на независимый характер, Кочетову было комфортно работать в московской газете под руководством ее весьма требовательного и взыскательного редактора. Убежденный монархист и подлинно православный человек, Кочетов во всем разделял взгляды Каткова на события в Польше и на Балканах, ему была понятна неприязнь редактора «Московских ведомостей» к Петербургу как к оплоту бюрократизма и «нерусской политики». Как и

Катков, журналист являлся сторонником жесткой централизации власти и считал самодержавие единственно приемлемой в России формой правления, а в Российской империи видел центр славянства и православия. Со своей стороны, Катков нашел в Кочетове не только талантливого репортера, но и искренне преданного и добросовестного сотрудника, служившего ему и его газете «не за страх, а за совесть». Кочетова с Катковым сближали еще и присущие каждому из них непритворная искренность и прямота как в проявлении своих симпатий, так и в выражении неприязни, прямолинейность оценок, а также свойственная им бескомпромиссность и неуступчивость в ситуациях, когда дело касалось их профессиональной репутации.

Литература

1. Львов Е. Из недавних воспоминаний о недалеком Западе. М., 1871. С. 2–3.
2. Кочетов Евгений Львович // Русские писатели. 1800–1917: биограф. Сл. / под ред. П.А. Николаева. Т. 3 (К–М). М., 1994. С. 115–116.
3. [Передовая статья] // Русские ведомости. 23.12.1880. № 332.
4. [Передовая статья] // Русские ведомости. 06.12.1880. № 315.
5. Евгений Львов. Голос из публики // Московские ведомости. 31.12.1880. № 362.
6. Евгений Львов. Голос из публики // Московские ведомости. 08.01.1881. № 8.
7. Евгений Львов. Голос из публики // Московские ведомости. 06.01.1881. № 6.
8. Кочетов Е.Л. Письмо В.А. Грингмуту. 9 декабря 1892 г. // РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 2. № 753. Л. 1.
9. Карцов Ю.С. Семь лет на Ближнем Востоке. 1879–1886. Воспоминания политические и личные. СПб., 1906.
10. Кочетов Е.Л. Письмо М.Н. Каткову. 15 июня. Б.г. // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 5. Ед. хр. 30.
11. Евгений Львов. Мой вызов «Русским ведомостям» // Московские ведомости. 19.01.1881. № 19.
12. [Передовая статья] // Русские ведомости. 22.01.1881. № 22.
13. [Передовая статья] // Московские ведомости. 24.01.1881. № 24.
14. Евгений Львов. Мор детей // Московские ведомости. 04.12.1881. № 336.
15. Е.Л. Подробности катастрофы 29 июня // Московские ведомости. 10.07.1882. № 189.
16. Е.Л. Еще о катастрофе 29 июня // Московские ведомости. 13.07.1882. № 192.
17. Е.Л. С места катастрофы 29 июня // Московские ведомости. 14.07.1882. № 193.
18. Е.Л. С места катастрофы 29 июня // Московские ведомости. 16.07.1882. № 195.
19. Е.Л. С места катастрофы 29 июня // Московские ведомости. 17.07.1882. № 196.
20. Евгений Львов. По поводу катастрофы 29–30 июня // Московские ведомости. 22.07.1882. № 201.
21. Евгений Львов. По поводу катастрофы 29–30 июня // Московские ведомости. 23.07.1882. № 202.
22. Евгений Львов. По поводу катастрофы 29–30 июня // Московские ведомости. 27.07.1882. № 206.
23. Курьез // Мирской толк. 1882. № 29.
24. Русский курьер. 1882. № 186.
25. Русский курьер. 1882. № 201.
26. Чехов А.П. Тайны ста сорока четырех катастроф, или Русский Рокамболь // Чехов А.П. Полн. СОБР. соч. и писем: в 30 т. Сочинения: в 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М., 1974–1982. Т. 1. С. 487–493.
27. [Передовая статья] // Московские ведомости. 17.07.1864. № 158.
28. [Передовая статья] // Московские ведомости. 5.11.1869. № 241.
29. [Передовая статья] // Московские ведомости. 2.11.1873. № 276.
30. [Передовая статья] // Московские ведомости. 25.06.1881. № 174.
31. [Передовая статья] // Московские ведомости. 7.07.1882. № 186.
32. Мещерский В.П. Воспоминания. М.: Захаров, 2001.

33. Кочетов Е.Л. Письмо М.Н. Каткову. Б.д. // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 23.
34. Кочетов Е.Л. Письмо М.Н. Каткову. 17 марта. Б.г. // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 23.
35. Григорова Д. «Румелийский переворот» и русское общество (1885) // Россия – Болгария: векторы взаимопонимания. XVIII–XXI вв.: Российско-болгарские научные дискуссии. М., 2010. С. 126–134.
36. [Передовая статья] // Московские ведомости. 19.08.1886. № 228.
37. Евгений Львов. Румелийский переворот // Русский вестник. 1886. Кн. 2.
38. Евгений Львов. Румелийский переворот // Русский вестник. 1886. Кн. 3.

FORGOTTEN NAMES: EVGENY KOCHETOV AS A CORRESPONDENT OF M.N. KATKOV'S EDITIONS

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 46. 202–221. DOI: 10.17223/19986645/46/15

Elena V. Perevalova, Moscow Polytechnic University (Moscow, Russian Federation). E-mail: helenpv@yandex.ru

Keywords: E.L. Kochetov, M. N. Katkov, *Moskovskie Vedomosti*, *Russkiy Vestnik*, correspondent, Kukuiev accident, Rumelia revolution.

In the article, the cooperation history of the journalist E.L. Kochetov in M.N. Katkov's editions – the *Moskovskie Vedomosti* newspaper and the *Russkiy Vestnik* magazine in the 1880s is considered. During the specified period these editions were leaders of Russian conservative journalism. Kochetov's publications are considered, their subject, perspective and genre specifics are analysed; earlier unpublished letters of the journalist, reminiscences of him are studied. Most part of publications of Kochetov in *Moskovskie Vedomosti* belongs to 1880–1882. The journalist reported from the funeral of General M.D. Skobelev and from the site on the Kursk railroad accident in the summer of 1882, wrote notes about openings of art exhibitions, reviews for the "Theatrical Chronicle" column, had the "Notes of a Newspaper Reader" column, published an extensive traveling sketch "From a Summer Excursion". Kochetov was particularly successful in writing operational materials written "without a delay". Among them reports and correspondence from the place of the accident on the Moscow and Kursk railroad in 1882 are of the greatest interest. Kochetov gave the objective picture of the tragedy, described the course of events, details of search works, analysed factors which became the cause of the accident.

As a result of his own mistake, in 1882 Kochetov was forced to leave *Moskovskie Vedomosti*. In search of earnings, he addressed A.S. Suvorin and soon became a special correspondent in his newspaper *Novoe Vremya*. However, his relations with Katkov did not stop. Sent by *Novoe Vremya* to Poland as a special correspondent, Kochetov regularly wrote to the editor of *Moskovskie Vedomosti* about actions of administration and moods of local population, remaining a reliable source of information for Katkov. A considerable part of information given by Kochetov had a confidential character.

In 1886, *Russkiy Vestnik* published Kochetov's sketch "The Rumelia Revolution". The sketch attempted to objectively analyse the events which led to the association of the Bulgarian principality with the autonomous Turkish province of Eastern Rumelia in the fall of 1885.

The analysis of Kochetov's journalistic texts, correspondence, memoirs allowed to draw a conclusion on the community of the social and political views of the journalist and the *Moskovskie Vedomosti* editor. Kochetov and Katkov were united by a sincere conviction in the need of rigid centralization of the power, a view on autocracy as on the only form of government acceptable in Russia, a critical attitude towards the highest St. Petersburg bureaucracy, protection of orthodox values. They were close in the straightforwardness of assessment expressed in their journalistic texts, the uncompromising stand and obstinacy in situations when matters concerned their professional reputation.

References

1. L'vov, E. (1871) *Iz nedavnikh vospominaniy o nedalekom Zapade* [From recent memories of the not-so-distant West]. Moscow.
2. Nikolaev, P.A. (ed.) Kochetov Evgeniy L'vovich. In: *Russkie pisateli. 1800–1917. Biograficheskiy slovar'* [Russian writers. 1800–1917. Biographical dictionary]. Vol. 3. Moscow: Bol'shaya rossiyskaya entsiklopediya.

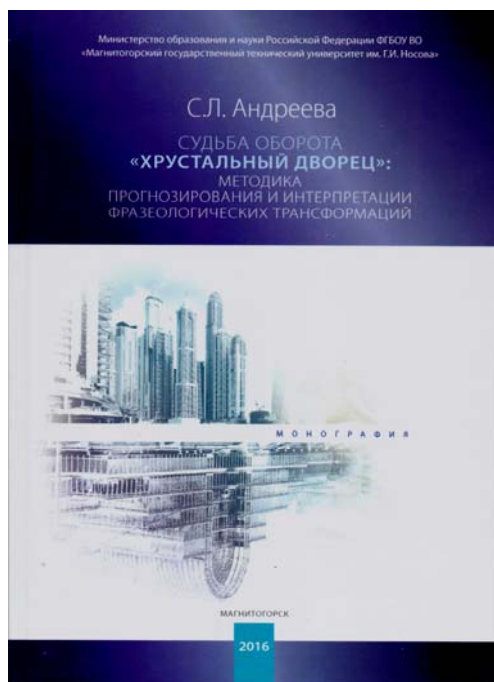
3. Russkie vedomosti. (1880) Peredovaya stat'ya [Editorial]. *Russkie vedomosti*. 23 December. 332.
4. Russkie vedomosti. (1880) Peredovaya stat'ya [Editorial]. *Russkie vedomosti*. 6 December. 315.
5. L'vov, E. (1880) Golos iz publiki [A voice from the public]. *Moskovskie vedomosti*. 31 December. 362.
6. L'vov, E. (1881) Golos iz publiki [A voice from the public]. *Moskovskie vedomosti*. 8 January. 8.
7. L'vov, E. (1881) Golos iz publiki [A voice from the public]. *Moskovskie vedomosti*. 6 January. 6.
8. Russian State Archive of Literature and Art (RGALI). Fund 459. List 2. File 753. Page 1. Kochetov, E.L. (1892) *Pis'mo V.A. Gringmutu. 9 dekabrya 1892 g.* [Letter to V.A. Gringmut. December 9, 1892].
9. Kartsov, Yu.S. (1906) *Sem' let na Blizhnem Vostoke. 1879–1886. Vospominaniya politicheskie i lichnye* [Seven years in the Middle East. 1879–1886. Memories, political and personal]. St. Petersburg.
10. Manuscript Research Department of the Russian State Library (NIOR RGB). Fund 120. Box 5. Item 30. Kochetov, E.L. (n.d.) *Pis'mo M.N. Katkovu. 15 iyunya* [Letter to M.N. Katkov. 15 June].
11. L'vov, E. (1881) Moy vyzov "Russkim vedomostyam" [My challenge to Russkie vedomosti]. *Moskovskie vedomosti*. 19 January. 19.
12. Russkie vedomosti. (1881) Peredovaya stat'ya [Editorial]. *Russkie vedomosti*. 22 January. 22.
13. Moskovskie vedomosti. (1881) Peredovaya stat'ya [Editorial]. *Moskovskie vedomosti*. 18 January. 24.
14. L'vov, E. (1881) Mor detey [Children's death]. *Moskovskie vedomosti*. 4 December. 336.
15. E.L. (1882) Podrobnosti katastrofy 29 iyunya [Details of the disaster of June 29]. *Moskovskie vedomosti*. 10 July. 189.
16. E.L. (1882) Eshche o katastrofe 29 iyunya [More about the disaster of June 29]. *Moskovskie vedomosti*. 13 July. 192.
17. E.L. (1882) S mesta katastrofy 29 iyunya [From the place of the disaster of June 29]. *Moskovskie vedomosti*. 14 July. 193.
18. E.L. (1882) S mesta katastrofy 29 iyunya [From the place of the disaster of June 29]. *Moskovskie vedomosti*. 16 July. 195.
19. E.L. (1882) [From the place of the disaster of June 29]. *Moskovskie vedomosti*. 17 July. 196.
20. L'vov, E. (1882) Po povodu katastrofy 29-30 iyunya [On the disaster of June 29–30]. *Moskovskie vedomosti*. 22 July. 201.
21. L'vov, E. (1882) Po povodu katastrofy 29-30 iyunya [On the disaster of June 29–30]. *Moskovskie vedomosti*. 23 July. 202.
22. L'vov, E. (1882) Po povodu katastrofy 29-30 iyunya [On the disaster of June 29–30]. *Moskovskie vedomosti*. 27 July. 206.
23. Mirskoy tolk. (1882) Kur'ez [Curiosity]. *Mirskoy tolk*. 29.
24. *Russkiy kur'er*. (1882). 186.
25. *Russkiy kur'er*. (1882). 201.
26. Chekhov, A.P. (1974) Tayny sta soroka chetyrekh katastrof, ili Russkiy Rokambol': [Secrets of one hundred forty-four catastrophes, or the Russian Rocambole]. In: Chekhov, A.P. *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 30 t. Sochineniya: V 18 t.* [Complete Works and Letters: 30 vols. Works: 18 vols]. Vol. 1. Moscow: Nauka.
27. Moskovskie vedomosti. (1864) Peredovaya stat'ya [Editorial]. *Moskovskie vedomosti*. 17 July. 158.
28. Moskovskie vedomosti. (1869) Peredovaya stat'ya [Editorial]. *Moskovskie vedomosti*. 5 November. 241.
29. Moskovskie vedomosti. (1873) Peredovaya stat'ya [Editorial]. *Moskovskie vedomosti*. 2 November. 276.
30. Moskovskie vedomosti. (1881) Peredovaya stat'ya [Editorial]. *Moskovskie vedomosti*. 25 June. 174.
31. Moskovskie vedomosti. (1882) Peredovaya stat'ya [Editorial]. *Moskovskie vedomosti*. 7 July. 186.
32. Meshcherskiy, V.P. (2001) *Vospominaniya* [Memories]. Moscow: Zakharov.
33. Manuscript Research Department of the Russian State Library (NIOR RGB). Fund 120. Box 23. Kochetov, E.L. (n.d.) *Pis'mo M.N. Katkovu* [Letter to M.N. Katkov].

34. Manuscript Research Department of the Russian State Library (NIOR RGB). Fund 120. Box 23. Kochetov, E.L. (n.d.) *Pis'mo M.N. Katkovu. 17 marta* [Letter to M.N. Katkov. 17 March].
35. Grigorova, D. (2010) "Rumeliyskiy perevorot" i russkoe obshchestvo (1885) [Rumelia revolution and Russian society (1885)]. In: *Rossiya – Bolgariya: vektory vzaimoponimaniya. XVIII-XXI v. Rossiysko-bolgarskie nauchnye diskussii* [Russia – Bulgaria: vectors of mutual understanding. 18th–21st centuries. Russian-Bulgarian academic discussions]. Moscow: RAS Institute of Slavic Studies.
36. *Moskovskie vedomosti*. (1886) *Peredovaya stat'ya* [Editorial]. *Moskovskie vedomosti*. 19 August. 228.
37. L'vov, E. (1886) Rumeliyskiy perevorot [Rumelia revolution]. *Russkiy vestnik*. 2.
38. L'vov, E. (1886) Rumeliyskiy perevorot [Rumelia revolution]. *Russkiy vestnik*. 3.

РЕЦЕНЗИИ, КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ

DOI: 10.17223/19986645/46/16

Рецензия на книгу: Андреева С.Л. Судьба оборота хрустальный дворец: методика прогнозирования и интерпретации фразеологических трансформаций / под ред. А.А. Осиповой. – Магнитогорск: ЗАО «Магнитогорский Дом печати», 2016. 183 с.



Монография посвящена описанию фразеологической единицы хрустальный дворец: объяснению существующих и прогнозированию возможных её трансформаций с помощью пропозиционально-фреймового анализа словообразовательных гнезд однокоренных слов, в которые входят компоненты данного оборота и его субституты. В книге реализована попытка моделирования единого когнитивного пространства фразеологизма, в рамках которого возникают трансформации, развивается полисемия, обнаруживаются возможности синтагматических, парадигматических и эпидигматических измерений оборота.

Работа предназначена для специалистов, аспирантов, студентов, занимающихся вопросами когнитивной лингвистики, фразеологии и словообразования.

Рецензируемая работа значительно отличается от монографических исследований по фразеологии последних двух десятилетий. Задавшись целью проследить судьбу одной фразеологической единицы, С.Л. Андреева создала оригинальную методику анализа фразеологического материала в целом. В центре внимания автора – проявление двух важнейших дифференциальных признаков ФЕ – её устойчивости и воспроизводимости. В речевом потоке оборот *хрустальный дворец* (пока ещё не попавший в современные фразеологические справочники, хотя и зафиксированный в словарях иностранных слов начала XX в.), как и другие, ему подобные ФЕ, способен трансформироваться. Устойчивость и воспроизводимость этой ФЕ подвергаются разнообразным «испытаниям» (и в плане выражения, и в плане содержания): варьируется её лексический состав, изменяется синтаксическая структура, нарушается традиционный порядок следования компонентов, она погружается в не-

привычный контекст, «корректируется» и обогащается её семантика. В сущности, Андреева, тщательно изучая перипетии «русской судьбы» одной из древнейших интернациональных сверхсловных языковых единиц, включает-ся в извечный спор фразеологов о взаимоотношении устойчивости и вариантности ФЕ. Проблема устойчивости и вариантности затрагивалась практически всеми исследователями корпуса сверхсловных языковых единиц русского и других национальных языков. Особенно активно она обсуждалась в 1960–1970-е гг., не случайно названные «дискуссионными». В.Н. Телия считала, что «классический» период в истории фразеологии «не породил новых теоретических оснований для рассмотрения материала фразеологии и его знаковой природы» [1. С. 8], однако существуют доказательства, позволяющие утверждать, что «классический» период отмечен открытиями, обеспечившими молодой отрасли знания прочное место в языкознании. Именно в этот период была опубликована монография В.Л. Архангельского «Устойчивые фразы в современном русском языке» [2]. Учёные этого периода подготовили почву для расцвета фразеологии на следующем этапе её развития. Доказательством тому могут служить работы монографического характера конца 1980-х – начала 2000-х гг. К ним, например, относятся труды Н.Ф. Алефиренко [3–5], Е.Н. Ермаковой [6], Л.Г. Золотых [7], А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко [8], В.М. Мокиенко [9, 10]; И.Ю. Третьяковой [11]; А.Н. Баранова, Д.О. Добровольского [12] и многих других учёных. Современная фразеология вторгается в области смежных наук – лингвокультурологии, когнитивной лингвистики, теории речевой деятельности, коммуникативного синтаксиса, когнитивной дериватологии и т.д.; её представители овладевают новыми методами и приёмами анализа ФЕ, что подтверждается и содержанием рецензируемой работы.

Применительно к теоретической базе монографии С.Л. Андреевой с фразеологической точки зрения важнейшим представляется научно обоснованное (в рамках структурно-семантической парадигмы) определение устойчивости ФЕ, данное в своё время В.Л. Архангельским.

В рецензируемой работе идеи Архангельского развиваются, обогащаются, погружаются в новую научную парадигму; при этом автор использует достижения корпусной лингвистики с её новыми технологиями обработки языкового материала. Как справедливо пишут авторы книги «Основы фразеологии» А.Н. Баранов и Д.О. Добровольский, «...появление новых данных – радикальное расширение эмпирической базы – существенно влияет и на развитие теории фразеологии. Метод, как это часто бывает, не просто используется для сбора и обработки данных, но позволяет поставить новые задачи и тем самым радикально меняет теорию» [12. С. 238]. Многочисленные варианты и трансформы оборота *хрустальный дворец* автором не просто детально описываются с точки зрения структурно-семантической, этимологической и стилистической, как это делается в большинстве фразеологических работ. Автор идёт дальше: обнаруживает когнитивные модели каждого из компонентов ФЕ и когнитивную модель самой сверхсловной языковой единицы. Именно эти когнитивные модели, как убедительно доказывает исследовательница, служат базой для появления новых вариантов и трансформ ФЕ и в то же время обеспечивают пределы её варьирования и трансформации,

переступив которые носитель языка разрушает ФЕ, лишив её устойчивости в том значении, в каком она понималась Архангельским.

Во введении (С. 4–11) автор доказывает необходимость поиска новых методов исследования фразеологического материала, которые бы помогли учёным ответить на вопросы, остававшиеся не до конца решёнными в рамках традиционной фразеологии. Стремление фразеологов «расширить исследовательский инструментарий» привело их в лоно когнитологии. Формирующиеся на новом витке развития мирового языкознания когнитивная фразеология и когнитивная дериватология, по мнению автора монографии, «исследуя процессы обработки человеком информации и структурирования реальной действительности, помогают обнаружить непрерывный мотивационно-деривационный процесс, происходящий в естественном языке», который «позволяет не только изучать развитие отдельных уровней языка, но и видеть различные проявления системных связей в языке, улавливать языковые универсалии, обнаруживать тенденции и закономерности происходящих семантических изменений» (С. 4). С.Л. Андреева обосновывает целесообразность применения к фразеологическому материалу пропозиционально-фреймового анализа словообразовательных гнёзд слов-компонентов ФЕ, обеспечивающего «“вход” со словообразовательного уровня на уровень изучения фразеологических явлений на “глубине” фреймовых структур» (С. 5). Она подчёркивает, что опирается на учение о вариантности ФЕ, основы которого также закладывались в «классический» период развития фразеологии, и соглашается с В.Н. Телия, утверждавшей, что «фразеологизмы всё время находятся под давлением со стороны всей совокупности форм и значений словесной системы, чем обусловлена категория вариантности фразеологизмов» [1. С. 43]. Исследовательница справедливо считает, что вариантность и трансформационная активность ФЕ – результат взаимодействия языка и речи (С. 5).

Во введении к монографии выдвинута гипотеза, в которой содержится предварительный ответ на извечный вопрос фразеологии о пределах варьирования ФЕ: «Спектр возможных трансформаций ФЕ, как и развитие её структурной и семантической вариантности <...> ограничен фреймом» (С. 6). Здесь же С.Л. Андреева настаивает на том, что лексемы, ставшие компонентами ФЕ, не «десемантизируются» (С. 7). Она затрагивает целый ряд актуальных фразеологических проблем, которые намерена рассмотреть, применяя пропозиционально-фреймовую методику анализа ФЕ *хрустальный дворец*; среди них: 1) устойчивость и воспроизводимость ФЕ как источник «центростремительных сил, направленных на расширение структурно-семантических возможностей фразеологизма»; 2) противоречие между стандартностью, предсказуемостью языка и творческим, индивидуальным характером речи; 3) соотношение узуса и значения ФЕ как исходный материал для смысловых (и, возможно, структурных) «прирастаний» текста; 4) влияние трансформационной активности ФЕ на её языковое значение и форму; 5) пределы окказиональной трансформации ФЕ. Завершается введение чётко сформулированной конкретной задачей – построить модель пропозиционально-фреймового единства, отражающего (семантическую и структурную) трансформационную активность ФЕ *хрустальный дворец*, способного объяснить

все существующие преобразования и спрогнозировать возможные последующие (С. 11).

Глава 1 посвящена общей характеристике оборота *хрустальный дворец* и его трансформационной активности (С. 12–52). Поскольку единица *хрустальный дворец* фразеографической обработке ещё не подвергалась, несомненный интерес у читателя вызовет экскурс в историю её формирования – от «бродячего» образа «нереального прозрачного, сверкающего (хрустального/стеклянного/кристального) дворца/замка (= горы, острова), восходящего к фольклорно-мифологическому пласту культуры славян и народов романо-германской группы через «столкновение» с образным именованием реального архитектурного объекта – здания Всемирной выставки в Лондоне 1851 г. Crystal Palace (букв.: 'Кристальный дворец'), ознаменовавшего «технологическую победу человечества над природой» и ставшего «символом зданий будущего, как правило, Счастливого Будущего Человечества» (С. 14–15). С.Л. Андреева доказывает, что «символизация нового визуального образа и мощный общественный резонанс, который вызвала выставка в Европе во второй половине XIX в., породили в русском языке цепь новых значений оборота <...> и, по сути, способствовали его фразеологизации» (С. 15). Она подчёркивает полисемантическую русскую ФЕ *хрустальный дворец*, детально описывает все 9 её значений, подтверждая их реальность качественными примерами и характеризуя обстоятельства, повлиявшие на появление каждого очередного лексико-семантического варианта (ЛСВ) этой сверхсловной языковой единицы. Структурно-семантический анализ ЛСВ сопровождается в главе уместными этимологическими и культурологическими замечаниями. Но, пожалуй, наибольшую ценность представляют в первой главе те фрагменты, где обширный иллюстративный материал позволяет автору подниматься до уровня серьёзных теоретических обобщений по спорным вопросам фразеологии. Выделим из них, на наш взгляд, наиболее существенные, касающиеся терминологического «инструментария» исследования.

Вполне естественным представляется сосредоточение внимания автора на термине *трансформация*, вошедшем в название монографии. Нередко во фразеологических работах этот термин используется как синоним термина *вариантность*. Впрочем, и в самой рецензируемой монографии на начальных страницах текста особой границы между этими двумя терминами не ощущается. И всё же С.Л. Андреева, учитывая 60-летний опыт фразеологов в решении вопроса о сущности вариантности и её роли в судьбе ФЕ, обосновывает целесообразность употребления терминов *вариант*, *вариантность* только относительно изменений, не выводящих ФЕ «за рамки узуса». Такие варианты, по её мнению, должны фиксироваться словарями (С. 22–23). Что же касается терминов *трансформация* и *трансформ*, то в монографии они используются, как правило, для наименования «окказиональных преобразований». Трансформ, полагает Андреева, «останется фактом речи до тех пор, пока не приобретёт частотность и воспроизводимость, свойственную языковым знакам» (С. 23). Таким образом, по мнению исследовательницы, если вариант ФЕ – факт языка, то трансформ – факт речи. При этом трансформ имеет шанс из факта речи превратиться в факт языка.

Анализ значительного объёма вариантов и трансформаций ФЕ *хрустальный дворец* завершается выводом о том, что все они «остаются в пределах одного оборота благодаря существованию единого ««стержня», удерживающего весь спектр модификаций в рамках одной структуры. Таким стержнем фразеологи называют внутреннюю форму и/или фразеологический образ» (С. 40). Проследив историю формирования «стержня» ФЕ *хрустальный дворец*, Андреева соотнесла итоги своих наблюдений с теоретическими разработками проблемы взаимоотношения внутренней формы (ВФ) и фразеологического образа (ФО) и пришла к убеждению, что «фразеологический образ и внутренняя форма фразеологизма – явления связанные, но не тождественные. Они имеют разную векторную направленность в жизненном цикле ФЕ: фразеологический образ – центробежную, а внутренняя форма – центростремительную. Фразеологический образ стремится к развитию, применяясь носителем языка к новым явлениям внешнего и внутреннего мира. Он «повинен» в расширении полисемии и развитии трансформационной активности ФЕ. Внутренняя форма ФЕ, наоборот, является сдерживающим фактором, сохраняющим многообразие проявлений одного языкового знака» (С. 41). В рассуждениях автора о ВФ, отражающей связь ФЕ с внеязыковой действительностью, следует отметить несколько важных деталей, ибо они позволяют «увидеть» элементы, без которых был бы невозможен пропозиционально-фреймовый анализ ФЕ, осуществлённый в последующих главах монографии. Перечислим их: 1) внутренней формой обладает не только ФЕ в целом, но и каждый из компонентов ФЕ; 2) внутренняя форма «явственно предстаёт в окружении других родственных слов» [24. <http>]; 3) существует внутренняя форма у словообразовательного гнезда каждого из компонентов ФЕ, а также у корневой морфемы каждого из словообразовательных гнёзд; 4) на базе одной внутренней формы возможно существование нескольких производных фразеологических образов, а на основе сходства внутренней формы возможно «случайное» объединение нескольких фразеологических образов; 5) ВФ полисемичной ФЕ – «это содержательный инвариант, основание образной системы, удерживающее связь между фразеосемантическими вариантами и обеспечивающее целостность ФЕ» (С. 45–46).

Тонкий, глубокий анализ истории формирования оборота *хрустальный дворец* не оставляет сомнения в том, что эта многозначная ФЕ занимает прочное место в русской языковой системе и обладает многогранными трансформационными возможностями. Представляется вполне реальной прослеживаемая автором связь между фразеологизацией оборота и концептом «Хрустальный дворец». Не без основания Андреева полагает, что фразеологизация оборота *хрустальный дворец* «состоялась тогда, когда чувственный опыт (визуальный) нашёл нужную вербальную “этикетку” и наделил ФЕ прежде всего номинативной функцией» (С. 46). В этом отношении автор опирается на труды основателя мотивологического направления в лингвистике, руководителя томской диалектологической школы О.И. Блиновой [13].

Глава 2 «Семантическая деривация и пропозиционально-фреймовый анализ словообразовательных единиц», самая короткая, занимающая около десяти страниц (С. 53–61), тем не менее содержит важнейшие методологические положения, которые легли в основу авторской методики пропозицио-

нально-фреймового анализа фразеологических единиц. Начинается глава с обзора когнитивных исследований последних десятилетий, в которых авторы пытаются найти ответы на различные вопросы о взаимодействии языка и мышления через изучение словообразовательного уровня языка. Ссылаясь на труды Н.Д. Арутюнов [14], Т.И. Вендиной [15], И.В. Евсеевой [16], Е.А. Земской [17], Е.С. Кубряковой [18], И.А. Улуханова [19], М.Н. Янценок [20] и многих других современных учёных, автор монографии объясняет, почему именно словообразовательные гнезда избраны ею как база для изучения трансформационных процессов ФЕ *хрустальный дворец*. Знакомство с работами вышеназванных исследователей убедило автора монографии в том, что «словообразовательное гнездо (СГ) предстаёт в виде особым образом структурированной единицы хранения знания, которая проливает свет на структуру формирования языковой картины мира» (С. 53). Именно это качество СГ – «быть своеобразной базой данных» вызывает у Андреевой «исследовательский интерес» (Там же). Она пишет: «Маркированность единым корнем подчёркивает соотнесённость лексем с единой ситуацией и отражает результат категоризации действительности познающим субъектом. И такой категорией, закрепляющей познавательный опыт носителя языка, является корневая морфема – хранилище ВФ всего СГ» (С. 54).

Свою методику анализа трансформационных процессов в сфере фразеологии исследовательница создаёт на основе методики пропозиционально-фреймового моделирования СГ, разработанной учёными кемеровской дериватологической школы, возглавляемой Л.А. Араевой [21]. Компактно, используя чёткие дефиниции, она представляет терминологический аппарат своей работы: «категоризация», «концептуализация» (со ссылкой на Р.М. Фрумкин [22. С. 62–63]); «деривация» (С. 57); «фрейм», «субфрейм» (в трактовке М. Минского [23. С. 7]); «слот»; «когнитивное пространство», «когнитивная модель» (С. 60); «пропозиции» и их номенклатура, «фреймовая целостность СГ» (С. 56) и пр. При этом каждый «заимствованный» термин сопровождается корректной трактовкой, развивающей и углубляющей мысль или идею цитируемого автора и доказывающей возможность использования того или иного термина при анализе трансформационных процессов в сфере фразеологии. Приведём только некоторые замечания автора, касающиеся использованного терминологического аппарата: «Фрейм СГ можно сравнить с ДНК клетки, обеспечивающей программу развития организма. Примерно так же фрейм закладывает общее направление развития СГ» (С. 57); «Когнитивные модели СГ обнаруживают системность, типичность, прогнозируемость, которые, в свою очередь, и формируют своеобразную память, непосредственно связанную с задачами коммуникации – удачами, “уверенностью” и неудачами, “неуверенностью”» (С. 58); «Пределы возможного для идентификации оборота заложены фреймовой структурой и рамками фразеологического образа» (Там же); «Идея фреймовой целостности гнезда полезна для решения важных теоретических и практических задач не только в лексике, словообразовании, но и во фразеологии и синтаксисе» (С. 59).

В последующих двух главах монографии отражены результаты детального пропозиционально-фреймового анализа СГ зависимого и основного компонентов ФЕ *хрустальный дворец* и их *субститутов*. Когнитивный анализ

сопровождается этимологическими и лингвокультурологическими сведениями, а также данными, полученными с помощью приёмов сравнительно-исторического и структурно-семантического методов. В главе 3 (С. 62–103) на основе словообразовательных гнёзд зависимого компонента «Хрусталь» и его субститутов «Стекло» и «Лёд» проектируется фрейм «материал», описываются все возможные пропозиции, которые обеспечиваются этим фреймом и служат базой для трансформации атрибутивного компонента ФЕ *хрустальный дворец*. В главе 4 (С. 104–135) таким же образом осуществляется анализ главного компонента «Дворец». Правда, при проектировании его фрейма за основу взят фрейм «здание» по названию доминанты синонимического ряда субститутов. Автор объясняет данный выбор особыми отношениями между субститутами компонента «Дворец». Дело в том, что замена главного компонента лексемами «Здание», «Дом», «Замок», «Чертог», «Башня», «Храм», «Терем» «носит <...> синонимический характер, а не просто лексический» (С. 78).

В главе 5 (С. 136–147) осуществляется пропозиционально-фреймовой анализ самой ФЕ *хрустальный дворец*. 11 таблиц и 12 схем, в которых концентрированно представлены итоги пропозиционально-фреймового анализа, систематизируют полученные результаты и убеждают читателя в перспективности применения разработанной автором методики прогнозирования и интерпретации фразеологических трансформаций. В главе 5, например, один из выводов гласит, что четыре субститута для зависимого компонента ФЕ *хрустальный дворец* и восемь субститутов для главного её компонента «в сумме всех словообразовательных вариантов формируют поле для огромного количества синтаксических комбинаций». Это подтверждается таблицей 11 «Сводные данные количества слов-компонентов и их возможных комбинаций, попадающих в поле трансформации ФЕ *хрустальный дворец*» (С. 144), которая свидетельствует: 293 лексемы из ряда однокоренных слов зависимого компонента вкупе со 156 однокоренными словами главного компонента (с учётом их субститутов) способны обеспечить 45 708 комбинаций (без учёта сочетаемости лексем и их парадигм).

Оставляя «за кадром» выводы, касающиеся непосредственно ФЕ *хрустальный дворец*, отметим коротко сформулированные автором после апробации пропозиционально-фреймового анализа на фразеологическом материале положения, наиболее значимые, с нашей точки зрения, для общей фразеологии и её «когнитивно-дериватологического ответвления».

1. Выполняя роль компонента ФЕ, слово не «десемантизируется», не перестаёт быть элементом лексической системы и остаётся «в рамках когнитивного пространства, в котором существуют обычные слова» (С. 152). В то же время функционирование в качестве компонента ФЕ «расширяет когнитивное пространство этой лексемы за счёт потенциально возможного подключения когнитивного пространства другого компонента ФЕ» (Там же).

2. Словообразовательный уровень русского языка, обладающий огромным комбинаторным потенциалом, открывает перед фразеологом множество ранее не учитывавшихся возможностей.

3. Словообразовательные гнёзда компонентов ФЕ представляют собой «специфические единицы хранения и упорядочения информации, получен-

ные в процессе познания действительности. Знания, структурированные в виде фреймов, и спектр реализующих их пропозиций являются основой проектирования возможных речевых употреблений» не только отдельных лексем, но и ФЕ (С. 148).

4. Изучение процессов фразеологических трансформаций с помощью предлагаемой автором методики пропозиционально-фреймового анализа словообразовательных гнёзд компонентов ФЕ позволяет исследователю получать ответы на вопросы, остававшиеся не до конца решёнными в традиционной фразеологии. Так, например, «выявление фреймовых структур при изучении фразеологии полезно не только для исследования семантики ФЕ и/или семантики речевых высказываний <...> но и для интерпретации и прогнозирования трансформаций ФЕ и её компонентов» (Там же).

5. Устойчивость и воспроизводимость ФЕ – «это результат закрепления в памяти носителя языка определённой пропозиционально-фреймовой конструкции» (С. 149), которая и предопределяет границы трансформации сверхсловной языковой единицы.

6. Пропозиционально-фреймовый подход, реализуемый через словообразовательный уровень, может быть использован по отношению к любым языковым единицам, используемым в коммуникации, ибо «СГ обладают важнейшим функциональным свойством – они аккумулируют в своей зоне (в сети однокоренных слов) в структурированном виде пропозиции, которые возникают от взаимодействия исходной корневой морфемы и формантов, несущих значение словообразовательного типа» (С. 150).

Как и всякая серьёзная научная работа, монография С.Л. Андреевой может стать поводом для научной дискуссии. Прежде всего, бросается в глаза несоответствие между масштабностью сделанных автором выводов и ограниченностью объекта исследования, послужившего основой для этих выводов. Применимость тщательно разработанной методики пропозиционально-фреймового анализа словообразовательных гнёзд, апробированной при анализе лишь одной ФЕ – *хрустальный дворец*, по отношению ко всем сверхсловным языковым единицам, изучаемым общей фразеологией, не представляется корректной. Неизбежно возникают вопросы. Так же ли безотказно будут «срабатывать» приёмы пропозиционально-фреймового анализа словообразовательных гнёзд при изучении предметных ФЕ иной синтаксической модели, иной судьбы, иного типа семантики? Возможно ли применение этой при описании ФЕ, принадлежащих к другим семантико-грамматическим классам (процессуальным, атрибутивным, адъективным и пр.) или выполняющих другие коммуникативные функции (например, предикативные)? Поскольку полученные автором результаты уместно было бы использовать во фразеографической практике, нельзя ли выявить в предложенной методике процедурные приёмы, которые привели бы к желаемому результату более коротким путём?

Тем не менее рецензируемая монография не может не вызвать интереса у лингвиста. Её автор свежо и оригинально интерпретировал языковые процессы, связанные с судьбами сверхсловных языковых единиц. На современном этапе мирового языкознания, с его широким спектром школ и направлений, разнообразием применяемых методов и приёмов, при наличии технологий

корпусной лингвистики, позволяющей без лишних временных затрат исследовать «поведение» элементов языковой системы, по-прежнему ощущается потребность в методиках, применимых при изучении семантики и исторических судеб элементов языковой системы, особенно сверхсловных. Предлагаемая автором методика прогнозирования и интерпретации фразеологических трансформаций, опирающаяся на электронные корпусные данные, – один из возможных ответов на требование времени в рамках фразеологии, где по-прежнему являются актуальными проблемы предела варьирования сверхсловной языковой единицы, взаимоотношения её внутренней формы и фразеологического образа, обнаружения того «стержня», который обеспечивает воспроизводимость и устойчивость ФЕ.

Литература

1. Телия В.Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.
2. Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. Ростов н/Д: Изд-во Ростов. гос. ун-та, 1964.
3. Алефиренко Н.Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм. М.: Эллис, 2008.
4. Алефиренко Н.Ф. Фразеология в системе современного русского языка. Волгоград: Перемена, 1993.
5. Алефиренко Н.Ф. Фразеология и когнитивистика в аспекте лингвистического постмодернизма. Белгород: Изд-во БелГУ, 2008.
6. Ермакова Е.Н. Фразо- и словообразование в сфере фразеологии: дис. ... д-ра филол. наук. Тюмень, 2008.
7. Золотых Л.Г. Когнитивно-дискурсивные основы фразеологической семантики: дис. ... канд. филол. наук. Белгород, 2008.
8. Мелерович А.М., Мокиенко В.М. Семантическая структура фразеологических единиц современного русского языка. Кострома: Костром. гос. ун-т им. Н.А. Некрасова, 2008.
9. Мокиенко В.М. Славянская фразеология. М.: Высш. шк., 1989.
10. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. М.: Азбука-классика: Авалонь, 2005.
11. Третьякова И.Ю. Окказиональная фразеология. Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та им. Н.А. Некрасова, 2011.
12. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Основы фразеологии (краткий курс). М.: ФЛИНТА: Наука, 2016.
13. Блинова О.И. Мотивология и её аспекты. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007.
14. Арутюнова Н.Д. О значимых единицах языка // Исследования по общей теории грамматики / отв. ред. В.Н. Ярцева. М., 1968. С. 58–116.
15. Вендина Т.И. Словообразование как способ дискретизации универсума // Вопр. языкознания. 1999. № 2. С. 27–49.
16. Евсеева И.В. Комплексные единицы русского словообразования: когнитивный подход. М.: Либроком, 2012.
17. Земская Е.А., Китайгородская М.А., Розанова Н.Н. Языковая игра // Русская разговорная речь: Фонетика. Морфология. Лексика. Жест / ред. Е.А. Земская. М., 1983. С. 172–214.
18. Кубрякова Е.С. К построению типологии словообразовательных категорий // Актуальные проблемы современного словообразования: тр. междунар. науч. конф. Томск, 2006. С. 90–96.
19. Улукханов И.С. Мотивация в словообразовательной системе русского языка. М.: Азбуковник, 2005.
20. Янценецкая М.Н. О пропозициональной обусловленности словообразования // Принципы деривации в истории языкознания и современной лингвистике. Пермь, 1991. С. 54–55.
21. Араева Л.А., Денисова Э.С., Оленев С.В. Кемеровская дериватологическая школа: Традиции и новаторство. Исследования по словообразованию М.: Едиториал УРСС, 2011.
22. Фрумкина Р.М. Психоллингвистика. М.: Академия, 2001.
23. Минский М. Фреймы для представления знаний / пер с англ. О.Н. Гринбаума. М.: Энергия, 1979.

С.Г. Шулежкова

BOOK REVIEW: ANDREEVA, S.L. (2016) *SUD'BA OBOROTA KHRUSTAL'NYY DVORETS: METODIKA PROGNOZIROVANIYA I INTERPRETATSII FRAZEOLOGICHESKIKH TRANSFORMATSIY* [THE DESTINY OF THE PHRASEOLOGICAL UNIT "CRYSTAL PALACE": METHODS OF PHRASEOLOGICAL TRANSFORMATION PREDICTING AND INTERPRETING]. MAGNITOGORSK: ZAO "MAGNITOGORSKIY DOM PECHATI"

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 46. 222–232. DOI: 10.17223/19986645/46/16

Svetlana G. Shulezhkova, Nosov Magnitogorsk State Technical University (Magnitogorsk, Russian Federation). E-mail: shulezhkova@gmail.com

References

1. Teliya, V.N. (1996) *Russkaya frazeologiya. Semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokul'turologicheskiy aspekty* [Russian phraseology. Semantic, pragmatic and linguocultural aspects]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
2. Arkhangel'skiy, V.L. (1964) *Ustoychivye frazy v sovremennom russkom yazyke* [Stable phrases in modern Russian]. Rostov-on-Don: Rostov State University.
3. Alefirenko, N.F. (2008a) *Frazeologiya v svete sovremennykh lingvisticheskikh paradigm* [Phraseology in the light of modern linguistic paradigms]. Moscow: Elpis.
4. Alefirenko, N.F. (1993) *Frazeologiya v sisteme sovremennogo russkogo yazyka* [Phraseology in the system of the modern Russian language]. Volgograd: Peremena.
5. Alefirenko, N.F. (2008) *Frazeologiya i kognitivistika v aspekte lingvisticheskogo postmodernizma* [Phraseology and cognitive science in the aspect of linguistic postmodernism]. Belgorod: Belgorod State University.
6. Ermakova, E.N. (2008) *Frazo- i slovoobrazovanie v sfere frazeologii* [Phrase and word formation in phraseology]. Philology Dr. Diss. Tyumen.
7. Zolotikh, L.G. (2008) *Kognitivno-diskursivnye osnovy frazeologicheskoy semantiki* [Cognitive-discursive bases of phraseological semantics]. Philology Cand. Diss. Belgorod.
8. Melerovich, A.M. & Mokienko, V.M. (2008) *Semanticheskaya struktura frazeologicheskikh edinit sovremennogo russkogo yazyka* [Semantic structure of phraseological units of the modern Russian language]. Kostroma: Kostroma State University.
9. Mokienko, V.M. (1989) *Slavyanskaya frazeologiya* [Slavic phraseology]. Moscow: Vysshaya shkola.
10. Mokienko, V.M. (2005) *Zagadki russkoy frazeologii* [Riddles of Russian phraseology]. Moscow: Azbuka-klassika; Avalon.
11. Tret'yakova, I.Yu. (2011) *Otkazional'naya frazeologiya* [Occasional phraseology]. Kostroma: Kostroma State University.
12. Baranov, A.N. & Dobrovol'skiy, D.O. (2016) *Osnovy frazeologii (kratkiy kurs)* [Fundamentals of phraseology (a short course)]. Moscow: FLINTA: Nauka.
13. Blinova, O.I. (2007) *Motivologiya i ee aspekty* [Motivology and its aspects]. Tomsk: Tomsk State University.
14. Arutyunova, N.D. (1968) O znachimyykh edinitakh yazyka [On significant units of language]. In: Yartseva, V.N. (ed.) *Issledovaniya po obshchey teorii grammatiki* [Studies in the general theory of grammar]. Moscow: Nauka.
15. Vendina, T.I. (1999) Slovoobrazovanie kak sposob diskretizatsii universuma [Word formation as a way of discretizing the universe]. *Voprosy yazykoznaniya*. 2. pp. 27–49.
16. Evseeva, I.V. (2012) *Kompleksnye edinity russkogo slovoobrazovaniya: kognitivnyy podkhod* [Complex units of Russian word formation: a cognitive approach]. Moscow: Librokom.
17. Zemskaya, E.A., Kitaygorodskaya, M.A. & Rozanova, N.N. (1983) Yazykovaya igra [Language game]. In: Zemskaya, E.A. (ed.) *Russkaya razgovornaya rech': Fonetika. Morfologiya. Leksika. Zhest* [Russian colloquial speech: Phonetics. Morphology. Vocabulary. Gesture]. Moscow: Nauka.
18. Kubryakova, E.S. (2006) [To the construction of the typology of word-formation categories]. *Aktual'nye problemy sovremennogo slovoobrazovaniya* [Topical issues of modern word formation]. Proceedings of the international conference. Tomsk: Tomsk State University. pp. 90–96. (In Russian)
19. Ulukhanov, I.S. (2005) *Motivatsiya v slovoobrazovatel'noy sisteme russkogo yazyka* [Motivation in the word formation system of the Russian language]. Moscow: Azbukovnik.

20. Yantsenetskaya, M.N. (1991) [On propositional conditionality of word formation]. *Printsipy derivatsii v istorii yazykoznaniiya i sovremennoy lingvistike* [Principles of derivation in the history of linguistics and modern linguistics]. Perm: Perm State University. pp. 54–55. (In Russian)
21. Araeva, L.A., Denisova, E.S. & Olenev, S.V. (2011) *Kemerovskaya derivatologicheskaya shkola: Traditsii i novatorstvo. Issledovaniya po slovoobrazovaniyu* [Kemerovo Derivatological School: Traditions and innovation. Studies on word formation]. Moscow: Editorial URSS.
22. Frumkina, R.M. (2001) *Psikholingvistika* [Psycholinguistics]. Moscow: Akademiya.
23. Minsky, M. (1979) *Freyemy dlya predstavleniya znaniy* [A framework for representing knowledge]. Translated from English by O.N. Grinbaum. Moscow: Energiya.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АЙЗИКОВА Ирина Александровна – д-р филол. наук, зав. кафедрой общего литературоведения, издательского дела и редактирования Томского государственного университета.
E-mail: wand2004@list.ru

КАЗАКОВ Алексей Аширович – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета
E-mail: akaz75@mail.ru

КАЗАРИНА Валентина Ивановна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка, методики его преподавания и документоведения Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина.
E-mail: cazarina.valentina2015@yandex.ru

КАМЫШАНЧЕНКО Елена Анатольевна – канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков и профессиональной коммуникации Белгородского государственного университета.
E-mail: kamyshanchenko@bsu.edu.ru

КРАПИВКИНА Ольга Александровна – канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков Иркутского технического университета.
E-mail: koa1504@mail.ru

ЛЕБЕДЕВА Ольга Борисовна – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.
E-mail: obl25@yandex.ru

МАНСУРОВА Валентина Дмитриевна – д-р филос. наук, профессор кафедры теории и практики журналистики Алтайского государственного университета (г. Барнаул).
E-mail: mvd1951@mail.ru

МЕДВЕДЕВА Диана Анатольевна – ст. преподаватель кафедры русского языка как иностранного Томского политехнического университета.
E-mail: d.a.medvedeva@mail.ru

МЕЛЬНИК Ольга Геннадьевна – канд. филол. наук, доцент кафедры лингвистического образования Южного федерального университета (г. Таганрог).
E-mail: olga.g.melnik@gmail.com

МОНАХОВ Сергей Игоревич – канд. филол. наук, доцент кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета.
E-mail: sergomon@gmail.com

НИКОЛАЕВА Ольга Васильевна – д-р филол. наук, профессор кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток).
E-mail: onikolaeva2009@yandex.ru

ОЩЕПКОВА Виктория Владимировна – д-р филол. наук, зав. кафедрой английской филологии Московского государственного областного университета.
E-mail: oschep2014@yandex.ru

ПЕРЕВАЛОВА Елена Владимировна – канд. филол. наук, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Московского политехнического университета.
E-mail: helenpv@yandex.ru

СЕРЕБРЯКОВА Елена Геннадьевна – канд. филол. наук, доцент кафедры культурологи Воронежского государственного университета.

E-mail: Serebrjakova@hpipsy.vsu.ru

СОЛОПОВА Ольга Александровна – д-р филол. наук, доцент кафедры лингвистики и перевода Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск).

E-mail: solopovaolga@yandex.ru

СУХАНОВ Вячеслав Алексеевич – д-р филол. наук, зав. кафедрой истории русской литературы XX века Томского государственного университета.

E-mail: slush@mail.ru

ШЕХОВЦЕВА Татьяна Михайловна – канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков и профессиональной коммуникации Белгородского государственного университета.

E-mail: shekhovtseva@bsu.edu.ru

ШПИЛЬНАЯ Надежда Николаевна – канд. филол. наук, доцент кафедры общего и русского языкознания Алтайского государственного педагогического университета (г. Барнаул).

E-mail: venata85@mail.ru

ШУЛЕЖКОВА Светлана Григорьевна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка, общего языкознания и массовой коммуникации Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова.

E-mail: shulezkova@gmail.com

ЯНУШКЕВИЧ Александр Сергеевич – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.

E-mail: asyanush50@yandex.ru

ОТ РЕДАКЦИИ

Научный журнал «Вестник Томского государственного университета. Филология» был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-29496 от 27 сентября 2007 г.), ему присвоен международный стандартный номер сериального издания (ISSN 1998-6645).

«Вестник ТГУ. Филология» выходит 6 раз в год и распространяется по подписке, его подписной индекс – 44041 в объединённом каталоге «Пресса России». Полнотекстовые версии вышедших номеров выкладываются на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию; рукописи не возвращаются. Публикации в журнале осуществляются на некоммерческой основе. Ознакомиться с требованиями к оформлению материалов можно на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Редакция не вступает с авторами в переписку по методике написания и оформлению научных статей и не занимается доведением статей до необходимого для публикации уровня.

Редакция может не разделять точку зрения авторов статей. Ответственность за содержание публикуемых материалов несет автор. При любом использовании материалов ссылка на журнал обязательна.

Адрес редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, филологический факультет.

Телефон 8(382-2)52-96-67

Ответственный секретарь редакции журнала – Д.А. Катунин.

E-mail: katunin@mail.tsu.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОЛОГИЯ**

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

2017. № 46

Редактор *Т.В. Зелева*

Редактор-переводчик *В.В. Каишур*

Оригинал-макет *Г.П. Орловой*

Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Учредитель – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Подписано в печать 25.04.2017 г. Формат 70х100 ¹/₁₆.

Печ. л. 14,75; усл. печ. л. 20,65; уч.-изд. л. 20,45.

Тираж 500 экз. Дата выхода в свет 28.04.2017 г. Заказ 2505. Цена свободная

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

ООО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4
Журнал отпечатан на оборудовании Издательского Дома
Томского государственного университета,
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail: rio.tsu@mail.ru